

ПЕТРАШЕВЦЫ

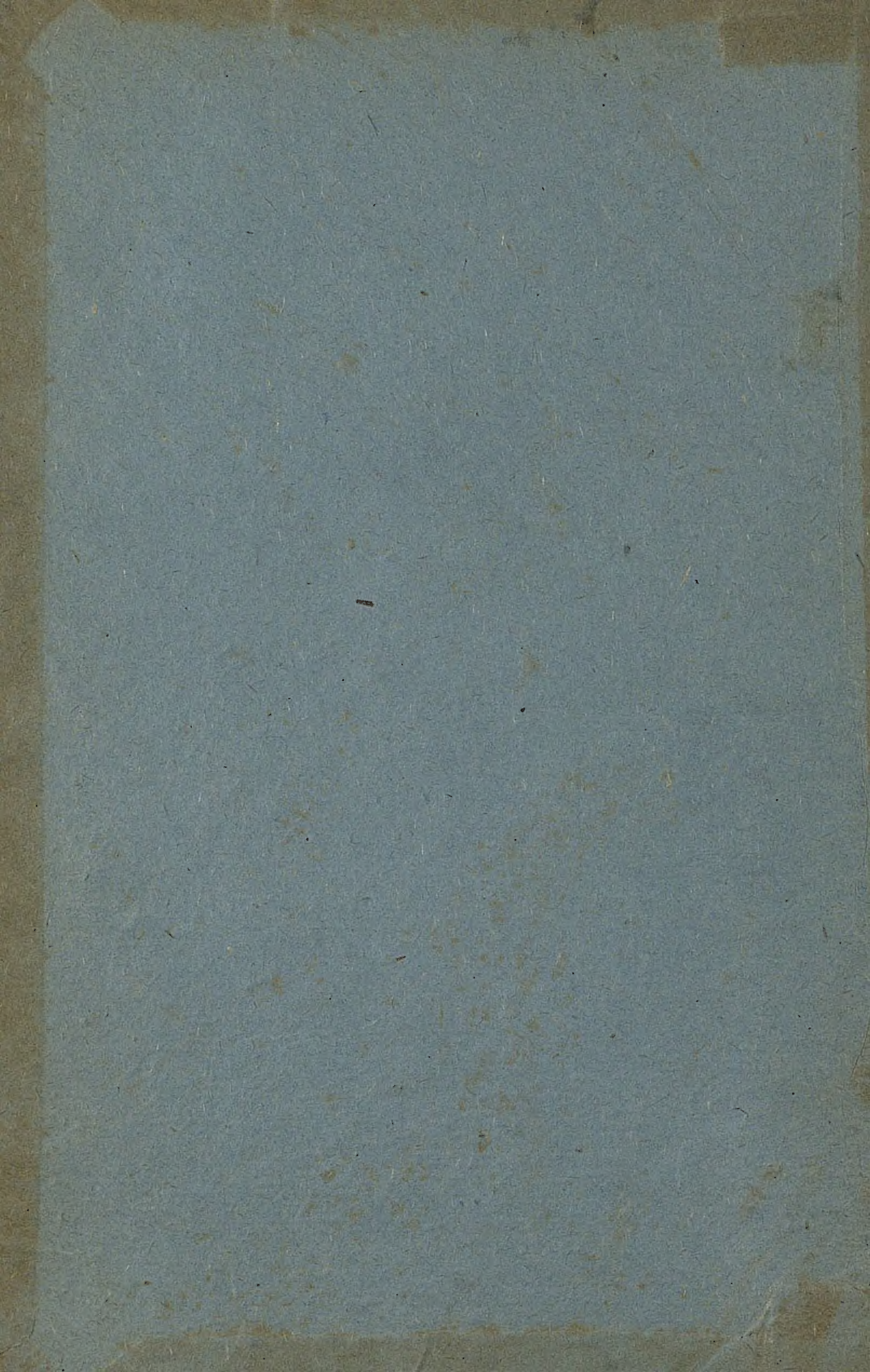
В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

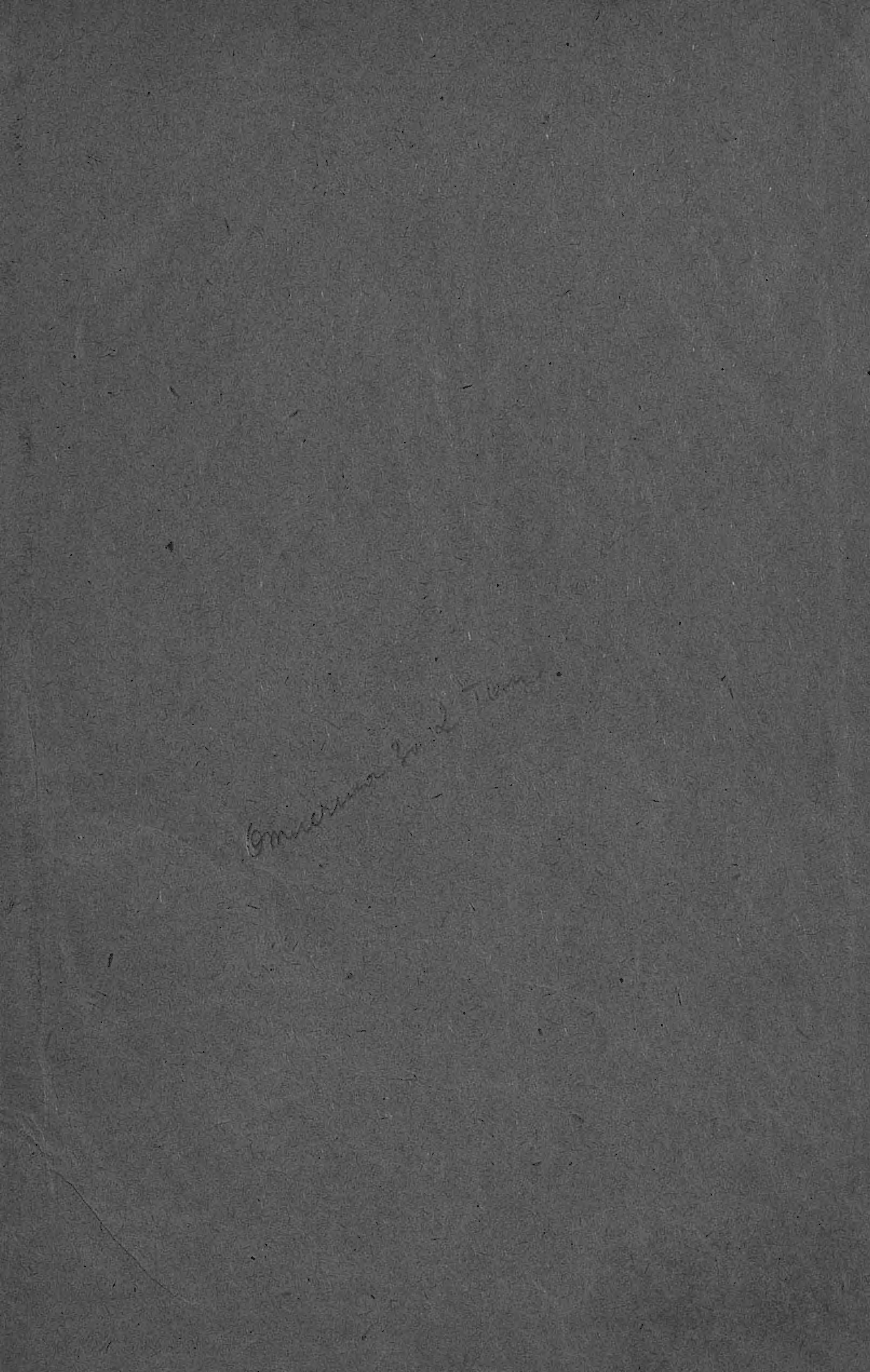
СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

СОСТАВИЛ П. Е. ЩЕГОЛЕВ



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО







ПЕТРАШЕВЦЫ

В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ

СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ

Т. 1

СОСТАВИЛ П. Е. ЩЕГОЛЕВ

С предисловием Н. **РОЖКОВА**



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА ✫ 1926 ✫ ЛЕНИНГРАД



Главлит № 38.299 Гиз № 9408. Тираж 10.000 экз.

Типография Госиздата „Красный Пролетарий". Москва, Пименовская, 16.

ОГЛАВЛЕНИЕ

III. ОБРЯД СМЕРТНОЙ КАЗНИ НАД ПЕТРАШЕВЦАМИ

IV. ПЕТРАШЕВЦЫ В СИБИРИ

ПРЕДИСЛОВИЕ.

В первую половину XIX века начинается и быстро идет вперед разложение старого крепостнического хозяйства, и нарождаются новые формы хозяйственных отношений и новые приемы ведения хозяйства. Хозяйство в России XVIII века представляло собою полный расцвет так называемого торгового капитализма или периода первоначального капиталистического накопления. Тогда один только обмен (торговля) находился в руках капиталистов, производство же оставалось мелким—кустарным и ремесленным—в промышленности и крестьянским—крепостным, по преимуществу барщинным, в сельском хозяйстве: крестьяне и на барщине работали большею частью своими орудиями и своим скотом.

В двадцатых годах XIX века совершился первый надлом в этом старом крепостном, торгово-капиталистическом хозяйстве. Сущность этого надлома заключалась в том, что капитал перестал применяться только в торговле, а стал проникать и в производство,—в промышленность и сельское хозяйство. При Александре I, в начале XIX века, в России появляются первые фабрики с машинным производством. В то же время многие помещики начинают заводить в своих имениях улучшения по образцу тех, которые за сто лет до того производились в Англии: стали переходить к усовершенствованным орудиям, к искусственному удобрению земли, к многопольному хозяйству с посевом кормовых трав (клевера и других). Так делали, напр., тверской помещик Шелехов, калужский—Полторацкий, ярославский—Самарин, даже такой приверженец старины, как Растопчин, и многое другие. Это означало, что старое крепостное хозяйство, соединенное с трехпольным севооборотом, начинало уже колебаться.

Если в хозяйстве стали происходить заимствования из заграницы, то и крепостничество и самодержавие вызывали протесты передовой дворянской молодежи, побывавшей за границей во время походов против Наполеона I и увидев-

шей, как эти порядки отличаются от европейских. Молодежь стала учиться, читать и размышлять над судьбами родины, и в конце концов из этого вышло движение декабристов—первое проявление массового революционного движения XIX века в России.

Декабристы названы так были потому, что 14 декабря 1825 г. они подняли восстание солдат в Петербурге для того, чтобы достигнуть отмены крепостного права и ограничения самодержавной царской власти, установления конституции, выборного народного представительства. Восстание декабристов было подавлено, пятеро из них казнены, остальные поплатились каторгой, ссылкой и другими наказаниями.

Начавшиеся в двадцатых годах разложение крепостного хозяйства и развитие зародышей новых хозяйственных порядков и отношений продолжались позднее—в тридцатых и в особенности сороковых годах XIX века. При этом в особенности в сороковых годах не только развилась фабричная промышленность, вследствие чего возрос спрос на хлеб внутри России, но вырос и расширился и внешний хлебный рынок,—спрос на русский хлеб заграницей, в западно-европейских странах. В 1850 году из России было вывезено уже на 44½ миллиона рублей земледельческих продуктов. Поэтому явилась потребность в увеличении производства русского хлеба. Опыт прошлого показал, что для этого недостаточно одного перехода к улучшенным приемам и способам земледельческого производства: хорошие орудия, улучшенные семена, многополье и травосеяние мало помогали делу, раз над всем этим трудились крепостные рабочие. Крепостной барщинник работал плохо, неохотно и не годился как рабочий для улучшенного земледелия. Сама жизнь показывала необходимость перехода к вольнонаемному труду, отмены крепостной барщины и замены барщинника свободным рабочим, который получал бы заработную плату тем больше, чем лучше и искуснее работал.

Первым признаком этого перелома в земледельческом производстве было ослабление барщины и переход к оброчной системе на большей части территории крепостной России. Так, во Владимирской губернии на барщине осталось только 30% всех крепостных, в Ярославской и Костромской—12½%, в Московской—32% и т. д.

Затем некоторые помещики, желая улучшить производство, в награду за лучшую работу на барской пашне давали крестьянам в надел больше земли.

Наконец, все чаще применялся прямо вольнонаемный труд в сельском хозяйстве. Так было в 40-х годах, напр., в Нижегородской губ. у Чаадаева, в Рязанской у Александрова, в ряде имений Тамбовской и Тульской губерний и так далее.

И потому то, что было начато декабристами, не умерло и даже на время не замерло. В тридцатых годах среди учащейся дворянской молодежи, особенно в Московском университете, появились кружки, которые продолжали дело декабристов и даже, воспринимая те влияния, которые шли с Запада Европы, шли далее декабристов в своих взглядах на то, как следует изменить общественный и государственный строй. Таков был кружок московского студента Сунгурова, во всем следовавшего заветам декабристов и поплатившегося за это каторгой, таков же был и кружек Герцена, Огарева и их друзей, учившихся также в Московском университете и усвоивших впервые зародыши социализма,— учения о таком устройстве общества, при котором уничтожается частная собственность на землю и другие средства производства и заменяется общественною на них собственностью. Герцен, Огарев и их друзья увлекались тогда учением одного из французских социалистов начала XIX века— Сен-Симона и его последователей.

Кружки дворянской учащейся молодежи, дошедшие в крайних своих проявлениях в тридцатых годах до социализма, были возможны тогда только потому, что передовые круги дворянского общества уже перерождались частично в буржуазию и чувствовали устарелость и отсталость русского старого дворянского порядка, основанного на крепостном праве и царском самодержавии: в дворянской среде тридцатых годов немало было уже либералов, самым выдающимся из которых был в то время Пушкин.

В тридцатых и сороковых годах Гоголь — особенно в «Ревизоре» и «Мертвых Душах» — дал широкое и глубокое изображение жизни дворянской крепостной России и, часто сам того не желая, бессознательно обличал ее отсталость и некультурность.

В сороковых годах общественное движение в дворянских кругах растет и ширится, привлекая к себе отчасти и интеллигенцию из других сословий. Особенно большое значение приобрели тогда в обеих столицах, преимущественно в Москве кружки и собрания славянофилов и западников.

Славянофилы по существу своему были охранителями,

«разумными» консерваторами, стремились к тому, чтобы сохранить возможно большее из старого порядка, сделав возможно меньше, совершенно уже необходимые уступки.

Основой их воззрений была религиозная философия, и главный их философ Хомяков приспособил к их потребностям немецкую религиозную философию Шеллинга, придав ей окраску, взятую из русского православия. Он поэтому призывал Россию на путь веры и смирения, в проповеди которых славянофилы видели мировое предназначение России. Отсюда вытекало отрицательное отношение славянофилов к Западу Европы: Запад развивался путем разума и науки и потому признавался славянофилами гнилым и близким к гибели. В противоположность Западу славянство и особенно Россия, по мнению славянофилов, развивалась путем чувства, религии. Поэтому славянофилы ценили, то, что было оригинального в России: сельскую земельную общину, даже самодержавие. Впрочем в прибавок к самодержавию они считали необходимыми свободу мнения,—свободу слова и печати, и совещательный при царе земский собор из выборных от сословий. В особенности же важно то, что они находили необходимой отмену крепостного права, хотя и с сохранением опеки дворян-землевладельцев над освобожденными крестьянами, которые должны были при этом получить землю в надел.

Важнейшими из славянофилов были тогда, кроме названного выше Хомякова, братья Аксаковы—Константин и Иван—и двое братьев Киреевских. Славянофилы в московских дворянских гостиных сороковых годов горячо спорили с западниками по философии, историческим, социальным и политическим вопросам.

Западники являлись настоящими представителями русского дворянского либерализма и радикализма сороковых годов. Сюда принадлежали в особенности Станкевич, Бакунин, Грановский, Герцен и вышедший не из дворянской, а из разночинческой, мелкобуржуазной среды Белинский.

Наиболее умеренными из западников были рано умерший Станкевич и Грановский—культурные либералы того времени, последователи немецкой философии Гегеля. Они настаивали на необходимости свободы личности, развития России по западно-европейскому образцу, освобождения крестьян, установления в России западно-европейского конституционализма, ограничения царской власти выборным народным представительством.

Герцен, Белинский и Бакунин были левыми западниками, шли далее других западников в своих стремлениях к новизне. Герцен был, как мы знаем, еще с тридцатых годов сен-симонистом и, кроме того, являлся материалистом и атеистом, что приводило его к жарким схваткам с Хомяковым. Белинский, работавший главным образом в Петербурге, под конец своей жизни также примкнул к сен-симонистскому социализму. Бакунин пошел потом по пути к анархизму, вождем которого он сделался позднее, в шестидесятых годах.

Таковы были настроения и течения, существовавшие в передовых дворянских кругах Петербурга, Москвы и некоторых крупных провинциальных городов в сороковых годах XIX века. Эти настроения и идейные течения будили мысль в более широких слоях интеллигенции того времени, выходивших из среднего и мелкопоместного дворянства, отчасти и из буржуазии, особенно мелкой, демократической. Влияло на эти круги и прошлое,—то, что было унаследовано от декабристов. Из всего этого и вышла, возникла и развилась в Петербурге деятельность петрашевцев—революционеров и социалистов сороковых годов.

Кружок петрашевцев не был единым и цельным по воззрениям, объединял людей довольно различных настроений и убеждений. Надо притом заметить, что, собственно говоря, нельзя называть петрашевцев организованным кружком или сообществом. Сама следственная комиссия по их делу свидетельствовала, что они не обнаружили «ни единства действий, ни взаимного согласия; к разряду тайных организованных обществ они также не принадлежали».

Основное ядро петрашевцев составляли несомненно последователи французского социалиста-утописта Фурье. Утопический социализм отличается от научного социализма Маркса и Энгельса главным образом тем, что он не связывает социалистическое будущее с капитализмом и классовой борьбой пролетариата за свое освобождение и полагает возможным установление социализма путем пропаганды его во всех слоях общества и посредством внедрения социалистических товариществ в капиталистический мир. Так думал и Фурье, стремившийся во Франции 20-х и 30-х годов XIX века устроить и распространить свои социалистические «фаланги», которые должны были жить в особого рода зданиях, специально для них построенных,—фаланстерах.

Научный социализм Маркса только еще слагался к концу сороковых годов и был неизвестен в России, да если бы

и был тогда известен, то вследствие отсталости России в то время оказался бы, вероятно, не по плечу тогдашним русским социалистам. Но среди петрашевцев главную роль играли последователи утопического социализма Фурье—фурьеристы.

Во главе русских фурьеристов стоял в сороковых годах Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский. По своему социальному положению он был дворянин, средний землевладелец Петербургской губернии, ему принадлежало в нераздельном владении с матерью и четырьмя сестрами имение в 250 душ. Этим нельзя было жить так, как хотел Петрашевский: он хотел жить общественной жизнью, устраивал приемы, журфиксы по пятницам для обсуждения разных общественных вопросов, при чем присутствовавших угощали и ужином, хотя и скромным. Поэтому Петрашевский сверх того служил в министерстве иностранных дел. Средний землевладелец-дворянин, прирабатывающий к своему помещичьему доходу службою, полудворянин-получиновник, — вот точное определение социального положения Петрашевского.

Человек он был культурный, образованный. Учился и кончил курс в привилегированном дворянском высшем учебном заведении—Александровском лицее, но уже там замечен был начальством в вольнодумстве. Лицей мало удовлетворил Петрашевского: он недоволен был поверхностными знаниями, там приобретенными, и потому по окончании курса в лицее слушал лекции на юридическом факультете Петербургского университета в качестве вольнослушателя. Здесь на него, как и на двух других участников его кружка Петра Дебу и Ханыкова, оказал большое влияние профессор политической экономии и статистики Порошин, который знакомил своих слушателей с социалистическими учениями того времени, порицал крепостное право, сочувствовал фурьеризму. В 1841 г. Петрашевский прекрасно сдал экзамен в университете.

До того времени Петрашевский был не более, как политическим радикалом, левым декабристом: с 1840 года он составлял рукопись под заглавием «Мои афоризмы», в которой стоял за свободу отдельных национальностей, свободную торговлю, республику, выборность всех должностных лиц, веротерпимость, свободу печати. Но вскоре после окончания университета в 1842—43 годах Петрашевский составил записку «Запас общеполезного», где впервые нашел себе выражение фурьеризм. В 1843 году Петрашевский стал разрабатывать вопрос об освобождении крестьян.

В 1845 году офицер Кириллов, служивший в кадетском корпусе, начал издавать «Карманный словарь иностранных слов». Первый выпуск этого словаря вышел под редакцией рано умершего даровитого критика Валериана Майкова, также знакомого с фурьеризмом и другими социалистическими учениями того времени; редактором второго выпуска был Петрашевский, который был главным сотрудником и при составлении первого выпуска. Под видом невинного славаря иностранных слов имелось в виду, распространение социалистических учений в широких кругах читающей публики. Второй выпуск был задержан цензурой, и оставшиеся непроданными к тому времени экземпляры первого выпуска были конфискованы и сожжены.

Петрашевский горячо увлекался общественными вопросами, был очень деятелен, страстно, но без всяких резкостей спорил, был очень добр, личную жизь и личные интересы ставил на второй план, остался холостяком, сильно интересовался юридическими науками, историей, социальными теориями и составил себе прекрасную библиотеку по этим отраслям знания, которую широко открыл для пользования своим знакомым и даже всем желающим.

Пристрастный реакционный мемуарист того времени (автор воспоминаний)—барон Корф именует Петрашевского «полоумным», и Герцен, в согласии с ним представляет петрашевцев людьми ненормальными. Предполагают, что этому дал повод факт временного нервного расстройства Петрашевского в тюрьме. Других оснований для этого мнения нет, и его нельзя считать сколько-нибудь серьезным. Следственная комиссия считала Петрашевского «дерзким», но это, конечно потому, что он, во первых, был человек убежденный, твердый в своих взглядах и правильно считал себя ни в чем не виновным, а во-вторых, он отличался высоко развитым чувством собственного достоинства. Очевидно, он соответственным образом держал себя и перед следственной комиссией.

С 1845 по 1848 год, в течение четырех лет, Петрашевский систематически устраивал у себя в доме журфиксы по пятницам. Собирались 20—30 человек, под конец человек до 50-ти и обсуждали после доклада одного из присутствовавших социалистические теории, научные, общественные и политические вопросы. Сам Петрашевский говорил там о фурьеризме, о гласном и общественном суде, об отмене крепостного права. Будучи фурьеристом, Петрашевский, одна-

ко не разделял мнения Фурье о мирной пропаганде, как единственном средстве перехода к социализму: он стоял за переворот, революцию, но при непременном условии предварительной подготовки и пропаганды.

В феврале 1848 года Петрашевский подал в петербургское дворянское собрание, записку, в которой предлагал дать купцам право покупать дворянские имения с личным при этом освобождении крестьян этих имений, учредить кредитные земские учреждения, земледельческие банки и сохранные казны в уездных городах, понизить проценты по залогу имений в казенных кредитных установлениях, улучшить формы судопроизводства и надзор за администрацией. Никаких последствий эта записка не имела. Петрашевский хотел также принять участие в преобразованных в 1846 г. органах городского самоуправления в Петербурге, но это ему также не удалось.

Ядро фурьеристов в кружке Петрашевского составляли кроме него еще несколько лиц. Сюда принадлежали Данилевский, недолго впрочем бывший петрашевцем вследствие скорого своего отъезда из Петербурга, но считавшийся большим знатоком социалистических учений, два брата Дебу— Константин и Ипполит, Ахшарумов, Кашкин, два брата Европеус, Ханыков, Есаков, Ващенко. Все эти лица 7 апреля 1849 года, в день рождения Фурье, присутствовали, как и Петрашевский и еще Спешнев, занимавший, как скоро увидим особое положение, на обеде в память Фурье, устроенном в квартире Европеуса. На этом обеде Ханыков произнес горячую речь в честь Фурье, а Ипполит Дебу предложил перевести на русский язык общими силами присутствующих важнейшие сочинения Фурье, что и было принято. Ахшарумов нарисовал на обеде картину фурьеристского переустройства общества—новой организаций семьи, труда, собственности, государства, уничтожения городов, законов, войны и войска.

Кроме собраний у Петрашевского и обеда у Европеуса фурьеристы, если не одни, то по преимуществу собирались еще у Дебу и у Кашкина. Характерной чертой их собраний в квартире Дебу было то, что они сильно интересовались русской земельной общиной. Повидимому им не чужда была народническая идея об общине как зародыше социализма,— та идея, с которой в том же 1849 году заграницей в своей книге «С того берега» выступил Герцен. Но книги Герцена они не знали, пришли к своим выводам или, по крайней

мере, исканиями самостоятельно. Собрания у Кашкина имели некоторый особый характер. На них бывали все участники обеда в честь Фурье у Европеуса, кроме Петрашевского. Это был кружок более крайнего и более решительного фурьеристского направления, чем кружок Петрашевского. Все его участники были вполне единомышленниками и не только изучали учение Фурье, но и думали о применении его к России, о скорейшем практическом осуществлении.

Все те лица, о которых у нас шла до сих пор речь, принадлежали по преимуществу к среднему и мелкому дворянству и столичному чиновничеству, жили наполовину от своих имений, наполовину жалованьем за службу. Среди декабристов было некоторое число аристократов, но и там их было не много и то больше разорившихся, обедневших. Если таким образом отобрать эти аристократические элементы декабризма, то окажется, что большинство декабристов принадлежали к тому же среднему и мелкому дворянству, жившему отчасти и службой. Таким образом и среди петрашевцев и среди декабристов господствовал один и тот же общественный слой: передовые его элементы увлекались в 20-х годах довольно еще элементарной революционностью буржуазно-дворянского характера, а в сороковых годах они перешли уже к утопическому социализму, при чем большинство их, в отступлении от Фурье, имело в виду и насильственные действия—политический переворот по примеру декабристов.

Прежде чем перейти к другим группам петрашевцев, необходимо характеризовать одного из них, представлявшего собою исключение и по социальному положению и по взглядам среди всех прочих и вместе с тем посещавшего все группы и собрания: таков именно, был Спешнев.

Спешнев был довольно крупный, богатый помещик, жил исключительно на доходы со своего имения, бывшего в Курской губернии, четыре года провел заграницей, где он познакомился с учением немецкого социалиста-утописта Вейтлинга и стал его последователем, коммунистом, как тогда последователи Вейтлинга себя называли. Высокого роста, красивый, с темно-русыми кудрями до плеч, с большими серыми грустными глазами, он производил большое впечатление на окружающих. Он был убежденным и стойким атеистом. Он хотел практической деятельности в духе своих взглядов, вызывался печатать заграницей запрещен-

ные книги, помышлял об устройстве тайной типографии, назначил для этого свою квартиру, и за день до его ареста студент Филиппов доставил ему купленные на его деньги некоторые типографские принадлежности. Спешнев до некоторой степени соперничал с Петрашевским и вместе с другим петрашевцем Тимковским мечтал об образовании ряда кружков для серьезного изучения социалистических учений и о создании центральной группы из сведущих социалистов для руководства этими кружками. Он составил даже проект подписки, которую должны были давать члены этого предполагаемого тайного общества, причем в этой подписке они обязывались, по призыву комитета общества, принять участие в восстании.

Центральное фурьеристское ядро петрашевцев было окружено не фурьеристской, вообще не социалистической, а просто революционной по настроению, средой, большинством посетителей собраний у Петрашевского и других. Это большинство состояло главным образом из мелкого дворянства, отчасти даже из мелкой буржуазии, что было большой новостью по сравнению с декабристами. Но и эта среда не была однообразной по взглядам, отдельные ее части и группы имели свои особенности.

Первая из этих групп собиралась зимой 1846—47 годов у поручика лейб-гвардии московского полка Николая Момбелли на еженедельные литературные вечера, где читали оригинальные и переводные сочинения либерального направления. Сам Момбелли высказывался за республику, приходил в ужас от хлеба, которым, как он лично наблюдал, питались крестьяне Витебской губернии: «мука вовсе не вошла в его состав, он состоит из мякины, соломы и еще какой то травы, не тяжелее пуха и видом похож на высушенный конский навоз, перемешанный с соломою». Его возмущало то, что «в России десятки миллионов страдают, тяготятся жизнью, лишены прав человеческих или ради (т.-е. вследствие) плебейского своего происхождения, или ради ничтожности общественного положения, или по недостатку средств существования; зато в то же время небольшая часть привилегированных счастливцев, нахально смеясь над бедствиями ближних, истощается в изобретении роскошных проявлений мелочного тщеславия и низкого разврата, прикрытого утонченной роскошью». Момбелли был убежденным сторонником основания тайного общества для ведения противоправительственной пропаганды, подготовки восстания и взаимопомо-

щи его членов особенно, если они пострадают. Он хотел привлечь в это общество между прочим Петрашевского и Спешнева. Но Константин Дебу уговорил Петрашевского не вступать в такое общество, и оно не состоялось.

Второй кружок, более умеренный, лишенный стремлений к восстанию, тайной организации, заговору, группировался около литераторов Дурова и Пальма, которые так же, как и Момбелли, посещали собрания Петрашевского. Этот кружок собирался на квартире Дурова и Пальма с начала марта до половины апреля 1849 г.

Дуров был поэт, автор оригинальных, в особенности же переводных, стихотворений. Хорошо и с большим увлечением он переводил революционные стихи французского поэта Барбье. Пальм также был поэтом и автором одной повести. Оба были небогаты, и чай, ужин и прокат рояля оплачивались посетителями их суббот вскладчину. Там бывали Спешнев, братья Достоевские, студент Филиппов, Милюков, Порфирий Ламанский. Революционных замыслов здесь совсем не было. Просто добывали и читали запрещенные книги, толковали об освобождении крестьян, отмене цензуры, а также об опытах устройства социалистических общин по планам английского социалиста-утописта Оуена, французского утописта Кабе, последователей Фурье и т. д. Федор Михайлович Достоевский читал на собрании у Дурова и Пальма, как и у Петрашевского, письмо Белинского к Гоголю, обличавшее крепостнический и реакционный характер гоголевских «Выбранных мест из переписки с друзьями». Милюков прочел переведенный им отрывок из сочинения французского христианского социалиста Ламеннэ. Дуров читал свои стихотворения. Момбелли и здесь пытался осуществить свой проект тайного общества, но безуспешно.

К числу посетителей суббот Дурова и Пальма принадлежал также молодой поэт Александр Николаевич Плещеев. У него в свою очередь были собрания зимою 1848—49 годов. Его стихи уже тогда посвящены были борьбе за «истину, свободу и любовь», обличению «рабов греха, рабов постыдной суеты», погрязших «в тине зла и праздности», и не смущавшихся «гонимых братьев стоном». И его собрания посещали те, кто бывал у Дурова и Пальма, и еще некоторые другие.

В конце 1848 года купеческий сын Латкин, впоследствии известный золотопромышленник, ввел к Петрашевскому на его собрания комиссионера частных компаний, разрабаты-

вавших золотые прииски, отставного офицера Черносвитова, который настаивал на возможности и необходимости восстания в гвардии, в Сибири, в нижнем Поволжье, на Урале.

Самым знаменитым из петращевцев был Федор Михайлович Достоевский. Он был в то время уже довольно известным писателем, автором двух романов—«Бедные люди» и «Униженные и оскорбленные»—и нескольких повестей. Одно время он служил военным инженером, но скоро оставил службу. Человек с большим самолюбием, с ясным сознанием своих больших дарований, Достоевский не чувствовал себя приспособленным к жизни, искал выхода, находился на распутьи. Он был несомненно и в то время человеком религиозным не в пример большинству петрашевцев. Старый порядок не удовлетворял его: недаром он не раз читал на собраниях горячо-обличительное письмо Белинского к Гоголю. Он не был убежденным фурьеристом, но несомненно интересовался фурьеризмом и понимал его как учение, отвергавшее политику. В своем показании Достоевский писал: «реформы политической фурьеризм не полагает, его реформа экономическая; она не посягает ни на правительство, ни на собственность, ни на семью». Особенно удручала его, как писателя, цензура. В общем Достоевский, и будучи петрашевцем, не был ни революционером, ни социалистом: он просто чувствовал гнет старорежимной полицейщины и искал выхода. Как искатель, он являлся и на собрания Петрашевского, и в другие кружки петрашевцев вплоть до самых умеренных, и жестоко поплатился за это, в сущности, совершенно невинное ни мало не разрушительное искательство.

Таковы были основные факты, касавшиеся деятельности и организации петрашевцев, но которых полиция и администрации Николая I обрушилась с такой жестокостью. Из сказанного видно, что петрашевцы не составляли никакого тайного общества, что они не устраивали заговоры и не предпринимали никаких практических действий. Они просто собирались, читали, беседовали. Конечно, эти собрания, чтения и беседы касались вопросов общественной и государственной жизни—очередных, ближайщих, а также и отдаленных, рисовавшихся лишь в будущем. Но этого было достаточно, чтобы пострадать очень сильно.

Петрашевцы не были конспиративны, не скрывали своих собраний, допускали на них всех без разбора. Петрашевский и после осуждения не считал себя ни в чем виновным и тре-

бовал не прощения, а пересмотра своего дела и отмены несправедливого приговора. И по призанию самих обвинителей и лиц, к ним близких по воззрениям, то был лишь «заговор идей», а не действий. Но и идей николаевская администрация и полиция боялись пуще огня, а сам ее глава Николай I в «идеях» склонен был видеть, как он выражался, «своих друзей 14-го декабря»—тени казненных и сосланных декабристов.

Поводом к началу наблюдения за Петрашевским послужила раздача им литографированной записки по крестьянскому вопросу в петербургском дворянском собрании. Наблюдение велось по поручению министра внутренних дел графа Перовского крупным чиновником его министерства Липранди, бывшим офицером генерального штаба, человеком образованным, специалистом по делам о раскольниках и по политическим делам, имевшим очень хорошую библиотеку по предметам своих специальных занятий. Чрезвычайно замечательна и ярка фигура Липранди, этого интеллигентного сыщика, более подготовленного к делу политического сыска, чем николаевские жандармы.

Липранди вел наблюдения за собраниями петрашевцев в течение тринадцати месяцев и направил для этого посещать пятницы Петращевского бывшего студента Антонелли, своего родственника. 20 апреля 1849 года шеф жандармов граф Орлов объявил Липранди высочайшее повеление о прекращении им дальнейшего ведения дела и о передаче его в третье отделение, т.-е. жандармам, а в ночь с 22 на 23 апреля 1849 года все петрашевцы были арестованы.

Николай был сильно напуган, ему мерещились тайное общество и заговор, он подозревал даже участие в них, по его выражению, «наших», т.-е. верхов дворянства и представителей высшей администрации. Ничего этого на деле не оказалось.

Назначена была следственная секретная комиссия под председательством коменданта Петрапавловской крепости генерал-адьютанта Набокова в составе членов—князя Гагарина, князя Долгорукова, генерала Дубельта и генерал-адъютанта Ростовцева. Комиссия кроме арестованных рассмотрела вопрос об участии в деле еще 232-х человек, указанных шпионами и упоминавшихся в показаниях обвиняемых. Но в результате оказалось, что «гора родила мышь»: обвинены и осуждены были только 23 человека. После того петрашевцев судила военно-судная комиссия из трех

генерал-адъютантов и трех сенаторов под председательством бывшего оренбургского генерал-губернатора Перовского. И это указывало, что Николай понял сравнительную маловажность дела: декабристов судил верховный уголовный суд, а петрашевцев только военно-судная комиссия.

Военно-судная комиссия действовала $1\frac{1}{2}$ месяца и 16 ноября 1849 г. приговорила 15 человек к расстрелу, остальных к каторге и ссылке, а одного—Черносвитова—оставила на подозрении. Из комиссии дело поступило в генерал-аудиториат[1]), который двадцать одного человека приговорил к расстрелу, но вместе с тем ходатайствовал о смягчении наказания всем. Николай смягчил. Петрашевский сослан был на каторгу без срока, девять человек на каторгу на разные сроки (в том числе Спешнев на 10 лет, Момбелли на 15, Достоевский на 4 года), остальные были посланы на разные сроки в арестанты инженерного ведомства, отданы в солдаты, сосланы на житье в разные захолустные места.

Но прежде чем привести этот суровый приговор в исполнение, решено было помучить приговоренных страхом смертной казни. Для этого 22 декабря 1849 года их всех привезли на Семеновский плац в Петербурге; Петрашевского, Спешнева и Момбелли поставили под расстрел на глазах у всех. Только тогда приехал флюгель-адъютант Николая, и объявлен был окончательный приговор.

Каково было влияние петрашевцев на современников? Распространялся ли хотя бы в какой либо мере фурьеризм по России?

Чтобы отличиться и выслужиться, показать свои необыкновенные знания в политических делах и помочь своему покровителю министру внутренних дел графу Перовскому в его намерении достигнуть передачи всех дел по политическим преступлениям в министерство внутренних дел с уничтожением особого корпуса жандармов Липранди набросал довольно внушительную картину распространения фурьеристского заговора или, по крайней мере, фурьеристской крамолы по разным городам России. Его указания в большей своей части доверия, конечно, не заслуживают. Но несомненно все-таки, что осужденный по делу петрашевцев Тимковский устроил два фурьеристских кружка в Ревеле,

---

[1]) Так назывался существовавший до реформы 60-х годов высший военный суд, рассматривавший и решавший важнейшие дела, поступавшие туда из низших судов.

Кайданов имел такой же кружок в Ростове, а три лица вели фурьеристскую пропаганду в Казани. Провинция, очевидно, была еще очень мало затронута влиянием фурьеризма, и это влияние было там невелико и не сильно. Но все-таки пропаганда фурьеризма начала уже в то время проникать и в провинцию.

В чем историческое значение петрашевцев,—какое влияние они имели на дальнейшее развитие революционного движения и революционных идей в России?

Петрашевцы не только не были первыми русскими революционерами, но они и не совершили никаких действий, которые давали бы им право быть зачисленными в число революционно-активных деятелей: никакого массового движения они не вызвали, не совершили и никаких личных революционных актов. Самое большее, что они сделали в этом отношении, заключается в их порывах и мечтаниях.

Петрашевцы не были также, как мы видели, и первыми русскими социалистами: такими первыми по времени социалистами в России были Герцен, Огарев и Белинский.

Но характерно, прежде всего, именно то, что, по крайней мере частично некоторые из петрашевцев в отношении социализма связаны были с Белинским: именно Белинский, по словам Достоевского, посвятил его в социалистическую правду. Таким образом тут есть даже отчасти и прямое преемство: нить социалистических воззрений в России была прямо и непосредственно передана Белинским некоторым петрашевцам.

Но не менее замечательно и знаменательно и то, что большинство петрашевцев—и даже подавляющее большинство—восприняло социалистические идеи совершенно самостоятельно, независимо от Белинского: очевидно в жизни русской дворянской и буржуазной интеллигенции были обстоятельства, которые вызывали в ней социалистические симпатии. Обстоятельства эти понятны: гнет старого дворянско-самодержавного полицейского режима мещанская пошлость режима «короля-гражданина» Луи-Филиппа во Франции, яркого представителя буржуазной монархии на Западе, одинаково претили русской интеллигенции—демократической и революционно-настроенной ее части, — и убеждали ее, что единственное спасение ее, единственное средство оградить собственное достоинство, это—достигнуть осуществления социализма. Русская жизнь создавала революционность, а наблюдения над буржуазной Францией и знакомство с фран-

цузским утопическим социализмом окрашивали эту революционность в социалистический цвет, питали социалистические настроения.

Таким образом первая историческая заслуга петрашевцев, первое, что они передали по наследству истории,—это их социалистические убеждения. Они не только подхватили нить из рук своих предшественников но и самостоятельно сами взяли ее в свои руки и преемственно передали тем, кто за ними исторически следовал. А исторически следовало за ними все позднейшее революционное движение в России, которое все протекало под знаменем социализма. Петрашевцы таким образом, отчасти создали, отчасти укрепили, упрочили революционно-социалистическую традицию в России.

Конечно, по условиям времени и по своему социальному положению, не будучи притом ни в какой мере связаны с рабочим классом, ничего и теоретически не зная о научном социализме, петрашевцы были только социалистами утопистами. Иначе и быть не могло. Но ведь для того, чтобы подойти к научному социализму, чтобы глубоко воспринять и понять его, интеллигенции необходимо пройти через стадию социализма утопического.

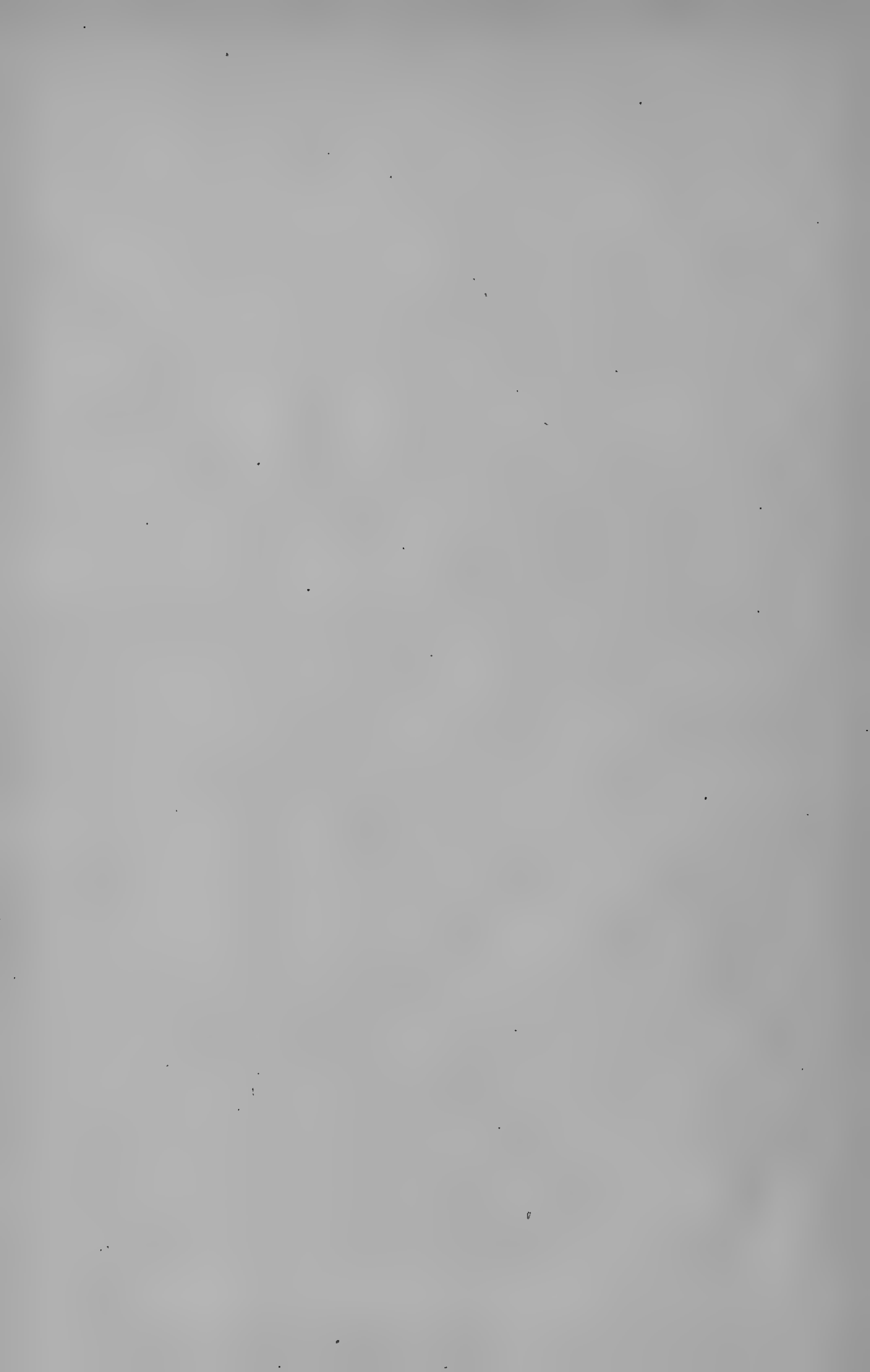
Характерно, однако то, что петрашевцы и этот утопический социализм восприняли не механически. Их фурьеристское ядро сумело отречься от теории Фурье о мирном внедрении социализма в капиталистическое общество путем пропаганды во всех классах общества, в том числе и даже в первую очередь среди буржуазии: переход к новому обществу петрашевцы мыслили не иначе, как в форме революционного переворота. В этом отношении они были предшественниками современного нам революционного социализма.

Наконец, мы отметили выше у некоторых петрашевцев струйку народнического социализма. Она делает их вместе с Герценом, параллельно ему родоначальниками русского народничества, предшественниками Чернышевского, «Земли и Воли» и «Народной Воли».

Н. Рожков.

I.

СОВРЕМЕННИКИ О ПЕТРАШЕВСКОМ И ПЕТРАШЕВЦАХ



А. И. ГЕРЦЕН О ПЕТРАШЕВЦАХ [1])

Тип, к которому принадлежал Энгельсон, был тогда для меня довольно нов. В начале сороковых годов я видел только его зачатки. Он развился в Петербурге под конец карьеры Белинского и сложился после меня до появления Чернышевского. Это—тип петрашевцев и их друзей. Круг этот составляли люди молодые, даровитые, чрезвычайно умные и чрезвычайно образованные, но нервные, болезненные и поломанные. В их числе не было ни кричащих бездарностей, ни пишущих безграмотностей, это—явления совсем другого времени, но в них было что-то испорчено и повреждено.

Петрашевцы ринулись горячо и смело на деятельность и удивили всю Россию «Словарем иностранных слов». Наследники сильно возбужденной умственной деятельности сороковых годов, они прямо из немецкой философии шли в фалангу Фурье, в последователи Конта.

Окруженные дрянными и мелкими людьми, гордые вниманием полиции и сознанием своего превосходства при самом выходе из школы, они слишком дорого оценили свой отрицательный подвиг или, лучше, свой подвиг в возможности. Отсюда—безмерное самолюбие; не то здоровое, молодое самолюбие, идущее юноше, мечтающему о великой будущности, идущее мужу в полной силе и в полной деятельности, не то, которое в былые времена заставляло людей совершать чудеса отваги, выносить цепи и смерть из желания славы,

[1]) Полн. собр. соч. и писем, под ред. М. К. Лемке. Том XIII. «Былое и Думы». Энгельсоны, стр. 599—601 (написано в 1859 году). Характеристика Герцена, замечательно тонко улавливая некоторые общие психические черты, неверна, конечно, как обобщение характера Энгельсона на весь «тип петрашевцев». Герцен мало знал петрашевцев, а Энгельсон, посещавший Петрашевского лишь в 1884 г., имел слабость преувеличивать свое «представительство от петрашевцев» (см. «Всемирн. Вестник» 1907, I). Ред.

но, напротив, самолюбие болезненное, мешающее всякому делу огромностью притязаний, раздражительное, обидчивое, самонадеятельное до дерзости и в то же время неуверенное в себе.

Между их запросом и оценкой ближних несоразмерность была велика. Общество не принимает векселей на будущее и требует готовую работу за свое наличное признание. Труда и выдержки у них было мало, того и другого хватило только для понимания, для усвоения разработанного другими. Они хотели жатвы за намерение сеять и венков—за то, что у них закромы были полны. «Обидное непризнание общества» их мучило и доводило до несправедливости к другим, до отчаяния и Fratzenhaftigkeit [1]).

На Энгельсоне я изучил разницу этого поколения с нашим. Впоследствии я встречал много людей не столько талантливых, не столько развитых, но с тем же видовым болезненным надломом по всем суставам.

Страшный грех лежит на николаевском царствовании в этом нравственном умерщвлении плода, в этом душевредительстве детей. Дивиться надобно, как здоровые силы, сломавшись, все же уцелели. Кто не знает знаменитую инструкцию учителям кадетских корпусов? В лицее было лучше, но ненависть Николая в последнее время налегла и на него. Вся система казенного воспитания состояла во внушении религии слепого повиновения, ведущей к власти, как к своей награде. Молодые чувства, лучистые по натуре, были грубо оттесняемы внутрь, заменяемы честолюбием и ревнивым, завистливым соревнованием. Что не погибло, вышло больное, сумасшедшее... Вместе с жгучим самолюбием прививались какая-то обескураженность, сознание бессилия, усталь перед работой. Молодые люди становились ипохондриками, подозрительными, усталыми, не имея двадцати лет от роду. Они все были заражены страстью самонаблюдения, самоисследования, самообвинения, они тщательно поверяли свои психические явления и любили бесконечные исповеди и рассказы о нервных событиях своей жизни. Мне впоследствии случалось часто иметь на духу не только мужчин, но и женщин, принадлежавших к той же категории. Вглядываясь с участием в их покаяния, в их психические себябичевания, доходившие до клеветы на себя, я, наконец, убедился потом, что все это—одна из форм того же самолюбия. Стоило, вместо возражения и сострадания, согласиться с кающимся, чтобы увидеть, как

[1]) Карикатурность.

легко уязвляемы и как беспощадно мстительны эти Магдалины обоих полов. Вы перед ними, как христианский священник перед сильными мира сего, имеете только право торжественно отпускать грехи и молчать.

У этих нервных людей, чрезвычайно обидчивых, содрогавшихся, как мимоза, при всяком чуть неловком прикосновении, была, с своей стороны, непостижимая жестокость слова. Вообще, когда дело шло об отместке, выражения не мерились,—страшный эстетический недостаток, выражающий глубокое презрение к лицу и оскорбительную снисходительность к себе. Необузданность эта идет у нас из помещичьих домов, канцелярии и казарм, но как же она уцелела, развилась у нового поколения, перескакивая через наше? Это—психологическая задача.

В прежних студентских кружках бранились громко, спорили запальчиво и грубо, но в самой пущей брани кой-что оставалось вне битвы... Для наших нервных людей энгельсоновского поколения этого заветного места не существовало, они не считали нужным себя сдерживать, для пустой и мимолетной мести, для одержания верха в споре не щадили ничего, и я часто с ужасом и удивлением видел, как они, начиная с самого Энгельсона, бросали без малейшей жалости драгоценнейшие жемчужины в едкий раствор и плакали потом. С переменой нервного тока начинаются раскаяния, вымаливание прощения у поруганного кумира. Небрезгливые, они выливали нечистоты в тот же сосуд, из которого пили.

Раскаяния их бывали искренни, но не предупреждали повторений. Какая-то пружина, умеряющая действие колес и направляющая их, у них сломана; колеса вертятся с удесятеренной быстротой, ничего не производя, но ломая машину; гармоническое сочетание нарушено, эстетическая мера потеряна,—с ними жить нельзя, им самим с этим жить нельзя.

Счастья для них не существовало, они не умели его беречь. При малейшем поводе они давали бесчеловечный отпор и обращались грубо со всем близким. Иронией они не меньше губили и портили в жизни, чем немцы приторной сантиментальностью. Странно,—люди эти жадно хотят быть любимыми, ищут наслаждения, и, когда подносят ко рту чашу, какой-то злой дух толкает их под-руку, вино льется наземь, и с запальчивостью отброшенная чаша валяется в грязи.

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ О ПЕТРАШЕВЦАХ [1])

И почему вы полагаете, что Нечаевы непременно должны быть фанатиками? Весьма часто это просто мошенники. «Я мошенник, а не социалист», говорит один Нечаев, положим, у меня, в моем романе «Бесы», но уверяю вас, что он мог бы сказать это и наяву. Это мошенники, очень хитрые и изучившие именно великодушную сторону души человеческой, всего чаще юной души, чтобы уметь играть на ней, как на музыкальном инструменте. Да неужели же вы вправду думаете, что прозелиты, которых мог бы набрать у нас какой-нибудь Нечаев,—должны быть непременно лишь одни шалопаи? Не верю, не все; я сам старый «нечаевец», я тоже стоял на эшафоте, приговоренный к смертной казни, и уверяю вас, что стоял в компании людей образованных. Почти вся эта компания кончила курс в самых высших учебных заведениях. Некоторые впоследствии, когда уже все прошло, заявили себя замечательными специальными знаниями, сочинениями. Нет-с, нечаевцы не всегда бывают из одних только лентяев, совсем ничему не учившихся.

Знаю, вы, без сомнения, возразите мне, что я вовсе не из нечаевцев, а всего только из «петрашевцев». Пусть из петрашевцев (хотя, по-моему, название это неправильное, ибо чрезмерно большее число, в сравнении с стоявшими на эшафоте, но совершенно таких же, как мы, петрашевцев, осталось совершенно нетронутым и необеспокоенным. Правда, они никогда и не знали Петрашевского, но совсем не в Петрашевском было и дело во всей этой давнопрошедшей истории, вот что я хотел лишь заметить).

Но пусть из петрашевцев. Почему же вы знаете, что петрашевцы не могли бы стать нечаевцами, т.-е. стать на «нечаевскую» же дорогу, в случае если б так обернулось дело? Конечно, тогда и представить нельзя было: как бы это могло так обернуться дело? Не те совсем были времена. Но позвольте мне про себя одного сказать: Нечаевым, вероятно, я бы не мог сделаться никогда, но нечаевцем, не ручаюсь, может, и мог бы... во дни моей юности.

[1]) «Дневник Писателя» за 1873 год, «Одна из современных фальшей». Сочинения, изд. Маркса, т. IX, стр. 335—338 и 341—342.

Я заговорил теперь про себя, чтоб иметь право говорить о других. Тем не менее, буду продолжать только об одном себе, о других же, если и упомяну, то вообще, безлично и в смысле совершенно отвлеченном. Дело же петрашевцев, это—такое давнопрошедшее дело, принадлежит к такой древнейшей истории, что, вероятно, не будет никакого вреда из того, что я о нем припоминаю, тем более, в таком скользком и отвлеченном смысле.

«Монстров» и «мошенников» между нами, «петрашевцами», не было ни одного (из стоявших ли на эшафоте или из тех, которые остались нетронутыми,—это все равно). Не думаю, чтобы кто-нибудь стал опрбвергать это заявление мое. Что были из нас люди образованные, против этого, как я уже заметил, тоже, вероятно, не будут спорить. Но бороться с известным циклом идей и понятий, тогда сильно укоренившихся в юном обществе, из нас, без сомнения, еще мало кто мог. Мы заражены были идеями тогдашнего теоретического социализма. Политического социализма тогда еще не существовало в Европе, и европейские коноводы социалистов даже отвергали его.

Луи Блана напрасно били по щекам и таскали за волосы (как нарочно густейшие, длинные и черные волосы) члены-товарищи его национального собрания, депутаты правой стороны, из рук которых вырвал его тогда Араго (астроном, член правительства, теперь уже умерший)—в то несчастное утро, в мае 1848 года, когда в палату ворвалась толпа нетерпеливых и голодных работников. Бедный Луи Блан, некоторое время член временного правительства, вовсе не возмущал их: он только лишь читал в Люксембургском дворце этим жалким и голодным людям, вследствие революции и республики разом потерявшим работу, об их «праве на работу». Правда, так как он все-таки был членом правительства, то лекции его в этом смысле были ужасно неполитичны и, конечно, смешны. Журнал же Консидерана, равно как статьи и брошюры Прудона, стремились распространить между этими же голодными и ничего за душой не имевшими работниками, между прочим, и глубокое омерзение к праву наследственной собственности. Без сомнения, из всего этого (т.-е. из нетерпения голодных людей, разжигаемых теориями будущего блаженства) произошел впоследствии социализм политический, сущность которого, несмотря на все возвещаемые цели, покамест состоит лишь в желании повсеместного грабежа всех собственников классами неимущими, а

затем «будь что будет». (Ибо по-настоящему ничего еще не решено, чем будущее общество заменится, а решено лишь только, что настоящее провалилось—и вот пока вся формула политического социализма.)

Но тогда понималось дело еще в самом розовом и райско-нравственном свете. Действительно, правда, что зарождавшийся социализм сравнивался тогда даже некоторыми из коноводов его с христианством и принимался лишь за поправку и улучшение последнего, сообразно веку и цивилизации. Все эти тогдашние новые идеи нам в Петербурге ужасно нравились, казались в высшей степени святыми и нравственными и, главное, общечеловеческими, будущим законом всего без исключения человечества. Мы еще задолго до парижской революции 1848 года были охвачены обаятельным влиянием этих идей. Я уже в 1846 году был посвящен во всю п р а в д у этого грядущего «обновленного мира» и во всю с в я т о с т ь будущего коммунистического общества еще Белинским. Все эти убеждения о безнравственности самых оснований (христианских) современного общества, о безнравственности религии, семейства; о безнравственности права собственности; все эти идеи об уничтожении национальностей во имя всеобщего братства людей, о презрении к отечеству, как к тормазу во всеобщем развитии, и проч. проч.,—все это были такие влияния, которых мы преодолеть не могли, и которые захватывали, напротив, наши сердца и умы во имя какого-то великодушия. Во всяком случае, тема казалась величавою и стоявшею далеко выше уровня тогдашних господствовавших понятий—а это-то и соблазняло. Те из нас, т.-е. не то что из одних петрашевцев, а вообще из всех тогда з а р а ж е н н ы х, но которые отвергли впоследствии весь этот мечтательный вред радикально, весь этот мрак и ужас, готовимый человечеству в виде обновления и воскресения его,—те из нас тогда еще не знали причин болезни своей, а потому и не могли еще с нею бороться. Итак, почему же вы думаете, что даже убийство à la Нечаев остановило бы если не всех, конечно, то, по крайней мере, некоторых из нас в то горячее время, среди захватывающих душу учений и потрясающих тогдашних европейских событий, за которыми мы, совершенно забыв отечество, следили с лихорадочным напряжением?...

Есть исторические моменты в жизни людей, в которые явное, нахальное, грубейшее злодейство может считаться лишь величием души, лишь благородным мужеством чело-

вечества, вырывающегося из оков. Неужели нужны примеры, неужели их не тысячи, не десятки, не сотни тысяч?.. Тема эта, конечно, мудреная и необъятная, и на нее очень трудно вступать в фельетонной статье, но все-таки в результате, я думаю, можно допустить и мое предположение: что даже и честный, и простодушный мальчик, даже и хорошо учившийся, может подчас обернуться нечаевцем... разумеется, опять-таки, если попадет на Нечаева; это уже sine qua non...

Мы, петрашевцы, стояли на эшафоте и выслушивали наш приговор без малейшего раскаяния. Без сомнения, я не могу свидетельствовать обо всех; но думаю, что не ошибусь, сказав, что тогда, в ту минуту, если не всякий, то, по крайней мере, чрезвычайное большинство из нас почли бы за бесчестье отречься от своих убеждений. Это дело давно прошедшее, а потому, может быть, и возможен будет вопрос: неужели это упорство и нераскаяние было только делом дурной натуры, делом недоразвитков и буянов? Нет, мы не были буянами, даже, может быть, не были дурными молодыми людьми. Приговор смертной казни расстреляньем, прочтенный нам всем предварительно, прочтен был вовсе не в шутку; почти все приговоренные были уверены, что он будет исполнен, и вынесли, по крайней мере, десять ужасных, безмерно-страшных минут ожидания смерти. В эти последние минуты некоторые из нас (я знаю положительно), инстинктивно углубляясь в себя и проверяя мгновенно всю свою, столь юную еще жизнь,—может быть, и раскаивались в иных тяжелых делах своих (из тех, которые у каждого человека всю жизнь лежат втайне на совести); но то дело, за которое нас осудили, те мысли, те понятия, которые владели нашим духом,—представлялись нам не только не требующими раскаяния, но даже чем-то нас очищающим, мученичеством, за которое многое нам простится! И так продолжалось долго. Не годы ссылки, не страдания сломили нас. Напротив, ничто не сломило нас, и наши убеждения лишь поддерживали наш дух сознанием исполненного долга. Нет, нечто другое изменило взгляд наш, наши убеждения и сердца наши (я, разумеется, позволяю себе говорить лишь о тех из нас, об изменении убеждений которых уже стало известно и тем или другим образом засвидетельствовано ими самими). Это нечто другое—было непосредственное соприкосновение с народом, братское соединение с ним в общем несчастии, понятие, что сам стал таким же, как он, с ним сравнен и даже приравнен к самой низшей ступени его.

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ВОЗЗРЕНИЯ ПЕТРАШЕВЦЕВ [1])

Вообще в кружке Дурова были, повидимому, самые пылкие люди, и эта пылкость доводила их до неосторожности, которую вовсе не одобрял Петрашевский. Один из членов другого кружка, который можно назвать по преимуществу кружком «фурьеристов» (в нем выдавался Ханыков), говорит, что Петрашевский остался даже очень недоволен решимостью дуровцев обзавестись чем-то вроде тайной литографии для печатания и распространения речей и статей—с точки зрения тогдашней цензуры совсем не невинного свойства. Впрочем, и в кружке «фурьеристов», отличавшемся большою сдержанностью, случайно завелась мысль о тайном обществе—собственно ради того, чтобы испугать этим некоторых неподходящих членов кружка и таким образом избавиться от лишнего элемента (по достижении же этой цели—форма тайного общества становилась уже вовсе ненужною, по замечанию того же лица). В романе своем «Алексей Слободин» г. Пальм, как он мне говорил, в лице самого Слободина воспроизвел некоторые черты молодой поры Ф. М. Достоевского. Тут во время одного из обычных споров в описываемом в романе кружке «одни грудью стояли за гласное судопроизводство, другие видели все спасение в свободе печатного слова, третьи провозглашали выборное начало и т. д. Слободин тихо и медленно сказал: «освобождение крестьян несомненно будет первым шагом в нашей великой будущности». Эти слова, сказанные спокойным тоном давно уже воспринятого и отстоявшегося убеждения, сильно подействовали на разгоряченных спорщиков, примирили все мнения». В том же романе выставлен другой спор по поводу политического переворота во Франции, при чем Слободин замечает: «политические вопросы меня слишком мало занимают... мне по-истине все равно, кто у них будет—Луи Филипп или какой-нибудь Бурбон, или даже хоть и республика... Кому от этого будет легче? Народ выиграет несколько громких фраз, причтет несколько новых имен к своему мартирологу и пойдет на ту же самую работу, при-

1) О. Ф. Миллер, «Материалы для жизнеописания Ф. М. Достоевского». Биография, письма и т. д. П. 1883, стр. 85—95. По словам Миллера, он пользовался рассказами Н. А. Спешнева (записанными А. Г. Достоевскою), Н. С. Кашкина, Н. А. Момбелли, А. И. Пальма, И. М. Дебу и письменными воспоминаниями И. Л. Ястржембского.

быльную только для одного буржуа,—а стало-быть и жизнь ни на волос не будет лучше... Я не верю в полезность игры в старые политические формы»... Это, впрочем, соответствует учению Фурье. И. Л. Ястржембский, по крайней мере, говорит: «я, как убежденный последователь Фурье, политикой в собственном смысле не интересовался вовсе и в особенности к форме правления был совершенно равнодушен». Замечательно, наконец, что в «Карманном словаре иностранных слов», изданном Петрашевским под именем Кириллова (в котором, однако, мало писано самим Петрашевским, а всего более статей покойного Вал. Майкова [1]), словаре, изъятом из продажи), вот каким образом характеризуется конституция: «Этот образ правления в западных государствах был следствием сильного развития сословий... Защитники его доказывают, что он основан на праве каждого члена общества участвовать в управлении того целого, которого он часть, но на практике это начало неосуществимо в больших государствах. Везде необходимость заставляет ограничить число лиц, имеющих право выбрать депутата от провинции или от сословия. А так как единственная мера, которою везде руководствуются, состоит в количестве имущества гражданина, то на практике до сих пор это хваленое правление есть не что иное, как аристократия богатства... Защитники конституции забывают, что человеческий характер заключается не в собственности, а в личности, и что, признав политическую власть богатых над бедными, они защищают самую сильную деспотию. 200.000 богатых, управляющих 33-мя миллионами бедных и нищих, то же самое, что каста афинских или римских граждан, которые утопали в неге и роскоши, попирая личность миллионов людей, официально называвшихся вещами» [2]).

Что касается взглядов Слободина, то они вполне соответствуют тому, что припоминает о Достоевском А. П. Милюков: «Он всегда высказывался против мероприятий, способных стеснить чем-нибудь народ, и в особенности смущали его злоупотребления, от которых страдали низшие классы

---

[1]) По свидетельству ближайших родственников рано умершего даровитого критика.

[В. Майков редактировал лишь первый вып. «Словаря». Об издателе Н. С. Кириллове и сотрудниках см. Семевский, «М. В. Буташевич-Петрашевский» 1922, стр. 58—83. Ред.]

[2]) Словарь Кириллова, стр. 133—134 (слово Конституция). В записке Липранди, разумеется, нет таких выписок. (Прим. Миллера.)

и учащаяся молодежь». Видно, Федор Михайлович подозревал такую опасность для народа не в одних только официальных сферах. С другой стороны, говорят, он был готов и на непосредственное сближение с недовольными из народа. Слободин в романе г. Пальма заводит сношения с раскольниками. По словам одного петрашевца, который не бывал в кружке Дурова, но знал, что в нем делалось (потому что многое сообщал о том «фурьеристам» следивший за всеми кружками Петрашевский), Ф. М. действительно думал о сближении с раскольниками. Некоторые из петрашевцев, как видно по собственному делу, рассчитывали на восстание крепостных людей. Относительно Достоевского, однакоже, из доклада о деле видно, что он, «сознаваясь в участии в разговорах о возможности некоторых перемен и улучшений, отозвался, что предполагал ожидать этого от правительства». Каких именно перемен он хотел, тут не сказано, а что дело главным образом сводилось на освобождение крестьян, видно из отзыва о другом лице—Головинском, который «хотя раз сгоряча сказал, что для этого все меры хороши, вообще же говорил об освобождении крестьян в том смысле, что это может сделать правительство в силу самодержавного права» [1]).

Собственно говоря, Головинский «указывал на необходимость для освобождения крестьян диктатуры, долженствующей предшествовать изменению образа правления, а затем пояснил, что под диктатурой разумел самодержавие», на что генерал-аудиториат в своем докладе заметил, что «понятия о диктатуре и самодержавии совершенно противоположны» [2]). Между тем, с точки зрения, проводимой в записке о петрашевцах И. П. Липранди, и надежды на освобождение кре-

---

[1]) «Общество Пропаганды в 1849 г.» Лейпциг, 1875 г., стр. 145—146. Про Достоевского в другом месте следственного дела сказано, что в прениях об освобождении крестьян он соглашался с мнением Головинского (стр. 60). Про Головинского опять в другом месте мы узнаем, что 1 апреля «он возражал на речь Петрашевского в самых зловредных выражениях... 15 апреля... принимал сторону Петрашевского в главных трех вопросах... говорил, что более прочих противен освобождению крестьян гр. Панин, сказал, что в следующие две пятницы предполагает сказать о законной возможности крестьян требовать освобождения» («Общ. Проп.», стр. 48—49). Освобождение крестьян стояло также на первом плане у Спешнева и Европеуса. Они доказали это и своею деятельностью в интересах крестьян после 19 февраля—как усерднейшие исполнители великой реформы покойного государя. Замечательно, что когда зашла речь о назначении мировым посредником Н. С. Кашкина, и остановились было перед тем, что он когда-то был петрашевцем, то высочайшая воля перешагнула через это препятствие.

[2]) Там же, стр. 164.

стьян через подлинное самодержавие должны были представляться преступлением. Разбирая некоторые рукописи петрашевцев, Липранди, между прочим, приводит из них следующее: «причина неравенства людей есть феодальное и крепостное владение... то и другое не имеет нравственной необходимости и было следствием случайных обстоятельств». Затем Липранди прямо возражает, что «это... существует у нас и имеет законную силу» [1]). Понятно, что при таком отношении к делу (а оно, вероятно, сказывалось и не у одного Липранди), при его изложении в докладе не могли быть вполне выделены те из подсудимых, которые в своих освободительных замыслах прежде всего обращались к самой же верховной власти. Некоторые из следователей и судей могли руководиться в своей строгости тем дворянским чувством, для которого в крестьянском вопросе не желательна была именно полнота и безусловность самодержавия.

Между тем в самом Петрашевском могли бы они наоборот разглядеть и кое-какие черты, способные подкупить дворянское чувство (на это, может быть, и рассчитывал вообще Петрашевский). Петрашевским составлена была в 1848 г. литографированная записка, розданная на выборах многим дворянам, записка, которую, конечно, нельзя было официально не признать за вредную за заключавшийся в ней расчет как бы то ни было возбудить дворян. Но та же записка представлялась в высшей степени несочувственною и многим из самих петрашевцев—тем, которые являлись прямыми и цельными, неспособными к тому, что теперь называют о п п о р т у н и з м о м. В приложенном к следственному делу письме Кайданова из Ростова прямо об этой записке сказано: «я не могу сочувствовать его проекту, как и всему тому, что ведет к меркантильному феодализму и финансовой аристократии; да и к тому же я не помещик, меня нисколько не интересует возвышение ценности населенных имений (о чем и трактовалось в записке); пусть цены на имения падают ниже и ниже и дают государству возможность приобретать эти имения от помещиков» [2]). По свидетельству И. М. Дебу, один из главных участников того кружка, к которому он принадлежал, Ханыков, узнав о записке Петрашевского, прямо воскликнул: «да это измена!». Петрашевский старался им объяснить, в чем дело. Он рассчитывал, заинтересовав дворян, добиться того, чтобы право

[1]) «Общество Пропаганды в 1849 г.», Лейпциг 1875., стр. 31 и 32.

[2]) Там же, стр. 83.

на приобретение населенных имений получили и лица других сословий, что, по его мнению, могло облегчить решение крестьянского вопроса. Объяснения Петрашевского, однакоже, мало удовлетворили «фурьеристов».

Но замечательно и то, что писал Петрашевский по поводу слухов у нас о настроении крестьян в Галиции.

Это возымело, как сообщил он в письме, найденном в бумагах Кузьмина, «свое влияние на возобновление общего внимания к эмансипации крестьян». Казалось бы, если так, что надо было только желать, чтобы это внимание не остыло по старым примерам, и к эманципации непосредственно приступила самодержавная власть, не позволяя более себя сдерживать рабовладельческой касте. Но это значило бы для агитаторов выпустить дело из своих рук, дать ему сделаться так, как то чаялось издавна народом. Как бы то ни было, Петрашевский считает нужным заметить, что «вопрос этот (эманципация) не может быть разрешен без предварительного преобразования судоустройства и судопроизводства» [1]. У более ранних заговорщиков тоже предполагалось нечто предварительное — совершенное изменение государственного строя. Недаром со слов Достоевского было записано: «идея декабристов была ограничить самодержавие: стать лордами. Они, признает он, хотели освободить крестьян, но без земли». И оно, конечно, и вышло бы так, если бы было ими достигнуто их предварительное.

Замечательно, что своего рода «предварительное» оказывается и у противника декабристов, Карамзина: у него оно заключалось в народном образовании на основании жан-жаковского: «надо сперва освободить души, а потом тела». Таким образом, люди различных направлений сходились у нас в признавании необходимости предварительного. Но о нем совершенно не думали «дуровцы», к которым принадлежал и Достоевский, не думали и последовательные из «фурьеристов», как не думал в XVIII в. Радищев (потому-то наша барско-бюрократическая оппозиция и отомстила ему, давно уже покойнику, официальным сожжением его сочинений уже после освобождения крестьян). Касаюсь всего этого, считая необходимым выделить положение Достоев-

---

[1]) «Общество Пропаганды», стр. 104. Напротив того, Ахшарумов говорил, что вопросы о судопроизводстве и об освобождении крестьян должны разрешиться в один и тот же день («Общ. Проп.», стр. 55). Впрочем, по уверению одного из близких к Петрашевскому лиц, и Петрашевский высказывался в таком смысле.

ского и многих между петрашевцами относительно того, кто дал прозванье всему делу—самого Петрашевского. Ф. М—ч имел основание говорить, что изданная в Лейпциге книжка о пропаганде «верна, но не полна. Я,—пояснил он,—не вижу в ней моей роли»... «Многие обстоятельства,—прибавляет он, — совершенно ускользнули; целый заговор пропал» [1]). В самом деле, если в записке Липранди говорится, что «тут был не столько мелкий и отдельный заговор, сколько всеобъемлющий план общего движения, переворота и разрушения», то из самого дела выходит, что собственно и. заговора не оказалось, «по разномыслию соучастников». Петрашевский руководил ими, но сам он был для многих из них довольно антипатичным. По свидетельству И. М. Дебу, к нему не то с соревнованием, а не то и с ревностью относился Спешнев, у которого собирался особый кружок. А к Спешневу с своей стороны точно так же относился Петрашевский. В памяти самого Ф. М. очевидно сохранилось, что в з а м ы с ле заговор существовал, т.-е. существовал в будущем. Он, повидимому, вытекал из общего недовольства, которое оставалось главной связью между членами «общества пропаганды», как оно верно и озаглавлено в лейпцигской книжке. Имелось в виду пропагандировать недовольство существующим порядком везде, начиная с учебных заведений; завязывать связи со всем, в чем было недовольство—с раскольниками и крепостными крестьянами. И. М. Дебу говорит, что для пропаганды наиболее подходящей представлялась членам различных кружков страстная натура Достоевского, производившая на слушателей ошеломляющее действие. «Как теперь,—говорит он,—вижу я перед собою Федора Михайловича на одном из вечеров у Петрашевского, вижу и слышу его рассказывающим о том, как был прогнан сквозь строй фельдфебель Финляндского полка, отмстивший ротному командиру за варварское обращение с его товарищами, или же о том, как поступают помещики со своими крепостными. Не менее живо помню его, рассказывающего свою «Неточку Незванову» гораздо полнее, чем была она напечатана; помню, с каким живым человеческим чувством относился он и тогда к тому общественному «проценту», олицетворением которого явилась у него впоследствии Сонечка Мармеладова (не без

---

[1]) Эти слова могут относиться к попытке устройства тайной типографии, в которой Достоевский принимал участие с некоторыми другими «дуровцами». (См. далее письмо А. Майкова к П. Висковатову.) Следствие не открыло этих «заговорщиков», кроме Спешнева и Филиппова. Р е д.

влияния, конечно, учения Фурье)». Понятно, говорит он, что Достоевским особенно дорожили и «фурьеристы», желая его видеть в числе своих. Рассчитывать на то, чтобы его перетянуть к себе, казалось возможным по особой его впечатлительности и неустановленности.

По свидетельству покойного Спешнева (записано с его слов А. Г. Достоевский), на Ф. М—ча Петрашевский производил отталкивающее впечатление тем, что был безбожник и глумился над верой. Ф. М., по словам Спешнева, бывал у Петрашевского довольно редко. Сам Петрашевский, как видели мы, не брезгал как-будто даже возбуждением «меркантильных и феодальных инстинктов», некоторые из пропагандистов готовы были, ради усиления недовольства, распространять пауперизм [1]), а во время следствия и суда делали на своих же наветы для того, чтобы выставлением дела в преувеличенном виде более напугать правительство, другие же были гораздо более разборчивы нравственно, что касается как союзников, так и средств, и Достоевский несомненно принадлежал к ним. Мы уже видели, что у многих была даже своего рода антипатия к самому Петрашевскому. «Он показался мне,—вспоминает А. П. Милюков,— не очень симпатичным, по резкой парадоксальности взглядов и холодности ко всему русскому». (Последнее, надо заметить, положительно отрицает И. М. Дебу.) Кружок Дурова, говорит А. П. Милюков, состоял из людей, посещавших Петрашевского, но не вполне согласных с его мнениями... «Все мы читали социалистов,—продолжает А. П. Милюков,—но далеко не верили в возможность практического осуществления их планов». В числе последних был Ф. М. Достоевский. Он читал социальных писателей, но относился к ним критически... (По свидетельству г. Дебу, Достоевский сам их не изучал, но познакомился с ними через Ханыкова. Про самого г. Дебу в докладе сказано, что он собирался быть переводчиком Фурье; по его словам, о настоящем переводе нельзя было и думать, так как Фурье слишком труден для читающей публики) [2]).

Достоевский настаивал на том, что и все эти теории не имеют для нас никакого значения, что в общине, в артели и круговой поруке давно уже существуют основы, более прочные и нормальные, чем все мечтания Сен-Симона и его

---

[1]) Если верить записке Липранди. («Общ. Проп.», стр. 24.)
[2]) «Общ. Проп.», стр. 141.

школы. Он говорил, что жизнь в Икарийской коммуне или фаланстере представляется ему ужаснее и противнее всякой каторги». (По словам И. М. Дебу, и у «фурьеристов» обращено было внимание на русскую общину, с которою познакомил их, как и многих других у нас, Гакстгаузен. Относительно же фаланстеры,—говорит он,— взгляд Ф. М—ча был практичнее, чем их собственный) [1]).

По рассказу А. П. Милюкова, на одном из вечеров у Дурова он прочел свой перевод на церковно-славянском языке одной главы из «Paroles d'un croyant» Ламеннэ, про который Достоевский сказал, что суровая библейская речь этого сочинения вышла в переводе на наш древний литературный язык выразительнее, чем в оригинале. Названное сочинение Ламеннэ, как известно, принадлежит к тому направлению, к которому можно применить термин, впоследствии употреблявшийся Достоевским в применении к его собственному направлению: «христианский социализм». Между безусловными социалистами той поры, по воспоминаниям самого Ф. М., занесенным в книжку женою, самым ярым был Н. Я. Данилевский [2]). Впоследствии он отказался от идей Фурье и стал вполне славянофилом. Между тем, г. Данилевского вовсе не оказывается в следственном деле. В самом же Ф. М., как выходит по свидетельству г. Милюкова, в то время уже сказывались зачатки славянофильства. Но дальнейшее развитие этих зачатков и их окончательное торжество над прививными теориями, по свидетельству самого Достоевского в «Дневнике Писателя» 1873 г., произошло «не так скоро, а постепенно и после долгого времени...» А между тем я был,—говорит он,—одним из тех, которым наиболее облегчен был возврат к народному корню, к узнанию русской души, к признанию духа народного. Я происходил из семейства русского и благочестивого... Мы в семействе нашем знали евангелие чуть не с первого детства. Мне было всего лишь 10 лет, когда я уже знал почти все главные эпизоды русской истории из Карамзина, которого

---

[1]) Впрочем и вообще наши фурьеристы далеко не слепо следовали своему учителю. Так, Кайданов писал: «Ты знаешь, что я, будучи совершенно убежден в истине и исполнимости учения Фурье, вовсе не считаю себя обязанным слепо верить, à toutes les extravagances de notre maître». («Общ. Проп.», стр. 82).

[2]) По словам И. М. Дебу, он вместе с одним из известнейших современных писателей случайно приобрели Фурье на Апраксином дворе, стали читать, и г. Данилевский окончательно им увлекся.

вслух по вечерам читал нам отец. Каждый раз посещение Кремля и соборов московских было для меня чем-то торжественным. У других, может быть, не было такого рода воспоминаний, как у меня».

Все эти задатки в направлении Достоевского ни мало не видны из следственного дела, в котором, однако, отмечено, что в бумагах другого лица, А. И. Пальма, «как уведомил князь Голицын, видна сильная любовь к России»[1]). Некоторые из петрашевцев даже очень враждебно относились к славянофилам. Толь говорил: «Общество их основано на глупейших началах, потому что отвергает заслуги Петра В. ... Общество это стремится к соединению всех славянских племен вместе, к составлению отдельного, совершенно не общеевропейского, но особенного славянского элемента. Правительство же преследует это общество за то, что оно в этом смысле не ортодоксально, что думает завести правление вроде древне-новгородского с вечем и посадниками» («Общ. Проп.», стр. 44—45). Из приложенного же к делу письма А. Н. Плещеева из Москвы видно, что ему было вовсе не по душе то стремление к народному русскому, которое окрещено у нас славянофильством. Про Хомякова он тут говорит, что это «человек без серьезных убеждений, умеющий заставить себя слушать»; про К. С. Аксакова, что он «фанатик, ходит с бородою по колено, как царь Берендей; носит зипун, штаны в сапоги и ходит в церковь едва ли не каждый день; считает все грехом—и театры и литературу (!!)». Быть может, именно зная кое-какие задатки славянофильства у Достоевского, г. Плещеев и поспешил ему выслать из Москвы знаменитое письмо Белинского к Гоголю, считавшееся победоносным манифестом западничества. Но Достоевский, так же мало, как и истые славянофилы, довольный очень многим в «Переписке» Гоголя и вполне недовольный вместе с ними его крепостническими воззрениями, с полным сочувствием читал у Петрашевского письмо Белинского, что и послужило одним из капитальных пунктов его обвинения (письмо Белинского названо в деле «полным дерзких выражений против православной церкви и верховной власти»). При чтении присутствовал И. Л. Ястржембский, в первый раз тогда слышавший Достоевского. Он живо помнит, до какой степени был он поражен симпатичным голосом Ф. М. «Читать он был мастер»,—замечает г. Ястржембский. Впо-

---

1) «Общество Пропаганды», стр. 148.

следствии, говорит он, «это чтение послужило поводом к осуждению как Достоевского, так и меня за то, что я выражал одобрение и сочувствие мыслям письма и даже кивал головою».

Сам Ф. М. в том, что удалось записать с его слов, указывал еще и другой обвинительный пункт, след которого совершенно не существует в том, что напечатано из следственного дела. «Я,—говорит он, между прочим,—пострадал за свои слова о том, что Россия служит политике Меттерниха». Слова эти находились опять в несомненной связи с славянофильскими задатками Достоевского [1]).

Если из дела совсем не видно, что упоминаемые в нем разногласия между петрашевцами сводились отчасти к двум, тогда уже начинавшим обозначаться зачаткам типов—западнического и самобытнического, или славянофильского, то в отношении религиозных воззрений все вообще петрашевцы выставлены тут согласными, т.-е. вовсе не религиозными или даже антирелигиозными. Даже составленный Филипповым перифраз заповедей обозван тут совершенно атеистическим, тогда как в нем можно видеть только непозволительное, конечно, перенесение религии на политическую почву, но никак не что либо, исполненное неверия [2]). На самом деле вполне отъявленным атеистом был Петрашевский, как это видно из вышеприведенных слов Спешнева. Сам Спешнев, как припоминал мне на словах г. Момбелли, читал у Петрашевского трактат об атеизме. Если судить по следственному делу, то на религию по-фейербаховски смотрели Толь, Ахшарумов и др. Но некоторые из петрашевцев несомненно были религиозны. Так, Федор Михайлович говорил про Дурова, что он даже был «до смешного религиозен». Сам Ф. М., как мы уже знаем, приходил в негодование и от вспышек Белинского, и от систематически-антихристианского направления Петрашевского. По свидетельству Ст. Дм. Яновского, в 1847 и 1849 г.г. Ф. М. вместе с ним говел у Вознесенья и «делал это не для формы». Д-р Яновский тогда уже, как

---

[1]) Как излишне должно было после этого показаться Ф. М-чу старание А. Д. Градовского вразумить его уже под конец его жизни насчет вреда нашей службы меттерниховщине.

[2]) Вот образчик: „Все вы идете,—говорит Филиппов,—смотреть, как наказывают мужиков, что посмели ослушаться господина или убили его. Разве вы не понимаете, что они исполнили волю божию и что принимают наказание, как мученики за своих ближних. Разве не будете защищаться, коли нападут на вас разбойники; а помещик, обижающий крестьян своих, не хуже ли он разбойника?“ («Общ. Проп.», стр. 90).

он выражается, «благоговел перед его твердостью в православии и заслушивался его бесед на тему любви и милосердия». Если Ф. М. находил Дурова религиозным до смешного, то это, конечно, значит, что религиозность его доходила до каких-нибудь крайностей.

Относительно других их качеств заметим, что Дуров, по словам Ф. М., был умен, но в одну сторону, и добр. По словам г. Ястржембского, он был при этом воспитан в неге и холе и был в высшей степени деликатен и нравственно, и физически. Это, конечно, совсем не к лицу заговорщику. По внешнему виду, как заметил один из знакомых Спешнева, истый тип заговорщика сказывался в Федоре Михайловиче: он был молчалив, любил говорить один на один, был скорее скрытен, чем откровенен. К тому же, по словам Спешнева, Ф. М. никогда не казался молод, так как имел болезненный вид (а во время следствия ему было всего 27 лет). В другой форме более или менее такую же характеристику Достоевского дает и И. Л. Ястржембский: «он был тихий, скромный, на вид очень симпатичный молодой человек; его лицо обнаруживало болезненность. Говорил он всегда мало и тихо». Но к этому г. Ястржембский прибавляет: «все мы всегда в нем видели человека мягкого, нервного, способного к самой нежной чувствительности. При интимных беседах в нем всегда можно было узнать автора «Неточки Незвановой». Но этот самый тихий и скромный человек, как мы выше слыхали от И. М. Дебу, способен был доходить в своих речах до самого потрясающего пафоса.

ПОПЫТКА УСТРОЙСТВА ТАЙНОЙ ТИПОГРАФИИ

(ПИСЬМО А. Н. МАЙКОВА К П. А. ВИСКОВАТОВУ) [1]

«Любезнейший друг Павел Александрович! прежде всего спасибо, сердечное спасибо, что Вы меня не забываете; мало того — мною занимаетесь; мало того (написав это третье *мало того*, вспоминаю риторику Кошанского и стараюсь припомнить, какая это фигура, нарощение, кажется?), итак: мало того—хотите читать лекции о моих писаниях, след., забирайтесь в тайники моей души, чтобы посмотреть, как зарождались и творились в ней образы, и какие чувства

[1]) Достоевский. «Статьи и материалы», под. ред. А. С. Долинина, П. 1922 г., стр. 266—271.

во мне говорили, и какие горизонты перед умственным оком раскрывались и исполняли меня умилением и радостью! Голубчик Вы мой, на что Вам еще какие-то биографические статьи, после того как Вы биографию мою всю изучили в этих самых живых источниках. Написано много было биографий, да все глупости. Виноват, впрочем. Есть одна, которую я читал с удовольствием, ибо написана была святым человеком, Александром Устиновичем Порецким,—знали Вы его? Он и меня знал и любил и знал с университета. Помещена она в издании Баумана, т. I «Русские Современные Деятели 1876 года», составил Д. И. Лобанов. Книга есть у моей жены, но она мне ее не дает, ибо я два другие данные мне экземпляра «утратил». Но ведь и эти биографии не в духе нынешнего времени. Нынче не то требуется. Нынче жиды, а за ними и кретины из русских и немцев сдуру писателей проверяют по отношению их к либеральным течениям их времени. Вот, напр., узколобый Арсеньев, разбирая Полонского, сказал, что я шел было по прямой линии, а потом споткнулся и полетел вниз, падая все ниже и ниже, глубже и глубже в тину (да, прибавлю, и очутился в «Двух Мирах» [1]), а Полонский, так тот все зигзагами—сегодня либерален, завтра консервативен и т. д. Другой критик, жид, Венгеров недавно написал целую историю послепушкинской литературы [2]), которую, говорят, сожгли, где подводил с этой точки зрения формулярные списки всем нашим писателям. Со стороны жида это понятно. Хуже, чем ладан чорту, жидам русский дух—у нас и вообще национальность какая-нибудь, немецкая, русская. Национальное чувство в народах—им смерть. Либеральные идеи—космополитизм, ослабление государственных связей, всяческие свободы—их торжество, равноправность, широкое поприще всякому Geschäftmacher'ству. Вот в этом духе ведется ими и критика. Не знаю, что там насудил Венгеров, но обо мне, сукин сын, говорят, написал, что я участвовал в деле Петрашевского и изменил потом его святым принципам. Этот неуч до того не знает того, о чем пишет, что, случайно встретясь со мной, стал расспрашивать о Петрашевском и выразил мысль, что Петрашевский издавал под именем Кириллова «Словарь иностранных слов, вошедших в русский язык», и не хотел мне верить, когда я его убеждал, что Кириллов не псевдоним Пе-

---

[1]) Произведение А. Н. Майкова. Ред.

[2]) «История новейшей русской литературы», часть I, П. 1885. (См библиографию.) Ред.

трашевского, а артиллерии штабс-капитана, которого я очень хорошо знал, ибо у него в I томе работал мой брат Валерьян, который и отказался от II тома, куда влез Петрашевский с совсем неподобающими статьями. К делу Петрашевского действительно я был прикосновенен, но скажу с достоверностью, что этого дела никто до сих пор путно не знает; что видно из «дела», из показаний, все вздор; главное, что в нем было серьезного, до комиссии и не дошло. Да я Вам, кажется, рассказывал. С Петрашевским я познакомился в университете, и потом изредка ходил к нему, во-1-х, потому, что были все юноши знакомые, а потом—еще и потому, что было забавно. По смерти же брата (1847 г. летом), глубоко меня потрясшей, да притом тогда же был в самой горячей завязке мой роман с Анной Ивановной—я был у Петрашевского всего раз, в декабре 1847 г. Брат еще раньше тоже отвлекался от кружка Петрашевского, приняв критику в «Отеч. Зап», и около него составился его кружок: Владимир Милютин, Стасов, еще человека три-четыре. Я же, занятый своим романом, а именно тем, что в него входило—как бы побольше добыть денег, то я сидел, писал итальянские рассказы, а потом критики в «Отеч. Зап»., ото всех был в стороне. Раз, кажется, в январе 1848 г., приходит ко мне Ф. М. Достоевский, остается ночевать—я жил один на своей квартире—моя кровать у стены, напротив диван, где постлано было Достоевскому. И вот он начинает мне говорить, что ему поручено сделать мне предложение: Петрашевский, мол, дурак, актер и болтун, у него не выйдет ничего путного, а что люди подельнее из его посетителей задумали дело, которое Петрашевскому неизвестно, и его туда не примут, а именно: Спешнев, Пав. Филиппов (эти умерли, так я их называю, другие кажется еще живы, потому об них все-таки умолчу, как молчал до сих пор целые 37 лет обо всем этом эпизоде) и еще пять или шесть, не помню, в том числе Достоевский [1]). И они решили пригласить еще седьмого или восьмого, т.-е. меня. А решили они завести тайную типографию и печатать и т. д. Я доказывал легкомыслие, беспокойность такого дела, и что они идут на явную гибель. Да притом—это мой главный аргумент—мы с вами (с Ф. М.) поэты, следовательно, люди не практические, и своих дел не справим, тогда как политическая деятельность есть в высшей степени практическая способность и проч. И помню я—До-

(1 Львов, Головинский и, может быть, Григорьев. Ред.

стоевский, сидя, как умирающий Сократ перед друзьями, в ночной рубашке с незастегнутым воротом, напрягал все свое красноречие о святости этого дела, о нашем долге спасти отечество и пр.—так что я, наконец, стал смеяться и шутить. «Итак—нет?»—заключил он.—«Нет, нет и нет». Утром после чая, уходя: «Не нужно говорить, что об этом—ни слова».—«Само собою». Впоследствии я узнал, что типографский ручной станок был заказан по рисунку Филиппова в разных частях города и за день, за два до ареста был снесен и собран в квартире одного из участников, М—ва [1]), которого я, кажется, и не знал; когда его арестовали и делали у него обыск, на этот станок не обратили внимания, у него стояли в кабинете разные физические и другие инструменты и аппараты, но дверь опечатали. По уходе комиссии и по уводе—домашние его сумели, не повредив печатей, снять двери с петель и выкрали станок. Таким образом улика была уничтожена. Обо всем этом деле комиссия ничего не знала, не знал и Петрашевский, и изо всех избегших ареста только я один и знал. И если что меня тяготило в ожидании, когда меня арестуют (а этого я ждал по близким связям с Достоевскими и Плещеевым), а потом чего более я боялся уже на допросе в крепости—это именно этой тайны посещения Достоевского и того, что он мне сообщил. Но на допросе об этом не спрашивали, и я весьма свободно и развязно отвечал о теории Фурье и фаланстериях, даже не без юмора, члены смеялись, когда я рисовал, какие это будут казарменные жилища, где будет и мой нумер, и вся жизнь будет на глазах, и никаких амуров не останется в тайне. Распространялся о неуживчивости Достоевского, который перессорился со всеми, кроме меня, но, наконец, в последнее время охладел и ко мне, и мы видались реже. С Петрашевским поддерживал знакомство из учтивости, да и забавно было. Когда же, наконец, мне сказали: «можете итти—вы свободны» я, наконец, вздохнул легко, мне стало ужасно весело именно оттого, что не спросили ничего о «той ночи». Помню, когда я вышел из светлой комнаты, где сидела комиссия, в темный коридор, я вдруг очутился один в темноте, пошел наудачу и думал уж назад вернуться к генералам, попросить, чтоб указали мне, как выйти, но вдруг наткнулся на идущего человека и рукой, которую держал

---

[1]) Вероятно, вместо Спешнева. У Спешнева действительно были запечатаны комнаты, но при двух обысках ничего не было найдено. Ред.

вперед, ощупал что-то металлическое вроде звезды и вдруг слышу строгий голос: «Кто такой? куда?». Явилась откуда-то свеча—я вижу, что прошел мимо часового, а передо мной генерал в мундире—то был, я узнал после, комендант Набоков: «я из комиссии, мне сказали, я свободен,—я и пошел, но не знаю куда итти». Он указал, и я очутился на крепостном дворе, ярко озаренном луной—и ни души! Опять не знаю, куда направляться. Постоял, посмотрел на собор. Тихо,—а кругом в стенах—знакомые—и что с ними? Я все-таки ничего не знал, что они наделали. Слава богу, что не спрашивали о типографии; что бы я сказал? Надо сказать, в моих ответах не было никакой лжи и ничего бросающего на кого-нибудь обвиняющую тень. Сразу Дуббельт меня поставил так, что я почувствовал себя развязно, а первая его улыбка развязала мой юмор—о Петрашевском, напр., я говорил, как он нас всегда смешил: раз явился на дачу ночью в грозу,—мы уж раздевались,—в испанском плаще и в бандитской шляпе. О Достоевском говорил с чувством и сожалением, что разошелся с ним, что расходился он вообще из огромного самолюбия и неуживчивости. Наконец, в крепости-то, увидел того же жандармского офицера, из простых, который меня привез из III Отд. в крепость, и который до призыва меня в комиссию караулил меня в комендантской комнате, и когда я там, смотря на висящие на стенах виды Венеции, стал ему рассказывать, что вот, мол, чудный город, лошадей или улиц нет, а только каналы, и кухарки за провизией или ездят на лодках, или купцы подъезжают на лодках, а к ним спускают корзины с деньгами, и они накладывают провизию,—смотрел на меня, как на враля и, может быть, опасного. «Ну вот вы меня сюда привезли, покажите теперь как выйти», — сказал ему. Он обрадовался, как родной: «пойдемте, пойдемте». У него был извозчик. «Ну что, говорю, везли—думали бог знает какого преступника,—а вот теперь сами рады».—«Должность такая—везешь, не знаешь, боишься, а теперь другое дело. Не хотите ли ко мне—чайку и закусить, время позднее».—«Нет, покорнейше благодарю—дойдем до извозчика, а там надо успокоить родителей». И разумеется—сейчас к родителям, а чем свет—записку к Анне Ивановне.

Однако, садясь Вам писать письмо, я совсем и не думал, что наткнусь на это повествование. Меня все еще как-будто связывает слово, данное в «эту ночь» Достоевскому. Впрочем, когда-нибудь это опишу все порядочнее и подробнее; осо-

бенно это приходит мне в голову, когда жиды и кретины станут писать свои истории о нас. Есть еще одно обстоятельство, которое разъяснить я не мог тоже лет 30. Это история «Коляски». Или уж и ее рассказать Вам, благо дело на ходу? Пожалуй, пока не разобрала лень. Это дело идет об убеждениях. Смешное и трагическое дело. Что такое убеждение у мальчика 20—25 лет? Это вообще, и у нас в мою юность— и слухом не слыхали, и слова не знали. Это все-таки то, что он кругом себя слышит и что вычитывает; плода собственного опыта и изучения быть еще не может, за отсутствием того и другого. Мы же росли, как грибы, как деревья. Я вырос в московской семье: слава отечества, отец ранен под Бородиным и пр.; воспитывались, чтобы быть образованными людьми; в университете уж искали истины; товарищи мои (брат, Цейдлер, Дудышкин, Заблоцкий Михаил) с философскими направлениями искали абсолюта; для жизни искали идеала, каким быть, переходили от стоиков к эпикурейцам; менее всего, впрочем, знали христианский идеал, не в ту сторону шли поиски, и вот почему мне христиане не давались так долго для «Двух миров». Или, лучше сказать, надо так: выросли мы бессознательно на христианской и русской почве, и в действиях своих были, конечно, христианами и русскими, но свои отношения к миру приравнивали то по тому, то по другому философскому учению. Вдруг налетела буря Белинского: новые идеи о браке, что он ненужен, Жорж-Зандизм, о социальных условиях; старый мир с его религией, устройством общества—отживает, нужен новый, словом, западничество дохнуло всей своей силой и охватило и меня—но не вполне, и вот почему: потому что матушка моя, как москвичка, выписывала «Москвитянина» Погодина, и в нем другое веяние, а главное, что меня в нем пленило—это открытие славянского мира, так что я и кандидатскую свою диссертацию написал на тему: о первоначальном характере законов по памятникам славянского права—сравнил «Русскую Правду» с законами Душана, с польскими (у Мацеиовского) и пр. То-есть это было так: мир «Москвитянина» вместе с занятиями русской историей были для меня главное, чем я старался овладеть; другая, кровная забота—были стихи. А социальные вопросы—как бы сторона—конституция лучше—ну пусть конституция, пусть все это решают другие, я беру уж как готовое, отметая только то, что мне не нравится, напр., казарменная жизнь в фаланстериях и общественные работы; ну, а общественные кухни

пусть заведут, может быть, дешевле будет, если притом меня не будут заставлять стряпать. Насчет брака тоже нравилось, особенно насчет замужних дам, да притом все это очень хорошо, как темы или точки зрения для сочинений; хотелось, напр., написать итальянскую поэму, ну—так героя взять из современных представителей (в «Двух Судьбах») передовых людей, вроде Печорина, только университетского и начитавшегося творений Белинского—хотя такого героя, как там взят Владимир, я и не видывал, и в себе не чувствовал. От этого этот Владимир такой двойственный— в нем и русские чувства из «Москвитянина», они же и мои истинные, и Белинского западничество. А милый Милюков до сих пор еще что-то в нем находит особенное и говорит об нем серьезно. Но это поощрялось литературой и испортило многие пьесы в моих стихах этой средней эпохи моей. Таким образом, выходило, что я к западникам не примкнул, хотя посещал их, а славянофилов в Петербурге не было, живое воздействие которых могло бы благословить и оплодотворить мое сердце и фантазию и дать устой уму. С западниками я разделял и негодование на цензуру, и вообще думал, что они очень умные люди, и понятия и стремления их ведут к истине и счастью России»...

КРУЖОК ДУРОВА [1])

Познакомился я с Ф. М. Достоевским зимою 1848 года. Это было тяжелое время для тогдашней образованной молодежи. С первых дней парижской февральской революции самые неожиданные события сменялись в Европе одни другими. Небывалые реформы Пия IX отозвались восстаниями в Милане, Венеции, Неаполе; взрыв свободных идей в Германии вызвал революцию в Берлине и Вене. Казалось, готовится какое-то общее перерождение всего европейского мира. Гнилые основы старой реакции падали, и новая жизнь зачиналась во всей Европе. Но в то же время в России господствовал тяжелый застой; наука и печать все более и более стеснялись, и придавленная общественная жизнь ничем не проявляла своей деятельности. Из-за границы проникала контрабандным путем масса либеральных сочинений,

[1]) А. П. Милюков. «Ф. М. Достоевский». Сб. «Литературные встречи и знакомства», СПБ. 1890, стр. 169—185.

как ученых, так и чисто-литературных; во французских и немецких газетах, несмотря на их кастрирование, беспрестанно проходили возбудительные статьи; а между тем у нас больше, чем когда-нибудь, стеснялась научная и литературная деятельность, и цензура заразилась самой острой книгобоязнью. Понятно, как все это действовало раздражительно на молодых людей, которые, с одной стороны, из проникающих из-за границы книг знакомились не только с либеральными идеями, но и с самыми крайними программами социализма, а с другой—видели у нас преследование всякой мало-мальски свободной мысли; читали жгучие речи, произносимые во французской палате, на франкфуртском съезде, и в то же время понимали, что легко можно пострадать за какое-нибудь недозволенное сочинение, даже за неосторожное слово. Чуть не каждая заграничная почта приносила известие о новых правах, даруемых, волей или неволей, народам, а между тем в русском обществе ходили только слухи о новых ограничениях и стеснениях. Кто помнит то время, тот знает, как все это отзывалось на умах интеллигентной молодежи.

И вот в Петербурге начали мало-по-малу образовываться небольшие кружки близких по образу мыслей молодых людей, недавно покинувших высшие учебные заведения, сначала с единственной целью сойтись в приятельском доме, поделиться новостями и слухами, обменяться идеями, поговорить свободно, не опасаясь постороннего нескромного уха и языка. В таких приятельских кружках завязывались новые знакомства, закреплялись дружеские связи. Чаще всего бывал я на еженедельных вечерах у тогдашнего моего сослуживца Иринарха Ивановича Введенского, известного переводчика Диккенса. Обычными посетителями там были В. В. Дерикер—литератор и впоследствии доктор-гомеопат, Н. Г. Чернышевский и Г. Е. Благосветлов, тогда еще студенты, и преподаватель русской словесности в одной из столичных гимназий, а потом помощник инспектора классов в Смольном монастыре А. М. Печкин. На вечерах говорили, большею частью, о литературе и европейских событиях. Те же молодые люди бывали и у меня.

Однажды Печкин пришел ко мне утром и, между прочим, спросил, не хочу ли я познакомиться с молодым начинающим поэтом, А. Н. Плещеевым. Перед тем я только что прочел небольшую книжку его стихотворений, и мне понравились в ней, с одной стороны, неподдельное чувство и

простодушие, а с другой—свежесть и юношеская пылкость мысли. Особенно обратили наше внимание небольшие пьесы: «Поэту» и «Вперед». И могли ли, по тогдашнему настроению молодежи, не увлекать такие строфы, как, например:

Вперед! без страха и сомненья
На подвиг доблестный, друзья!
Зарю святого искупленья
Уж в небесах завидел я.
Смелей! дадим друг другу руки
И вместе двинемся вперед,
И пусть под знаменем науки
Союз наш крепнет и растет!

Разумеется, я ответил Печкину, что очень рад познакомиться с молодым поэтом. И мы скоро сошлись. Плещеев стал ездить ко мне, а через несколько времени пригласил к себе на приятельский вечер, говоря, что я найду у него несколько хороших людей, с которыми ему хочется меня познакомить.

И действительно, я сошелся на этом вечере с людьми, о которых память навсегда останется для меня дорогою. В числе других тут были: Порфирий Иванович Ламанский, Сергей Феодорович Дуров, гвардейские офицеры Николай Александрович Монбелли и Александр Иванович Пальм и братья Достоевские, Михаил Михайлович и Федор Михайлович. Вся эта молодежь была мне очень симпатична. Особенно сошелся я с Достоевскими и Монбелли. Последний жил тогда в московских казармах, и у него тоже сходился кружок молодых людей. Там я встретил еще несколько новых лиц и узнал, что в Петербурге есть более обширный кружок М. В. Буташевича-Петрашевского, где на довольно многолюдных сходках читаются речи политического и социального характера. Не помню, кто именно предложил мне познакомиться с этим домом, но я отклонил это, не из опасения или равнодушия, а оттого, что сам Петрашевский, с которым я незадолго перед тем встретился, показался мне не очень симпатичным по резкой парадоксальности его взглядов и холодности ко всему русскому.

Иначе отнесся я к предложению сблизиться с небольшим кружком С. Ф. Дурова, который состоял, как узнал я, из людей, посещавших Петрашевского, но не вполне согласных с его мнениями. Это была кучка молодежи более умеренной. Дуров жил тогда вместе с Пальмом и Алексеем Дмитриевичем Щелковым на Гороховой улице, за Семенов-

ским мостом. В небольшой квартире их собирался уже несколько времени организованный кружок молодых военных и статских, и так как хозяева были люди небогатые, а между тем гости сходились каждую неделю и засиживались обыкновенно часов до трех ночи, то всеми делался ежемесячный взнос на чай и ужин и на оплату взятого на прокат рояля. Собирались обыкновенно по пятницам [1]). Я вошел в этот кружок среди зимы и посещал его регулярно до самого прекращения вечеров после ареста Петрашевского и посещавших его лиц. Здесь, кроме тех, с кем я познакомился у Плещеева и Монбелли, постоянно бывали Николай Александрович Спешнев и Павел Николаевич Филиппов, оба люди очень образованные и милые.

О собраниях Петрашевского я знаю только по слухам. Что же касается кружка Дурова, который я посещал постоянно и считал как бы своей дружеской семьей, то могу сказать положительно, что в нем не было чисто-революционных замыслов, и сходки эти, не имевшие не только писаного устава, но и никакой определенной программы, ни в каком случае нельзя было назвать тайным обществом. В кружке получались только и передавались друг другу недозволенные в тогдашнее время книги революционного и социального содержания, да разговоры, большею частью, обращались на вопросы, которые не могли тогда обсуждаться открыто. Больше всего занимал нас вопрос об освобождении крестьян, и на вечерах постоянно рассуждали о том, какими путями и когда может он разрешиться. Иные высказывали мнение, что ввиду реакции, вызванной у нас революциями в Европе, правительство едва ли приступит к решению этого дела, и скорее следует ожидать движения снизу, чем сверху. Другие, напротив, говорили, что народ наш не пойдет по следам европейских революционеров и, не веруя в новую Пугачевщину, будет терпеливо ждать решения своей судьбы от верховной власти. В этом смысле с особенной настойчивостью высказывался Ф. М. Достоевский. Я помню, как однажды с обычной своей энергией он читал стихотворение Пушкина «Уединение». Как теперь слышу восторженный голос, каким он прочел заключительный куплет:

Увижу ль, о друзья, народ неугнетенный
И рабство, падшее по манию царя,
И над отечеством свободы просвещенной
Взойдет ли, наконец, прекрасная заря?

---

[1]) У «дуровцев» не было определенного дня для собраний. Ред.

Когда при этом кто-то выразил сомнение в возможности освобождения крестьян легальным путем, Ф. М. Достоевский резко возразил, что ни в какой иной путь он не верит.

Другой предмет, на который также часто обращались беседы в нашем кружке, была тогдашняя цензура. Нужно вспомнить, до каких крайностей доходили в то время цензурные стеснения, какие ходили в обществе рассказы по этому предмету, и как умудрялись тогда писатели провести какую-нибудь смелую мысль под вуалем целомудренной скромности,—чтобы представить, в каком смысле высказывалась в нашем кружке молодежь, горячо любившая литературу. Это тем понятнее, что между нами были не только начинавшие литераторы, но и такие, которые обратили уже на себя внимание публики, а роман Ф. М. Достоевского «Бедные люди» обещал уже в авторе крупный талант. Разумеется, вопрос об отмене цензуры не находил у нас ни одного противника.

Толки о литературе происходили, большею частью, по поводу каких-нибудь замечательных статей в тогдашних журналах, и особенно таких, которые соответствовали направлению кружка. Но разговор обращался и на старых писателей, при чем высказывались мнения резкие и иногда довольно односторонние и несправедливые. Однажды, я помню, речь зашла о Державине, и кто-то заявил, что видит в нём скорее напыщенного ритора и низкопоклонного панегириста, чем великого поэта, каким величали его современники и школьные педанты. При этом Ф. М. Достоевский вскочил, как ужаленный, и закричал:

— Как?! да разве у Державина не было поэтических вдохновенных порывов? Вот это разве не высокая поэзия?!

И он прочел на память стихотворение «Властителям и судиям» с такою силою, с таким восторженным чувством, что всех увлек своей декламацией и без всяких комментарий поднял в общем мнении певца Фелицы. В другой раз читал он несколько стихотворений Пушкина и Виктора Гюго, сходных по основной мысли или картинам, и при этом мастерски доказывал, насколько наш поэт выше, как художник.

В дуровском кружке было несколько жарких социалистов. Увлекаясь гуманными утопиями европейских реформаторов, они видели в их учении начало новой религии, долженствующей будто бы пересоздать человечество и устроить общество на новых социальных началах. Все, что являлось

нового по этому предмету во французской литературе, постоянно получалось, распространялось и обсуждалось на наших сходках. Толки о Нью-Ланарке Роберта Оуэна и Икарии Кабэ, а в особенности о фаланстере Фурье и теории прогрессивного налога Прудона занимали иногда значительную часть вечера. Все мы изучали этих социалистов, но далеко не все верили в возможность практического осуществления их планов. В числе последних был Ф. М. Достоевский. Он читал социальных писателей, но относился к ним критически. Соглашаясь, что в основе их учений была цель благородная, он, однакож, считал их только честными фантазерами. В особенности настаивал он на том, что все эти теории для нас не имеют значения, что мы должны искать источников для развития русского общества не в учениях западных социалистов, а в жизни и вековом историческом строе нашего народа, где в общине, артели и круговой поруке давно уже существуют основы, более прочные и нормальные, чем все мечтания Сен-Симона и его школы. Он говорил, что жизнь в Икарийской коммуне и фаланстере представляется ему ужаснее и противнее всякой каторги. Конечно, наши упорные проповедники социализма не соглашались с ним.

Не меньше занимали нас беседы о тогдашних законодательных и административных новостях, и понятно, что при этом высказывались резкие суждения, основанные иногда на неточных слухах или не вполне достоверных рассказах и анекдотах. И это в то время было естественно в молодежи, с одной стороны, возмущаемой зрелищем произвола нашей администрации, стеснениями науки и литературы, а с другой—возбужденной грандиозными событиями, какие совершались в Европе, порождая надежды на лучшую, более свободную и деятельную жизнь. В этом отношении Ф. М. Достоевский высказывался с неменьшей резкостью и увлечением, чем и другие члены нашего кружка. Не могу теперь привести с точностью его речей, но помню хорошо, что он всегда энергически говорил против мероприятий, способных стеснить чем-нибудь народ, и в особенности возмущали его злоупотребления, от которых страдали низшие классы и учащаяся молодежь. В суждениях его постоянно слышался автор «Бедных людей», горячо сочувствующий человеку в самом приниженном его состоянии. Когда, по предложению одного из членов нашего кружка [1]), решено

[1]) П. Н. Филиппова. Ред.

было писать статьи обличительного содержания и читать их на наших вечерах, Ф. М. Достоевский одобрил эту мысль и обещал, с своей стороны, работать, но, сколько я знаю, не успел ничего приготовить в этом роде. К первой же статье, написанной одним из офицеров, где рассказывался известный тогда в городе анекдот, он отнесся неодобрительно и порицал как содержание его, так и слабость литературной формы. Я, с своей стороны, прочел на одном из наших вечеров переведенную мною на церковно-славянский язык главу из «Paroles d'un croyant» Ламеннэ, и Ф. М. Достоевский сказал мне, что суровая библейская речь этого сочинения вышла в моем переводе выразительнее, чем в оригинале. Конечно, он разумел при этом только самое свойство языка, но отзыв его был для меня очень приятен. К сожалению, у меня не сохранилось рукописи. В последние недели существования дуровского кружка возникло предположение литографировать и сколько можно более распространять этим путем статьи, которые будут одобрены по общему соглашению, но мысль эта не была приведена в исполнение, так как вскоре бóльшая часть наших друзей, именно все, кто посещал вечера Петрашевского, были арестованы.

Незадолго перед закрытием кружка один из наших членов [1]) ездил в Москву и привез оттуда список известного письма Белинского к Гоголю, писанного по поводу его «Переписки с друзьями». Ф. М. Достоевский прочел это письмо на вечере и потом, как сам он говорил, читал его в разных знакомых домах и давал списывать с него копии. Впоследствии это послужило одним из главных мотивов к его обвинению и ссылке. Письмо это, которое в настоящее время едва ли увлечет кого-нибудь своей односторонней парадоксальностью, произвело в то время сильное впечатление. У многих из наших знакомых оно обращалось в списках вместе с привезенной также из Москвы юмористической статьею А. Герцена, в которой остроумно и зло сравнивались обе наши столицы [2]). Вероятно, при аресте петрашевцев немало экземпляров этих сочинений отобрано и передано было в Третье Отделение. Нередко С. Ф. Дуров читал свои стихотворения, и я помню, с каким удовольствием слушали мы его перевод известной пьесы Барбье «Киайя», в которой

---

[1]) А. Н. Плещеев. Ред.

[2]) Эта статья была прочитана на одном собрании у Плещеева. Ред.

цензура уничтожила несколько стихов. Кроме бесед и чтения, у нас бывала по вечерам и музыка. Последний вечер наш заключился тем, что один даровитый пианист, Кашевский, сыграл на рояле увертюру из «Вильгельма Телля» Россини.

ОТРЫВКИ ИЗ РОМАНА А. ПАЛЬМА «АЛЕКСЕЙ СЛОБОДИН» [1])

У ДУРОВА

У Рудковского [2]) собралось человек шесть уцелевших товарищей. Некоторые уселись вокруг чайного стола, за которым президировал Григорий Васильевич, по обыкновению пивший чай в прикуску и, тоже по обыкновению, трунивший над любовными похождениями Горжельского [3]). Милейший «пан» очень остроумно доказывал, что поклонение красоте должно быть культом всякого рационально развитого человека; что физическая красота непременно предполагает совершенство интеллектуальное...

— Это непременно так должно быть,—заключил он.

— Мало ли что должно быть!—а разве нет красивых дураков и дур?

— Почти нет. Всмотритесь хорошенько, и вы откроете, что они вовсе не глупы: в них есть все зачатки для великолепного умственного развития—но виноваты ли они, что, вследствие нелепого нашего воспитания, зачатки так и оста-

---

[1]) П. Альминский. «Алексей Слободин». Семейная история в пяти частях. СПБ. 1873, стр. 336—340. Сцена у Рудковского изображает не кружок так называемых «дуровцев», а один из более ранних приятельских вечеров, очень часто бывавших у Дурова. Помещаем, в виде примечания, оговорку Пальма к своему роману. Несмотря на нее, довольно легко узнать под вымышленными именами большую часть выведенных лиц. Ред.

«Мы предлагаем читателю отнюдь не подлинные, тщательно записанные мемуары о маленьких происшествиях и небольших, но действительно когда-то живших людях. Этой претензии мы и не могли иметь по многим уважительным причинам, наконец, просто по чувству приличия. Наш рассказ, вымышленный, несвязанный никакими условиями, кроме условий, так сказать, общелитературных,—вернее всего мог бы быть назван прихотливо набросанными иллюстрациями к серьезному тексту, которого еще нет и который нам не по силам, да, пожалуй, и не современен... «Алексей Слободин» стр. 360.

[2]) Григорий Васильевич Рудковский—Сергей Федорович Дуров. Ред.

[3]) Теофил Осипович Горжельский—Иван Львович Ястржембский. Ред.

лись зачатками... Это я могу подтвердить многочисленными наблюдениями.

— Над кем это?—Уж не над тем ли квартальным надзирателем, которым вы на-днях в Пассаже любовались... Вообразите, господа, где нынче Адонисы отыскиваются—в полицейском мундире!—Последовал дружный хохот.

— Ай да Теофил Осипыч! в квартального влюбился!.. Ну, а как он насчет головы—тоже, чай, великолепные зачатки?

— Вы шутите, господа, а я говорю серьезно. Конечно, квартальный—это смешно... и он, наверное, глуп, как пробка, но ведь он же и не красавец: видный, статный мужчина, годится в гвардию и только;—а глаза у него совсем бараньи. Это нисколько не опровергает моего положения; я говорю о совершенной красоте... гармонической...

— Слышали, господа, Воробьев сутки на гауптвахте высидел?

— По какому случаю?

— А по случаю фельетона, в котором он что-то насчет театра сбрендил...

— Вот чепуха-то!—А цензор что?

— От трусости заболел; пиявки ставил.—Да и помарал же он мою злополучную повестушку с перепуга-то.—Пиявки его сосут, больно, а он знай—марает!.. Просто, узнать ничего нельзя: из монаха сделал доктора, из замужней барыни сотворил послушную дщерь, а бульдога с ошейником совсем похерил,—это, говорит, личности, а у меня жена и дети;—мне, батенька, до пенсиона всего восемнадцать месяцев осталось... Я уж посоветовал: вы возьмите пиявку, да так и выцедите ее сплошь на корректуру,—оно легче.—Засмеялся;—это,—говорит,—ваш сумасшедший Виссарион кричит, что не красные чернила, а его дескать собственная кровь проливается... Ан выходит на поверку не его кровь, а грешная моя... Вы влезьте-ка в мою кожу...

— Потеха!

Вошли два новых лица: один коренастый, с беспорядочной бородой, огромным лбом и блестящими черными глазами. Он был угловат, тороплив и ужасно близорук, что вместе с скороговоркой придавало его небольшой фигуре характер постоянной озабоченности, возбужденности. Войдя, он со всеми поздоровался, как старый знакомый, и, бросив на окно пачку газет, подсел к Рудковскому.

Другой вошедший был Слободин, которого Мориц [1]) встретил в дверях с горячим радушием и немедленно перезнакомил со всеми собеседниками.

— Давно вас не видать, Дмитрий Сергеич,—что нового?—спросил Рудковский бородастого гостя [2]).

— Да новостей нынче тьма... Дело о банкетах принимает довольно серьезный оборот. Читали вы?—Я полагаю, что Гизо и Дюшатель в эту минуту уже слетели; а дальше все будет зависеть от того, кто овладеет движением.

— И вся суматоха кончится переменой министерства,—заметил кто-то.

— Ну, нет-с... этим едва ли удовлетворятся...—задумчиво и как бы про себя сказал Дмитрий Сергеич.—Подготовка шла деятельная несколько лет... Я так скажу, если партия «Реформы» одолеет, то шаг будет сделан решительный. Там Луи Блан, Рибейролль, Флокон,—люди толковые,—они знают, что нужно народу... Это не то, что буржуазный «Нацьональ», который непременно подпакостит, увидите.

— Да, люди плохи,—но настоящие-то явятся впоследствии;—теперь их никто не знает, да и они сами себя не знают...

Разговор сделался общим, всякий высказывал свои предположения, вероятный конец парижских событий; большинство, мало знакомое с передовыми личностями парижского народа и с безустанною подземною работою клубов, слушало Дмитрия Сергеича, которому эти вещи, кажется, были близко известны.

— А что вы думаете,—вдруг Луи-Филипп к нам убежит—откроет женский пансион на Выборгской стороне и меня возьмет инспектором...—разразился хохотом Горжельский; и посыпались со всех сторон остроты и шутки, какбудто все рады были перервать разговор, ставший слишком серьезным.

Видя, что молодежь кинулась в другую сторону, Рудковский и Дмитрий Сергеич обратились к Слободину, молча сидевшему в сторонке.

— Вы какого мнения,—ужели это все кончится вздором?

— Может, и вздором... Я должен вам сказать откровенно: политические вопросы меня слишком мало занимают,—со спокойной ясностью ответил Слободин.

---

[1]) Андрей Николаевич Мориц—Александр Иванович Пальм. Ред.

[2]) Дмитрий Сергеич—Михаил Васильевич Петрашевский. Ред.

— Да-с... но ведь это нельзя же... ведь на парижских улицах решаются общечеловеческие победы и поражения,— кто же может оставаться равнодушным?..

— Мне поистине все равно, кто у них будет—Луи-Филипп или какой-нибудь Бурбон, или даже хоть и республика... Кому от этого будет легче?—Народ выиграет несколько громких фраз, причтет несколько новых имен к своему мартирологу и пойдет на ту же самую работу, прибыльную только для одного буржуа,—а стало быть, и жить ни на-волос не будет лучше...

— А, так вот вы какой!—Постойте, об этом надо говорить основательно...

— Предупреждаю вас, что я хоть и готовлюсь на кафедру истории, или вернее сказать, потому именно, что изучаю историю, я не верю в полезность игры в старые политические формы... Зачем повторять зады?—Задачи новой истории или тех людей, которые делают историю, гораздо проще, скромнее и плодотворнее...

И между ними завязался горячий разговор. Замечательно, что Рудковский, нападавший сначала на Слободина, потом незаметно перешел на его сторону, а третий собеседник подсмеивался над его идеализмом, советовал забыть политические идиллии и не обходить исторической грубой поденщины,—«а то она сама вас обойдет»...

В заключение он крепко пожал руку Слободина и просил его к себе.

— У меня по пятницам кое-кто бывает, приходите, коли нечего делать.

А в другой комнате составился кружок около одного пианиста, исполнявшего с замечательным смыслом и вкусом Шопеновские вещи;—потом заставили спеть что-то Морица, потом затянули хоровую. Уже поздно, отыскав в темной передней калоши и шубы, высыпали гурьбой гости Рудковского и разбрелись по домам.

— Умница этот Слободин,—сказал Григорий Васильич Морицу, оставшись наедине.—Мне он очень понравился,— знаешь, так у него все просто, ясно, а между тем сколько самостоятельности,—видно, что сам без указки додумался...

— Я говорил тебе, что личность замечательная. Завтра звал меня к себе. Надо бы пойти, да не знаю, буду ли свободен...—схитрил Мориц, весь просветлевший от этого приглашения.

— Пойди, непременно пойди. Нет, это не фразер, как

многие из нас грешных... Я уверен, что его личная история полна глубокого интереса... Это не мыльный пузырь.

Слободин, идя домой, тоже находился под приятным впечатлением. Ему особенно понравился Рудковский.—«С ним мы столкуемся... а вот тот,—как его—Дмитрий Сергеич, кажется,—ну, с тем надо погрызться... Обозвал меня идеалистом, а ведь сам такой ярый идеалист, каких мало... Пропасть у него энергии,—не знает куда ее девать—вот и распинается за успех французских реформистов... А в пятницу надо к нему».

ПЯТНИЦА У ПЕТРАШЕВСКОГО [1])

У Дмитрия Сергеича народу было много; накурено до сизых облаков. Гости сновали по трем большим комнатам отдельными группами, когда вошли Слободин и Мориц.

Хозяин встретил их радушно, особенно Слободина, явившегося к нему в первый раз. Он усадил его на диван и предложил чаю.

— А вот сейчас я угощу вас кое-чем другим.—Сегодня господин Горжельский обещал нам побеседовать кое-о-чем. Оно, может быть, многим скучно покажется, так я говорю... да что ж делать-то?—ведь не в карты же играть?—Извините, я сию минуту...—и он юркнул к другим гостям.

Оглядевшись кругом, Слободин увидел Рудковского, Купянцова [2]), Горжельского; остальные лица были все незнакомые.

— Это кто?—спросил Алексей Морица, кивнув на кого-то.

— Не знаю.

— А вот этот?

— Тоже не знаю.—Дмитрий Сергеич чудак, не заботится о том, чтобы перезнакомить.—Есть личности, которых нельзя не знать: вот этот—автор статей о пролетариате [3]); а вон тот—мой друг, симпатичный поэт [4]); верно, знаете его:

> В кумирах мне бога не видеть,
> Пред ними главы не склонить;
> Мне все суждено ненавидеть,
> Что рабски привыкла ты чтить...

---

[1]) «Ал. Слободин», стр. 351—360.

[2]) Иван Дмитриевич Купянцов—Алексей Дмитриевич Щелков, сожитель Дурова и Пальма. Ред.

[3]) В. А. Милютин. Ред.

[4]) А. Н. Плещеев. Стихотворение «Ответ». Ред.

Остальных не знаю.—Еще если иной скажет два-три умных слова, ну и поинтересуешься узнать, кто такой; а вон эти, что по углам сидят—молчальники,—кто их знает,—я думаю, сам хозяин путается в их фамилиях... а уверяет, что все это его близкие приятели или, по крайней мере, хорошие люди.—Ужасный чудак!

Горжельский, сидя у стола, досасывал сигару; его обступили с вопросами, о чем именно он намерен говорить.

— Да я хотел бы поговорить о политической экономии.

Такой неопределенный, уклончивый ответ его возбудил даже некоторое неудовольствие; слышались возгласы: «Это к чему—стоит ли заниматься мертвечиной!—A bas!—Не нужно! За кого он нас считает?»...

Хозяин шепнул ему,—и Горжельский, откашлявшись, начал вступительное слово, как водится, прося извинения, что не приготовился. Шум не унимался, слов Горжельского не было слышно. Шиканье некоторых не имело никакого успеха.

Чтобы ободрить сконфуженного лектора, хозяин начал шутить над нашей славянской горластой неурядицей и, смеясь, сказал:

— А что, если мы учредим некоторый порядок? Я скажу так. Пусть кто-нибудь будет председателем и возьмет колокольчик.

— Мысль недурная,—заметил Рудковский,—только это смешно будет.

— Действительно, смешно... ха-ха! — а чтоб было еще смешнее, выберем в председатели вон этого старичка,—через пять минут он заснет—и мы позвоним, чтоб призвать его к порядку, т.-е. разбудить... ха-ха-ха!..

Все окружающие расхохотались.

Седой старичок [1]), очень важной наружности, не заметил смеха и не понял шутки,—через пять минут он очень степенно сел к столу и произвел внушительный звон. Это вступление настроило всех на веселый шутливый тон, однако тишина водворилась.

Милейший пан скоро овладел вниманием слушателей. Он не сказал ничего нового для тех, кто знаком с наукой, но всех поразило то, что каждое его положение было полнейшим отрицанием того предмета, о котором он говорил,—последним его словом было—ассоциация, как та искомая формула, в которой разрешатся со временем все теперь неразреши-

---

[1]) М. Н. Чириков. Ред.

мые противоречия... При этом его юмористические выходки возбуждали смех и одобрение.—Каждое «браво» как-будто пришпоривало оратора, юмор его разыгрывался до фарса, до школьничества,—и он встал, покрытый общими рукоплесканиями.

Старичок тоже встал с приличною важностью и потирал руки, как-будто сделал ужасно трудное дело.

— Ай да наш пан—молодец! даже в утопиях не утонул!—сострил Рудковский.

— Ну вот, видите ли, и вечер прошел весело, да и не совсем бесполезно... Так я говорю?..—повторял хозяин.

Ужин был отличный; каждый, запасшись провизией и стаканом вина, поместился, как попало, на всех столах; кому недостало стола, тот устроился на собственных коленях.

Во всех кружках разговоры шли оживленные; уже не было помина об абстрактных научных истинах, трактовались предметы «конкретные», близкие к жизни и положению каждого.

Горжельский ушел в уголок с Морицом. Усталый, но счастливый пан ел за четверых, а Андрюша отказался от ужина и объяснял собеседнику что-то очень важно и тихо, будто исповедывался. В заключение они крепко пожали друг другу руки, и Мориц отошел к тому столику, где сидели Слободин, Рудковский и еще человека три.

Алексей был в необыкновенно-говорливом расположении; он заинтересовал всех окружающих рассказами о жизни крестьян в приволжских местах, припоминал эпизоды из своих путешествий «на долгих»; тут он чувствовал себя дома и обнаруживал близкое знакомство с такими сторонами русской жизни, о которых и не снилось людям, проведшим свое детство в районе разных Мещанских, Подъяческих и совершавшим путешествия не дальше Малого Парголова в одну сторону и Павловска—в другую. Как-то незаметно беседа соскочила на довольно скользкую в то время дорожку: кто-то завел речь—какие вопросы должны стоять на ближайшей очереди для развития сил русского народа, его богатства и благосостояния.

Подобная материя теперь невозбранно трактуется чуть ли не всяким канцелярским служителем, получающим 25 руб. в месяц жалованья. Тогда было не так... Одни грудью стояли за гласное судопроизводство; другие видели все спасение в свободе печатного слова; третьи провозглашали выборное

начало... и т. д. Среди горячей сшибки разных предположений Слободин тихо и медленно сказал:

— Освобождение крестьян несомненно будет первым шагом в нашей великой будущности...

Эти слова, сказанные спокойным тоном давно уже воспринятого и отстоявшегося убеждения, сильно подействовали на разгоряченных спорщиков, примирили все мнения. Но, покоряясь силе импульса, молодежь, как разбежавшаяся лихая тройка, не могла уже остановиться,—вопросы скрещивались, не ожидая ответов,—только и слышалось: Как? Когда? Каким образом?

Слободин опять тихо и спокойно, царапая вилкой по тарелке, с полу-печальною, полу-ироническою улыбкою промолвил:

— Успокоимся, господа, на том, что это будет... всего вероятнее, что мы с вами не увидим... беда не велика!

Задорные вопросы его осаждали; Слободин чувствовал, что сказать ему больше нечего, но дело шло уже не о том, чтобы сказать дельное, веское слово,—а приходилось осаживать чужие самолюбия, чтобы отстоять неприкосновенность своего; суть дела исчезла, на губах кипела одна азартная игра смелой диалектики.

В этот момент Слободин заметил прямо перед собою двух человек, как-будто изучавших не только каждое его слово, но каждый взгляд, каждую пуговицу его сюртука.

Один был молод; на лице его выражалась низменная застенчивость канцеляриста, таскающего исподтишка пока только одну казенную бумагу; другой—пожилой и как-будто запаленный излишнею беготнею, с мигающими глазами и ястребиною готовностью клюнуть всякую добычу [1]).

Эти две едва заметные, молчаливые фигуры странным образом поразили Слободина.—Он пошел отыскивать свою шапку.

Выйдя на улицу вместе с Рудковским и его двумя сожителями, Алексей вызвался проводить их до дома.

— Э, красавец мой, вам не по дороге!—Лучше мы вас проводим.

— А разве вам более по дороге, чем мне?—Не все ли равно!—Я охотно пройду теперь верст пяток; мне необходимо движение.

— Это другое дело.—Я все пехтурой,—не люблю ездить

---

[1]) Агенты Антонелли и Наумов. Ред.

на извозчиках: во-первых, трепещу за исправность их колесниц: того гляди, шею сломают; а, во-вторых, скучно,—везут тебя точно кладь какую. От скуки я всегда вступаю с извозчиками в собеседования,—забавные попадаются.

— Больно уж однообразны,—заметил Купянцов;—молодой парень непременно расскажет, как он возил купчиху или чаще генеральшу—точно сказку Боккаччио слушаешь, переложенную на петербургские нравы... А старик все кряхтит да жалуется на плохое житье и на шаромыжников—«возишь-возишь его, а он, гляди, шмыгнет в дом с двумя воротами—и про-о-пал пятиалтынный»...

Слободин слушал рассеянно, он хотел заговорить с Рудковским совсем о другом и искал слова.

— Вы давно знакомы с Дмитрием Сергеичем?

— Да... а что?

— Ничего.—Он хороший человек.

— Я его уважаю—вмешался Мориц.—Он даже не человек, а олицетворенное... ну, как бы это сказать?—самопожертвование... вечно хлопочет,—только не о себе. При большом состоянии живет как попало, все у него идет зря, точно он на станции...

— И приглашает к себе тоже зря?

Ответа не последовало. Пройдя несколько кварталов, Рудковский заговорил.

— Я назвал бы помешанным того человека, который не отдает себе отчета в своих поступках... Может быть, Дмитрий Сергеич заблуждается, но заблуждение его совершенно логично; он стоит на почве легальности, заметьте—формальной легальности... Мне известны некоторые факты из его жизни;—все это, коли хотите, странно, эксцентрично, а придраться не к чему... Приглашает он к себе действительно зря, да какое же нам-то дело? Тут ничего нет общего; всякий отвечает сам за себя,—и виноват ли я в том, что мой гость доврется до чортиков? Конечно, он может подвергнуться некоторым неприятностям...

— Ага, вы сказали!

Рудковский опять умолк. Пройдя еще квартал, он начал нерешительно:

— Читали вы процесс de la rue Menilmontant [1])?

— Читал. Ну так что же?

— Дело их—чистейшая идиллия, экзальтация во вкусе

---

[1]) Дело об Анфантеновском общежитии сен-симонистов в 1832 г.

Морица,—извини, мой дружок,—процесс вышел важнее самого дела... И представьте себе, у Дмитрия Сергеича в голове гвоздем засела идея этого процесса...

— Я вас понимаю... Но разве мы живем в тех же условиях?

— Тут уж начинается ошибка, пожалуй, помешательство... но разве можно его не уважать?—Ужели в самом деле честный человек до того должен беречь собственную шкуру, что не смей и выказать своих симпатий?—Ведь это сводится на деморализацию...

Рудковский долго говорил в этом направлении; Алексею стало неловко за свою осторожность.

— А насчет гостей его я сам затрудняюсь, что сказать вам... Конечно, все может быть...

— Не знаете ли вы кто это?—И Алексей описал наружность двух поразивших его физиономий.

— Молоденький—это дрянцо; заискивает общее благоволение, приглашал даже к себе... квартирует он с одним отличным человеком [1]), несмотря на то, никто к нему не пошел,—уж больно малый-то плох!.. Забыл его фамилию,—какая-то итальянская.—А другого совсем не знаю.—Нет, вот со мной была история: привязался ко мне какой-то фокусник, как банный лист...

Рудковский рассказал об известном нам фокуснике.

— Теперь, слава богу, отстал... давно его не вижу.

Слободин расхохотался.

— А знаете, Григорий Васильич, всякий фокусник может делать только фокусы, не превышающие его ловкости; чуть дело коснется высшей «белой магии»—он уступает честь и место другому, более ловкому профессору...

Рудковский в свою очередь расхохотался.

— Ну, прощайте, Григорий Васильич,—вот и дом ваш.

— Зайдите к нам ночевать.—Шутка вам тащиться на Васильевский остров!

— Не могу-с — у меня там сокровище... она встревожится,—моя Аленушка встревожится.—А ведь правда, Мориц, сокровище?

— Поцелуйте ее сонную головку.

— По вашему поручению?

---

[1]) Ф. Г. Толем. Ред.

— Да, коли хотите,—пускай, по моему...

Слободин горячо обнял приятелей и пошел своей дорогой.

Слободин много думал о вечере, на который попал невзначай; он припомнил, что везде, где случалось ему бывать, если встретятся два-три развитых человека, разговор непременно принимал то же направление,—он старался уяснить себе смысл этого знаменательного явления, но сразу ставши к нему слишком близко, не мог ничего распознать, и сам находился под влиянием какой-то роковой силы, которая неотразимо тянула его в этот водоворот.

Деятельная работа общественного сознания, начавшаяся гораздо раньше, вследствие исторических условий, не могла развиваться свободно и правильно, а потому приобрела неестественную напряженность, ушла в меньшинство и вместе с ним погибла. Преемственность развития была нарушена, образовался перерыв, в темноте которого люди бродили ощупью, стараясь опознаться, где они, в каких местах, и что такое они сами... Начались робкие, неумелые попытки определить свое *я*, поставленное на метафизические подмостки мудреной немецкой работы... Все схватились за Гегеля и комментировали его по-своему. Это направление привело нас к замечательным тонкостям психологического анализа и к разъедающей рефлексии, парализовавшей каждый смелый шаг в сторону от торной дороги.

Среди повсюдной тишины едва слышались воркованья бездельного эпикуреизма и одинокие, подавленные жалобы личных страданий.

В этой ночи народилось и выросло поколение людей, на долю которых выпало много тяжелых дней и горьких упреков. Они еще детьми зорко присматривались к торжествовавшей кругом их бессознательности и, став юношами, увидели, что на родной почве им делать нечего. Отсюда начинается бледный, худосочный тип «лишних людей», в одну сторону, и тоже ненормальных проповедников далекого идеала—в другую... Разумеется, все они прошли искус идеалистической философии,—и в ту минуту, когда с Гегелем в руках добивались ответов «на проклятые вопросы», до их слуха долетали другие речи. В них не было холода абстрактных умозрений, а кипела ключом живая человеческая кровь и слышался тяжелый вопрос труженика: «На сколько же

обокрал меня лавочник один раз при расчете за мою работу, и в другой, когда я на этот заработанный грош купил у него фунт хлеба по установленной таксе?».

Этого было довольно.

Вся сила молодых умов ушла туда, на усвоение этого вновь открывшегося перед ними мира,—мира насущных вопросов, энергических протестов, растравленных ран настоящего горя и обольстительных построений всеобщего будущего счастия человечества... Загорелась страстная отвага мысли... А газеты из Парижа, начиная с 24 февраля, приносили какое-то нервическое раздражение... Они читались нарасхват во всех петербургских кофейнях; доходило часто до того, что кто-нибудь один овладевал листком, становился на стол, окруженный толпою, и во всеуслышание читал декреты временного правительства и речи Луи Блана в Люксембургском дворце... Домашние газетчики тоже, кажется, дали слово поддерживать недоразумение: вместо простой передачи фактов они—думая, что так и надобно действовать,—издевались и глумились не только над событиями, но даже над именами, называя, например, Барбеса—балбесом...

Теперь, оглядываясь на это далекое прошлое, позволительно спросить—нормальна ли была тогдашняя атмосфера, нормально ли было состояние молодых голов и могло ли быть нормально суждение об их заблуждениях?

Четверть столетия, двадцать пять лет—и еще каких лет!—отделяют нас от описываемой эпохи;—перспектива довольно почтенная для того, чтобы современный зритель мог спокойно разобрать спутанные линии одного какого-нибудь частного факта, распознать слои налепленных на нем красок, определить настоящие его размеры и найти настоящую точку зрения.

Но для полной картины хотя бы одного момента из жизни целого общества двадцатипятилетняя давность, конечно, никем не признается достаточною.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ П. П. СЕМЕНОВА-ТЯНЬ-ШАНСКОГО [1])

Во время моей совместной жизни с Данилевским, после отъезда брата и дяди из Петербурга, круг нашего знакомства значительно расширился, главным образом потому, что Данилевский, не имея никакого состояния, должен был обеспечивать свое существование литературным трудом и писал обширные, очень дельные научные статьи в «Отечественных Записках». Это ввело его в знакомство не только с Краевским (редактором их), но и со многими другими литературными деятелями и критиками—Белинским и Валерьяном Майковым. Они оценили необыкновенно логический ум Данилевского, его изумительную диалектику и обширную, разностороннюю эрудицию.

Таким образом, кружок даже наших близких знакомых был во время посещения нами университета не исключительно студенческий, а состоял из молодой, уже закончившей высшее образование интеллигенции того времени. К нему принадлежали не только некоторые молодые ученые, но и начинавшие литературную деятельность молодые литераторы, как, например, лицейские товарищи Данилевского—Салтыков (Щедрин) и Мей, Ф. М. Достоевский, Дм. В. Григорович, Ал. Ник. Плещеев, Аполлон и Валериан Майковы и др. Посещали мы друг друга не особенно часто, но главным местом и временем нашего общения были определенные дни (пятницы), в которые мы собралиись у одного из лицейских товарищей брата и Данилевского—Михаила Васильевича Буташевича-Петрашевского. Там мы и перезнакомились с кружком петербургской интеллигентной молодежи того времени, в среде которой я более других знал из пострадавших в истории Петрашевского—Спешнева, двух Дебу, Дурова, Пальма, Кашкина и избегших их участи—Д. В. Григоровича, А. М. Жемчужникова, двух Майковых, Е. И. Ламанского, Беклемишева, двух Мордвиных, Владимира Милютина, Панаева и др.

---

[1]) Мемуары П. П. Семенова-Тянь-Шанского. Т. I. «Детство и юность» (1827—1855), П. 1917, стр. 194—201, 204—206.

Все эти лица охотно посещали гостеприимного Петрашевского, главным образом, потому, что он имел собственный дом и возможность устраивать подобные, очень интересные для нас вечера, хотя сам Петрашевский казался нам крайне эксцентричным, если не сказать сумасбродным. Как лицеист, он числился на службе, занимая должность переводчика в министерстве иностранных дел; единственная его обязанность состояла в том, что его посылали в качестве переводчика при процессах иностранцев, а еще более при составлении описей их выморочного имущества, особливо библиотек.

Это последнее занятие было крайне на руку Петрашевскому: он выбирал из этих библиотек все запрещенные иностранные книги, заменяя их разрешенными, а из запрещенных формировал свою библиотеку, которую дополнял покупкою различных книг и предлагал к услугам всем своим знакомым, не исключая даже и членов купеческой и мещанской управ и городской думы, в которой сам состоял гласным.

Будучи крайним либералом и радикалом того времени, атеистом, республиканцем и социалистом, он представлял замечательный тип прирожденного агитатора: ему нравились именно пропаганда и агитаторская деятельность, которую он старался проявить во всех слоях общества. Он проповедывая, хотя и очень несвязно и непоследовательно, какую-то смесь анти-монархических, даже революционных и социалистических идей не только в кружках тогдашней интеллигентной молодежи, но и между сословными избирателями городской думы. Стремился он для целей пропаганды сделаться учителем в военно-учебных заведениях, и на вопрос Ростовцева, которому он представился, какие предметы он может преподавать, он представил ему список одиннадцати предметов; когда же его допустили к испытанию в одном из них, он начал свою пробную лекцию словами: «на этот предмет можно смотреть с двадцати точек зрения», и действительно изложил все 20, но в учителя принят не был. В костюме своем он отличался крайней оригинальностью: не говоря уже о строго преследовавшихся в то время длинных волосах, усах и бороде, он ходил в какой-то альмавиве испанского покроя и цилиндре с четырьмя углами, стараясь обратить на себя внимание публики, которую он привлекал всячески, например, пусканием фейерверков, произнесением речей, раздачею книжек и т. п., а потом вступал с нею в конфиденциальные

разговоры. Один раз он пришел в Казанский собор переодетый в женское платье, стал между дамами и притворился чинно молящимся, но его несколько разбойничья физиономия и черная борода, которую он не особенно тщательно скрыл, обратили на него внимание соседей, и, когда, наконец, подошел к нему квартальный надзиратель со словами: «милостивая государыня, вы, кажется, переодетый мужчина», он ответил ему: «милостивый государь, а мне кажется, что вы переодетая женщина». Квартальный смутился, а Петрашевский воспользовался этим, чтобы исчезнуть в толпе, и уехал домой.

Весь наш приятельский кружок, конечно, не принимавший самого Петрашевского за сколько-нибудь серьезного и основательного человека, посещал, однакоже, его по пятницам и при этом видел каждый раз, что у него появлялись все новые лица. В пятницу на Страстной неделе он выставлял на столе, на котором обыкновенно была выставляема закуска, кулич, пасху, красные яйца и т. п. На пятничных вечерах, кроме оживленных разговоров, в которых в особенности молодые писатели выливали свою душу, жалуясь на цензурные притеснения, в то время страшно тяготевшие над литературою, производились литературные чтения и устные рефераты по самым разнообразным научным и литературным предметам, разумеется, с тем либеральным освещением, которое недопустимо было тогда печатному слову. Многие из нас ставили себе идеалом освобождение крестьян из крепостной зависимости, но эти стремления оставались еще в пределах несбыточных мечтаний и были более серьезно обсуждаемы только в тесном кружке, когда впоследствии до него дошла через одного из его посетителей прочитанная в одном из частных собраний кружка и составлявшая в то время государственную тайну записка сотрудника министра государственных имуществ Киселева, А. П. Заблоцкого-Десятовского, по возбужденному императором Николаем I вопросу об освобождении крестьян.

Н. Я. Данилевский читал целый ряд рефератов о социализме и в особенности о фурьеризме, которым он чрезвычайно увлекался, и развивал свои идеи с необыкновенно увлекательной логикою. Достоевский читал отрывки из своих повестей «Бедные люди» и «Неточка Незванова» и высказывался страстно против злоупотреблений помещиками крепостным правом. Обсуждался вопрос о борьбе с ненавистной всем цензурою, и Петрашевский предложил в виде проб-

ного камня один опыт, за выполнение которого принялись многие из его кружка [1]). Они предприняли издание под заглавием: «Словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русский язык», и на каждое из таких слов писались часто невозможные с точки зрения тогдашней цензуры статьи. Цензуровали этот лексикон, выходивший небольшими выпусками, разные цензора, а потому если один цензор не пропускал статью, то она переносилась почти целиком под другое слово и шла к другому цензору и таким образом протискивалась через цензуру, хотя бы и с некоторыми урезками; притом же Петрашевский, который сам держал корректуру статей, посылаемых цензору, ухитрялся расставлять знаки препинания так, что после получения рукописи, пропущенной цензором, он достигал, при помощи перестановки этих знаков и изменения нескольких букв, совершенно другого смысла фраз, уже пропущенных цензурою. Основателем и первоначальным редактором лексикона был офицер, воспитатель одного из военно-учебных заведений, Н. С. Кириллов, человек совершенно благонамеренный с точки зрения цензурного управления и совершенно не соображавший того, во что превратилось перешедшее в руки Петрашевского его издание, посвященное великому князю Михаилу Павловичу.

Петрашевскому было в то время 27 лет. Почти ровесником ему был Н. А. Спешнев, очень выдающийся по своим способностям, впоследствии приговоренный к смертной казни. Н. А. Спешнев отличался замечательной мужественной красотою. С него прямо можно было рисовать этюд головы и фигуры Спасителя. Замечательно образованный, культурный и начитанный, он воспитывался в лицее, принадлежал к очень зажиточной дворянской семье и был сам крупным помещиком. Романическое происшествие в его жизни заставило его провести несколько лет во Франции в начале и середине сороковых годов. Когда ему был 21 год, он гостил в деревне у своего приятеля, богатого помещика С. [2]), и влюбился в его молодую и красивую жену. Взаимная страсть молодых людей начала принимать серьезный оборот, и тогда Спешнев решил покинуть внезапно дом С-х, оставив предмету своей страсти письмо, объясняющее причины его

---

[1]) История 2-го выпуска „Словаря", редактировавшегося Петрашевским, относится к раннему периоду его кружка—1845-1846 г. Ред.

[2]) Савельева. Ред.

неожиданного отъезда. Но г-жа С. приняла не менее внезапное решение: пользуясь временным отсутствием своего мужа, она уехала из своего имения, разыскала Спешнева и отдалась ему навсегда... Уехали они за границу без паспортов и прожили несколько лет во Франции до той поры, пока молодая и страстная беглянка не умерла, окруженная трогательными попечениями своего верного любовника.

Эта жизненная драма наложила на Спешнева неизгладимый отпечаток: Спешнев обрек себя на служение гуманитарным идеям. Всегда серьезный и задумчивый, он поехал после этого прежде всего в свое имение, где приложил заботы к улучшению быта своих крестьян, но скоро убедился, что главным средством к такому улучшению может служить только освобождение их от крепостной зависимости, и что такая крупная реформа может осуществиться не иначе, как по инициативе верховной власти.

Шестилетнее [1]) пребывание во Франции выработало из него типичного либерала сороковых годов: освобождение крестьян и народное представительство сделались его идеалами. Обладая прекрасным знанием европейских языков и обширной эрудицией, он уже во время своего пребывания во Франции увлекался не только произведениями Жорж-Занд и Беранже, философскими учениями Огюста Конта, но и социалистическими теориями С.-Симона, Оуэна и Фурье; однако, сочувствуя им, как гуманист, Спешнев считал их неосуществимыми утопиями. Получив амнистию за свой беспаспортный побег за границу, он прибыл в Петербург и, найдя в кружке Петрашевского много лиц, с которыми сходился во взглядах и идеалах, сделался одним из самых выдающихся деятелей этого кружка. Будучи убежден, что для восприятия идеи освобождения крестьян и народного представительства необходимо подготовить русское общество путем печатного слова, он возмущался цензурным его притеснением и первый задумал основать свободный заграничный журнал на русском языке, не заботясь о том, как он попадет в Россию. Спешнев непременно бы осуществил это предприятие, если бы не попал в группу лиц, осужденных за государственное преступление.

Пробыв 6 лет в каторге и потеряв свое имение, перешедшее при лишении его всех прав состояния к его сестре,

---

[1]) Спешнев был за границей с 1842 по 1846 г., живя, кроме того, и в Швейцарии, Австрии и Германии. Ред.

Спешнев был помилован с возвращением ему прав состояния только при вступлении на престол императора Александра II. Верный своим идеалам, он с восторгом следил за делом освобождения крестьян и после 19 февраля 1861 года сделался одним из лучших мировых посредников первого призыва. В этом звании я видел его в 1863 году, в первый раз после его осуждения: он казался, несмотря на то, что был еще в цвете лет (ему было 42 года), глубоким, хотя все еще величественным, старцем.

Выдающимися лицами в кружке были братья Дебу, из которых старший, Константин, был начальником отделения в азиатском департаменте министерства иностранных дел. В противоположность Спешневу, они не имели корней в земле, а принадлежали к столичной бюрократической интеллигенции. Оба Дебу окончили курс университета и в 1848 году уже занимали административные должности в министерстве иностранных дел. Как и многие либеральные чиновники того времени, хорошо образованные и начитанные, они отдались изучению экономических и политических наук и поставили себе идеалом отмену крепостного права и введение конституционного правления. Но о революционном способе достижения этих идеалов оба Дебу и не думали. Они примкнули к кружку Петрашевского потому, что встретили в нем много людей, сочувствовавших их идеалам, и живой обмен мыслей с людьми, гораздо лучше их знающими быт русского народа. Старший Дебу слишком хорошо изучил историю французской революции, а с другой стороны, имел уже слишком большую административную опытность, чтобы не знать, что в то время в России революции произойти было не откуда. Столичной интеллигенции предъявлять какие бы то ни было желания, а тем более требования, было бы напрасно и даже безумно, а народ, порабощенный тою же, но земскою интеллигенцией, был связан по рукам и ногам крепостным правом.

При всем том, движение, происходившее в конце сороковых годов во всей Европе, находило себе отголосок и встречало сочувствие именно в столичной интеллигенции не только Петербурга, но и Москвы, и ее настроение тогда выразилось очень определенно в следующих стихах И. Аксакова:

. . . .
Вставала Венгрия. Славянские народы...
Все оживало, шло вперед:

Тогда мы слушали с восторженным вниманьем
Далекий шум святой борьбы,
Дрожала наша грудь тревожным ожиданьем
Перед решением судьбы:
Мы братьев видели в защитниках свободы,
Мы не могли их не любить...
Могучий дух тогда воспламенял народы!
И нас он мог ли не пленить?

Но подобные братьям Дебу либеральные интеллигентные бюрократы того времени (а их было много) только прислушивались с восторженным вниманием к далекому шуму борьбы за свободу, а сами никакой борьбы не затевали и революционерами не были, ограничиваясь борьбою за некоторую свободу печатного слова.

Самым оригинальным и своеобразным из группы осужденных был Ф. М. Достоевский, великий русский писатель-художник.

Данилевский и я познакомились с двумя Достоевскими в то время, когда Федор Михайлович сразу вошел в большую славу своим романом «Бедные люди», но уже рассорился с Белинским и Тургеневым, совершенно оставил их литературный кружок и стал посещать чаще кружки Петрашевского и Дурова. В это время Достоевский по обыкновению боролся с нуждою. Успех «Бедных людей» сначала доставил ему некоторые материальные выгоды, но затем принес ему в материальном же отношении более вреда, чем пользы, потому что возбудил в нем неосуществимые ожидания и вызвал в дальнейшем нерасчетливые затраты денег. Неуспех следующих его произведений, как например, «Двойник», над которым он так много работал, и «Хозяйка», от которого так много ожидал, привел его к заключению, что слава, по выражению Пушкина, только

...яркая заплата
На ветхом рубище певца.
. . . .

Только в первый год после выхода в отставку (1844 г.) и до успеха его «Бедных людей» Достоевский мог быть в действительной нужде, потому что уже не имел ничего, кроме своего литературного заработка. Н. Я. Данилевский, не имея ничего и ничего ниоткуда не получая, жил таким же заработком с 1841 по 1849 год и не был в нужде, хотя тот же Краевский оплачивал его статьи меньшей платою, чем беллетристические произведения Достоевского. Но хро-

ническая, относительная нужда Достоевского не прекращалась и после того, как он в 1845 году вошел сразу в большую славу: когда мы с ним сблизились, он жил «предвосхищением вещественных получений», а с действительной нуждой познакомился разве только после выхода из каторги, с 1854 года. По возвращении в 1859 году из ссылки, Достоевский вошел уже окончательно в свою столь заслуженную славу, и хотя все еще нуждался в средствах, но не был, однако, и не мог быть пролетарием.

О том, какое несомненное влияние имело на Достоевского его пребывание на каторге, я буду говорить в другом месте. Здесь же могу сказать только то, что революционером Достоевский никогда не был и не мог быть, но, как человек чувства, мог увлекаться чувствами негодования и даже злобою при виде насилия, совершаемого над униженными и оскорбленными, что и случилось, например, когда он увидел или узнал, как был прогнан сквозь строй фельдфебель Финляндского полка. Только в минуты таких порывов Достоевский был способен выйти на площадь с красным знаменем, о чем, впрочем, почти никто из кружка Петрашевского и не помышлял.

Помоложе Достоевского был уже составивший себе имя, как лирический поэт, Алексей Николаевич Плещеев. Он был блондин, приятной наружности, но «бледен был лик его туманный»... Столь же туманно было и направление этого идеалиста в душе, человека доброго и мягкого характера. Он сочувствовал всему, что казалось ему гуманным и высоким, но определенных тенденций у него не было, а примкнул он к кружку потому, что видел в нем более идеалистические, чем практические стремления. В кружке Петрашевского он получил прозвание André Chénier.

Младший из всех осужденных был Кашкин, только что окончивший Царскосельский лицей и до того получивший прекрасное домашнее образование, так как принадлежал к зажиточной дворянской семье, владевшей значительными поместьями. Кашкин был в высшей степени симпатичный молодой человек с очень гуманными воззрениями. Одним из главных идеалов жизни он ставил себе освобождение крестьян. Верный этому идеалу, он так же, как Спешнев, после 1861 года сделался мировым посредником первого призыва.

Григорьев, Монбелли, Львов и Пальм были офицеры гвардейских полков.

Три первые отличались своей серьезной любознатель-

ностью. Они перечитали множество сочинений, собранных Петрашевским в его «библиотеке запрещенных книг», которой он хотел придать общественный характер и сделать доступною. Он радовался присутствию в своем кружке офицеров и возлагал надежду на их пропаганду не между нижними чинами, о чем никто и не думал, кроме разве автора, впрочем, очень умеренной «Солдатской беседы» Григорьева, а между своими товарищами, которые принадлежали к лучшим в России дворянским фамилиям.

Четвертый из гвардейских офицеров—Пальм, человек поверхностный и добродушный, примкнул к кружку по юношескому увлечению, безо всякой определенной цели.

Из группы осужденных, кроме Петрашевского, разве только одного Дурова можно было считать до некоторой степени революционером, т.-е. человеком, желавшим провести либеральные реформы путем насилия. Однако между Петрашевским и Дуровым была существенная разница. Первый был революционером по призванию; для него революция не была средством к достижению каких бы то ни было определенных результатов, а целью; ему нравилась деятельность агитатора, он стремился к революции для революции. Наоборот, для Дурова революция, повидимому, казалась средством не для достижения определенных целей, а для сокрушения существующего порядка и для личного достижения какого-нибудь выдающегося положения во вновь возникшем. Для него это тем более было необходимо, что он уже разорвал свои семейные и общественные связи рядом безнравственных поступков и мог ожидать реабилитации только от революционной деятельности, которую он начал образованием особого кружка (дуровцев), нераздельного, но и не слившегося с кружком Петрашевского. Известно, что когда Дуров и Достоевский очутились на каторге в одном «мертвом доме», они оба пришли к заключению, что в их убеждениях и идеалах нет ничего общего, и что они могли попасть в одно место заточения по фатальному недоразумению.

Из лиц, близких кружку Петрашевского (я повторяю—к кружку,—потому что организованного, хотя бы и тайного, общества в этом случае никогда не было), не внесены были следственной комиссией в группу осуждаемых еще двое только потому, что они окончили свою жизнь как раз в то время, когда следственная комиссия только что приступала к своим занятиям. Это были: Валерьян Николаевич Майков, принимавший самое деятельное и талантливое участие в

издаваемом кружком Петрашевского словаре Кириллова [1]) и умерший летом 1847 года от удара в купальне, и Виссарион Григорьевич Белинский (скончавшийся весною 1848 г.), пользовавшийся высоким уважением во всех кружках сороковых годов (где непропущенные цензурою его сочинения читались с такой жадностью, что член одного из кружков был даже присужден к смертной казни за распространение письма Белинского к Гоголю). Остальные же посетители кружка ускользнули от внимания следствия только потому, что не произносили никаких речей на собраниях, а в свои научные статьи и литературные произведения не вводили ничего слишком тенденциозного или антицензурного, кроме, может быть, Михаила Евграфовича Салтыкова, который, к своему счастию, попал под цензурно-административные преследования ранее начала арестов и был сослан административным порядком в Вятку ранней весною 1848 года.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Д. Д. АХШАРУМОВА [2])

Я тогда только что окончил курс в петербургском университете кандидатом восточных языков. Несмотря на окончание курса в высшем учебном заведении и уже вполне зрелый возраст, я был очень мало развит в понимании самых простых и обыкновенных для жизни вещей. По природе своей, я ненавидел зло, к людям был очень доверчив и очень скоро сближался с ними. Любил трудиться и составлять выписки из серьезных общеобразовательных сочинений, но, не имея средств, бóльшую часть их покупал на толкучем рынке и много времени проводил в его книжных рядах. Апраксин двор, в былое время, вмещал в себе особый отдел—ряды огромного склада книг самого разнообразного содержания. Гонения на букинистов затрудняли это дело, а пожар, бывший позже, окончательно разрушил этот драгоценный книжный склад. Там находил я разнообразнейшие книги и, заплатив за них безделицу, как сокровище, нес к себе домой. Произведения знаменитых поэтов, как русских, так и иностранных, были для меня самым лучшим чтением,—я восхищался ими, бредил ими и, наконец,

---

[1]) В. Н. Майков редактировал первый вып. «Словаря» 1845 г. независимо от Петрашевского. Ред.

[2]) Д. Д. Ахшарумов. «Из моих воспоминаний (1849—1851 г. г.)». СПБ. 1905, стр. 13—20.

вне занятий, дома и по улицам города твердил их. Английский и итальянский языки мне были почти незнакомы, и я старался изучать их, и с помощью лексикона и грамматики перекладывал на русский язык песни Петрарка на смерть Лауры. Летом со страстью занимался я ботаникою и зоологией. Atlas botanique Maout, Flora Deutschlands Kittel'я и Règne animal de Cuvier были моими настольными книгами. Медицинские книги привлекали меня тоже, и я с увлечением читал Encheiridion medicum Hufeland'a, Medecin populaire Raspail'я и описание анатомии человеческого тела, составленное Загорским. Астрономия Гершеля была прочтена мною с большим любопытством. Языкознание и сравнительное изучение языков казалось мне весьма интересным; кроме европейских языков, я был знаком с языками латинским, греческим, арабским, персидским и турецким. По временам предавался я чтению исторических монографий какого-либо периода времени, и история Востока занимала меня не менее истории европейских народов. С жадностью стремился я приобретать себе познания по всем отраслям наук (кроме философии, политической экономии и математики, которые, в то время, казались мне слишком утомительными). События 1848 года, происходившие в Италии, Франции и Германии, сильно интересовали меня. Социальное учение Fourier, сочинение его Le nouveau monde undustriel, также различные брошюры последователей его: Considerant, Toussenel'я и других и популярнейшие журналы того времени Almanach phalanstérien и более ученый Phalange увлекали меня нередко до того, что я забывал все прочее. Большие сочинения Fourier — Théorie de quatre mouvements и Théorie de l'unité universelle были по временам просматриваемы мною, но по дороговизне я не мог их приобресть. В это время жизнь моя носилась в каких-то идеальных мечтаниях, отчего и избран был мною факультет восточных языков, чтобы уехать куда-то на дальний юговосток. Петербург же со всем его разнообразием жизни и множеством общественных развлечений, которыми я не имел ни малейшего желания пользоваться, казался мне ничтожеством, в сравнении с правильною жизнью среди южной природы.

Таков я был, когда от меня потребовалось в жизни первое серьезное испытание, совершенно иного рода, чем те, которые выдержал я в университете. Дело жизни, в ее разнообразных проявлениях, есть высшая школа человека. Высо-

кая доблесть терпеть и безропотно, молчаливо и стойко переносить лишения всякого рода никому не дается сразу, но приобретается, вырабатывается более или менее продолжительным опытом как в общественной среде, так и в отдельных личностях. Никто не сведущ достаточно в великой науке жизни, и только трудом, терпением и опытностью немногими приобретается мудрость,—потому столько ошибок жизни, сожалений и упреков, которые людьми понимаются очень различно. И мои воспоминания этого времени не безупречны,—я расскажу все в последовательности.

Теперь прошло уже 35 лет, и я спрашиваю себя, в чем же тогда состояла моя вина, и за что был я так внезапно схвачен, как преступник, и посажен в крепость. Всякое деяние человека может быть оценено различно, смотря по периоду времени, строю жизни, общественной среде и месту, где оно совершается. То, что в 1849 году вменялось нам в вину, и за что после восьмичасового одиночного заключения полевым уголовным судом мы были приговорены к смертной казни расстрелянием,—в настоящее время показалось бы маловажным и незаслуживающим никакого преследования: у нас не было никакого организованного общества, никаких общих планов действий, но раз в неделю у Петрашевского бывали собрания, на которых вовсе не бывали постоянно все одни и те же люди; иные бывали часто на этих вечерах, другие приходили редко и всегда можно было видеть новых людей. Это был интересный калейдоскоп разнообразнейших мнений о современных событиях, распоряжениях правительства, о произведениях новейшей литературы по различным отраслям знания; приносились городские новости, говорилось громко обо всем, без всякого стеснения. Иногда, кем-либо из специалистов, делалось сообщение вроде лекции: Ястржембский читал о политической экономии, Данилевский—о системе Fourier. В одном из собраний читалось Достоевским письмо Белинского к Гоголю, по случаю выхода его «Писем к друзьям». Белинского избавила только болезнь и преждевременная смерть от общей с нами участи. Для порядка и предупреждения шума от одновременных разговоров и споров многих лиц, Петрашевский поручал кому-либо из гостей наблюдать за порядком в качестве председателя. На собраниях этих не вырабатывались никогда никакие определенные проекты или заговоры, но были высказываемы осуждения существующего порядка, насмешки, сожаления о настоящем нашем положении. Что

было бы впоследствии, конечно, неизвестно. Если и предположить, что, по истечении многих годов, могло бы образоваться общество, имеющее целью ниспровержение существующего государственного строя, к которому примкнули бы, может быть, весьма многие, то, во всяком случае, можно почти наверно сказать, что, по новости и совершенной неопытности ведения такого дела, действия его были бы в раннем периоде обнаружены и дальнейшее его развитие остановлено правительством. Наш кружок, выражавший собою современные общечеловеческие стремления, был одним из естественных передовых явлений в жизни народа и несомненно оставил по себе некоторые следы.

Число арестованных, явно прикосновенных к этому делу, хотя и казалось незначительным,—оно доходило до 100, может быть, и превышало это число, но мы не были какими-либо выродками, происшедшими самопроизвольно и внезапно, мы были произведения образованного класса земли русской—эндотические растения страны, в которой мы рождены,—а потому и оставшихся на свободе людей одинакового с нами образа мыслей, нам сочувствовавших, без сомнения, надо было считать не сотнями, а тысячами. Наш маленький кружок, сосредоточившийся вокруг Петрашевского в конце 40-х годов, носил в себе зерно всех реформ 60-х годов.

Вечера Петрашевского по содержанию разговоров, касавшихся преимущественно социально-политических вопросов, представляли большой интерес для нас и потому, что они были единственными в своем роде в Петербурге. Собрания эти продолжались обыкновенно до поздней ночи, часов до двух или трех, и кончались скромным ужином. Знакомство собственно мое с Петрашевским началось с весны 1848 года. Он был человек лет 34 [1]), среднего роста, полный собою, весьма крепкого сложения, брюнет, на одежду свою он обращал мало внимания, волосы его были часто в беспорядке, небольшая бородка, соединявшаяся с бакенбардами, придавала круглоту его лицу. Черные глаза его, несколько прищуренные, как бы проникали в даль. Лоб у него был большого размера, нахмуренный; он говорил голосом низким и негромким, разговор его был всегда серьезный, часто с насмешливым тоном; во взоре более всего выражались глубокая вдумчивость, презрение и едкая насмешка. Это был человек сильной души, крепкой воли, много трудившийся

[1]) Петрашевский род. в 1821 г. Ред.

над самообразованием, всегда углубленный в чтение новых сочинений и неустанно деятельный. Он воспитывался первоначально в лицее, но, по своему резкому поведению, был оттуда исключен, после чего поступил вольнослушателем в петербургский университет по юридическому факультету и, окончив курс, состоял на службе при министерстве иностранных дел. Он имел большую библиотеку новейших сочинений, преимущественно по части истории, политической экономии и социальных наук, и охотно делился ею не только со всеми старыми своими приятелями, но и с людьми ему мало знакомыми, но которые казались ему порядочными, и делал это по убеждению, для общественной пользы. Он говорил мне, что в течение около 8 лет много людей перебывало у него и разъехалось в разные города России и преимущественно в университетские. Он давал читать всем просившим его и снабжал уезжающих книгами, которые, по его усмотрению, были полезны для умственного развития общества. Вовсе не интересуясь общественными увеселениями, он бывал повсюду: в клубах, дворянских собраниях, маскарадах, с единственною целью заводить знакомства для узнания и выбора людей. Утро проводил он большею частью в чтении книг и в составлении какого-либо им намеченного труда. Плодом таких занятий был известный в свое время напечатанный им словарь употребительных в русской речи иностранных слов, в котором разъяснялись в особенности подробно слова, обозначающие известные формы государственного управления. Таков был Михаил Васильевич Петрашевский, окончивший жизнь свою 7 декабря 1866 года в Минусинске Енисейской губернии [1]).

О прочих участниках нашего дела я не могу сказать ничего, по малому моему знакомству с ними [2]). Мы все, кажется, жили, не помышляя о нашем единении, которое только и произошло после претерпенного нами общего несчастья.

---

[1]) В селе Бельском. Дата смерти неправильная заменена верной. Ред.

[2]) Далее Ахшарумов писал: «Я знал, что между лицами, посещавшими собрания Петрашевского, были и самые отчаянные личности, которым собрания Петрашевского, по мирному ходу бесед, казались бездеятельными и ни к чему не ведущими, и что они готовы были отделиться и составить свой решительно действующий кружок, но с ними я почти не был знаком и вовсе не желал сближаться» (стр. 43).

Ср. отзыв Семенова, который тоже был ближе к «фурьеристам» (Данилевскому, Дебу), о Дурове. Очевидно, «фурьеристы» считали именно «дуровцев» левым флангом, вопреки намерениям устроителей этого кружка. Ред.

Иногда некоторые из участвовавших в собраниях Петрашевского собирались у Н. С. Кашкина. Таких было немного, и определенных дней для того не было. Собирались также у К. М. Дебу люди, близко друг другу знакомые. Свой особенный кружок, сколько мне известно, с особым направлением, составлял Спешнев, как бы соперничая с Петрашевским, и некоторое время готовый устраниться от него, но Петрашевский, видя в этом ослабление общего дела, сумел предупредить такое разъединение. Кроме этих известных мне кружков, вероятно, были и другие, и образованием таких кружков имелась в виду пропаганда и распространение в обществе правильных понятий о настоящем нашем положении. Некоторые из нас вносили деньги, кто сколько мог, на общую библиотеку, для выписки новейших сочинений по различным отраслям знаний, при чем вовсе не имелись в виду одни запрещенные какие-либо цензурою книги, но вообще в этом отношении разницы не делалось никакой. Все мы вообще были то, что теперь называют либералами, но общественного союза в каком-либо определенном направлении между нами не было и мысли наши, хотя выражались словами в разговорах, и ими иногда пачкались, наедине, клочки бумаги, но в действие они никогда не переходили. Между нами было несколько человек, называвшихся фурьеристами,—так назывались мы потому, что восхищались сочинениями Fourier и в его системе, в осуществлении его проекта организованного труда видели спасение человечества от всяких зол, бедствий и напрасных революций. 7 апреля этого года (1849), в день рождения Fourier, был у нас устроен в память его banquet social. Обед был на квартире А. И. Европеуса; портрет Fourier в настоящую величину, по пояс, выписанный из Парижа к этому дню, висел на стене; нас было 11 человек: Петрашевский, Спешнев, Европеус, Кашкин, Конст. Дебу, И. Дебу, Ханыков, Ващенко, меньшой брат Европеуса, Есаков и я. Обед был очень оживлен и приятен для всех; сказано было 3 речи: Петрашевским, Ханыковым и мною. Н. С. Кашкиным прочтено было в русском переводе стихотворение Beranger «Les fous»; И. М. Дебу предложено было перевесть на русский язык более доступное для всех сочинение Fourier «Le nouveau monde industriel», которое, принесенное им, было тут же разделено на части, и каждый взял себе часть для перевода. На обеде этом не было, однакоже, самого главного ревностного последователя и талантливого проповед-

ника учения Фурье — Н. Я. Данилевского, впоследствии известного славянофила. Незадолго до моего знакомства с Петрашевским, читал он лекции о системе Фурье, которые сохранились в памяти у всех присутствовавших и были, по словам слушателей, очень увлекательны. Ему известно было о нашем обеде, и он обещал Петрашевскому быть, но обещания своего не исполнил. Причины тому остались для нас совершенно неизвестными, и мы все очень сожалели о его неприходе. Мы разошлись поздно вечером. При выходе Петрашевский задержал меня и двух Дебу и уговорил нас сопровождать его к Данилевскому, чтобы пристыдить его в его ренегатстве. Был поздний час ночи, и мы ехали на двух петербургских гитарах—дрожки того времени, на которых садились верхом или боком.

Я ехал с К. Дебу, и мы оба были того мнения, что Данилевского следовало оставить в покое. Желание Петрашевского было исполнено; мы прибыли на квартиру Данилевского,—он жил, кажется, на Офицерской улице. Петрашевский разбудил его, вызвал его из спальни и в нашем присутствии упрекал его в неприбытии. Не помню, что Данилевский отвечал и как оправдывался, но при виде человека разбуженного и сконфуженного я пожалел еще более о моем участии в этом деле, да и, кроме того, мы не имели никакого права упрекать его. Если он жив, то я от всей моей души прошу у него прощения в этом неразумном моем поступке.

Вот в чем состояла вина так называемых ныне петрашевцев или апрелистов, как я слышал это название от некоторых случайно встреченных людей на Кавказе и в России и впервые от графа Лорис-Меликова, во время проезда его чрез Сунженскую станицу с пленником Хаджи-Муратом, тогда бывшего в чине полковника при корпусном штабе. В действительности, однакоже, ни то, ни другое из вышеприведенных названий не соответствовало разнообразию кружков сходившихся людей в доме Петрашевского. Более подходящим для нас было бы название «русских социалистов» 1849 года, в смысле тогдашнего идеального направления различных социальных учений во Франции. Наше возбужденное, как бы протестующее состояние и было настоящим отголоском событий, совершившихся в Европе в 1848 году. Между прочим, находясь в ссылке, и даже позже, я неоднократно слышал престранные о нас мнения, высказываемые мне, при встрече, разными лицами, что заставляет меня полагать, что какие-то злонамеренные люди с умыслом распускали о нас

самые нелепые и позорящие нас в народе слухи,—быть может, с той целью, чтобы уничтожить всякое к нам сожаление и восстановить против нас общественное мнение,—так, напр., говорили, что кружок Петрашевского состоял из «безбожников», не признававших ничего святого, что, будто бы, в пятницу на Страстной неделе мы кощунствовали над плащаницею в доме Петрашевского, и тому подобные нелепости! Люди, нас судившие или близко нас знавшие, были бы не менее, чем мы, удивлены этими слухами. Источником их, без сомнения, могли быть только полное незнание или черная клевета.

ИЗ ЗАПИСОК ГЕН.-ЛЕЙТ. П. А. КУЗЬМИНА [1])

В ночь на 23 апреля 1849 года, часу в четвертом, стучатся в дверь комнаты, в которой я спал, в квартире брата; я спрашиваю: что надобно? Лакей моего брата отвечает, что какой-то офицер желает меня видеть (эту ночь я провел у брата Алексея, квартировавшего в гостинице Klée, против дома Дворянского собрания, мое же местожительство было вместе с Белецким в доме Траншеля, в 11-й линии Васильевского острова). Отворяю дверь и вижу жандармского офицера, при нем квартального и еще двух жандармов.

Посещение такой компании в то суровое время было понятно, хотя случилось со мной в первый раз. «Вот тебе бабушка и Юрьев день»,—подумал я, но все-таки спрашиваю, что угодно этим господам? «Вас приказано арестовать»,—отвечает жандармский офицер.—«По чьему приказанию, покажите бумагу».—«По особому повелению»,—и вместе с тем показывает предписание за подписью графа Орлова, бывшего тогда шефом жандармов.

Нечего делать. Надобно сдаваться как потому, что сопротивление было бы бесполезно, так и потому, что, не чувствуя за собою никакой вины и, тем более, преступления, полагал, что достаточно будет личного объяснения для опровержения какого-нибудь ложного доноса...

Выйдя в залу, вижу, что и брат мой собирается в дорогу. «А ты куда?»—спрашиваю я.—«Да, должно быть, поедем вместе, видишь, забирают запрещенные книги»,—от-

[1]) «Русская Старина», 1895, февраль, стр. 156—162.

вечает брат, показывая на представителей полиции, старательно набивавших чемоданы курсами астрономии, навигации, кораблестроения и иными руководствами, потребными моряку (брат служил прежде во флоте), а также томами свода законов Российской империи (незадолго перед этим брат служил уездным судьей по выборам дворянства).

Окончив недолгие сборы, уселись мы в извозчичью карету вместе с офицером и квартальным; жандармы расположились один на козлах, другой на запятках. Скоро довезли нас до III Отделения, помещавшегося главным фасадом на Фонтанке и выходившего разными дворами и переходами в Пантелеймоновский переулок.

В коридорах, по которым мы проходили, была большая суета и беготня; я не приписывал этого какой-либо особенности, полагая, что в этом заведении всегда таково, но чем дольше мы шли, тем было люднее; наконец, кабинет Леонтия Васильевича Дубельта (начальник штаба корпуса жандармов, он же управляющий III Отделением) и предшествовавший кабинету зал были полны народа; были и статские, и военные и, кроме того, очень много полицейских. Рассматриваю публику и вижу, что большинство ее (без сомнения, кроме полицейских) принадлежит к числу посетителей вечеров М. В. Буташевич-Петрашевского.

Состав арестованной публики показывал ясно, что сделан был донос на вечера Петрашевского; я посещал эти вечера, бывавшие по пятницам, с весны 1848 года, и по совести можно было сказать, что беседы на этих вечерах были небезынтересны для каждого из присутствовавших. Да и могло ли быть иначе, когда тут собирался народ молодой, образованный, читающий, мыслящий; впечатления принимались живо, всякая несправедливость, злоупотребления, стеснения, самоуправство глубоко возмущали душу каждого; напротив, всякое стремление к благу общественному или частному вызывало сочувствие, в какой бы форме стремление это ни высказывалось. Цензура, убивавшая в то время всякую здравую мысль, не только не допускала гласного обсуждения печатно предметов общего интереса, но воспрещала даже малейший намек на то, что могло бы быть лучше, если бы было иначе; а в это именно время самоуправство всех и каждого из второстепенных агентов дошло до высшей степени: злоупотребления, лихоимство не имели границ, и нет ничего естественнее, что везде, где бывали люди разбора, выше определенного, они прямо высказывали свои

убеждения, совершенно противоположные грустному положению дел; когда же собиралось их по нескольку человек, например, по пятницам у Петрашевского, то они, как люди одинакового направления, свободно разменивались идеями, новостями, доходившими до каждого в литературе, политике, происшествиях, столичных и провинциальных; с каким интересом следили за происшествиями на Западе! Припомним, что пятое десятилетие нашего века отличалось направлением к социальным реформам; такое повсеместное направление высказалось, наконец, в февральской революции, объявшей всю Западную Европу. С такою любознательностью выслушивались на вечерах у Петрашевского изложения сочинений новейших реформаторов; но как все эти трогательные описания блаженствующих фаланстеров и иных ассоциаций были только увлекательные, но неприменимые к осуществлению теории, нам же, живущим в среде мира действительного, необходимо было знакомиться ближе с тем, что существует на нашей матушке-Руси,—то с общего согласия принято было предложение разделить вечера наши таким образом, что до ужина один из присутствующих будет излагать какой-либо общественный вопрос, в каком виде осуществляется он ныне в России; удобства или неудобства, осязаемые от такого, а не иного положения дела, и, наконец, изыскание и, если возможно, то указание средств к заменению неудобных порядков удобнейшими; а после ужина могло бы продолжаться изложение социальных теорий, которое тогда делалось Ник. Як. Данилевским [1]). При окончании каждого вечера объявлялось, о каком предмете, касающемся России, будет говорено в следующую пятницу и кем именно; кроме того, всегда находилось время побеседовать о текущих событиях как в России, так и за границею.

Так велись вечера до отъезда моего в Тамбов в июне 1848 года для составления военно-статистического описания губернии; так же продолжались они во все время моего отсутствия, с июня 1848 года по 1 апреля 1849 года и до самого дня ареста, случившегося, как выше сказано, 23 апреля.

Я возвратился в С.-Петербург к 1 апреля 1849 года по предписанию генерал-квартирмейстера Берга, который имел намерение дать мне назначение в штаб гренадерского корпуса. В тот же день (страстная пятница), посвященный

[1]) Впоследствии тайный советник, знаменитый публицист и ученый.

утром представлениям к начальству, отправился я вечером к Петрашевскому; из 20 или 30 человек, которых я там нашел, большинство состояло из старых моих знакомых; но было несколько новых лиц, между прочими один блондин, небольшого роста, с довольно большим носом, с глазами светлыми, не то чтобы косыми, но избегающими встречи, в красном жилете. Этот господин, судя по участию, какое принимал он в разговорах, был не без образования, либерален во мнениях, но участие его было по преимуществу вызывающее других к высказыванию. Особенное внимание его ко мне подтчевание заграничными сигарами и вообще нечто вроде ухаживания заставило меня спросить в конце вечера Александра Пантелеевича Болосогло об этом господине; он отвечает, что это итальянчик Антонелли, способный только носить на голове гипсовые фигурки. «Для чего он здесь бывает?»,—спросил я.—«Да вы знаете, что Михаил Васильевич расположен принять и обласкать каждого встречного на улице».

На мой звонок Петрашевский, по обыкновению, сам отворил мне дверь; после первых приветствий, расспросов о пребывании моем в Тамбове Петрашевский говорит, что так как на этот вечер никто не вызван говорить о каком-либо предмете, то он изложит мнение свое о трех предметах, настоятельно и неотлагательно необходимых быть введенными для блага общего; предметы эти: уничтожение крепостного состояния, свобода книгопечатания и улучшение судопроизводства и судоустройства. Доказывать необходимость разрешения этих вопросов не было надобности в круге людей, совершенно проникнутых убеждениями, что крепостное право, запретительная цензура и закрытое бумажное судопроизводство суть тормозы к развитию; следовательно, речь Петрашевского была направлена к доказанию, на основании статистических данных, в какой последовательности было бы необходимо решить эти важные вопросы. Он доказывал, что надобно было придерживаться того именно порядка, в каком вопросы эти выше поименованы: сочувствие к участи миллионов белых негров имело влияние к постановлению на первый план вопроса об уничтожении крепостного права (Петрашевский сам был помещик С.-Петербургской губернии, Ладожского уезда).

После Петрашевского я говорил о том же предмете и доказывал, что первее всего необходимо бы было решить вопрос об улучшении судопроизводства и судоустройства,

потому что от неустройства этой части страдает все общество и каждый из членов его, за исключением небольшого числа привилегированных и денежных лиц, выигрывающих насчет тех, которые именно и заслуживают большого сочувствия, и как предмет этот не может быть решен иначе, как учреждением публичного и гласного судопроизводства, с необходимым разбором хода дел в газетах и журналах,— то это самое, естественным образом, парализуя строгость цензуры, последовательно ведет к свободе книгопечатания; затем уже общество, подготовленное двумя предыдущими мерами, легко перейдет к уничтожению крепостного права.

В следующую пятницу (8 апреля 1849 г.) я приехал к Петрашевскому с братом Алексеем; гостей было немного, вероятно, по случаю Святой недели. Хотя в настоящее время (1874 г.), спустя слишком 25 лет, и не припомню, что именно было предметом беседы, но, как высказано уже мною в начале описания этих вечеров, беседа была оживлена интересом современности и была проникнута гуманностью мнений.

Я уже упомянул, что Берг выписал меня из Тамбова в Петербург, намереваясь назначить на службу в гренадерский корпус; вскоре я должен был отправиться в Новгород; я хотел проститься с добрыми моими знакомыми и для того решился пригласить кое-кого к себе на вечер и выбрал для того 16 апреля—день, празднуемый в нашем семействе.

15 апреля я поехал к Петрашевскому. Так как это была пятница, то он наверное был дома, и, кроме удовольствия, в котором я был уверен, я хотел пригласить к себе Петрашевского и некоторых других, с которыми был ближе знаком, на вечер к себе, на 16 апреля. Гостей у Петрашевского было довольно много.

Здесь необходимо сказать еще несколько слов об Антонелли, о котором я упоминал при рассказе о вечере 1 апреля.

Тогда, как я сказал, на меня неприятно подействовало его как-будто ухаживанье за мной; впоследствии я заметил, что он вообще очень предупредителен: например, Феликсу Толю [1]), который с трудом выбрался в Петербург из старших учителей Оренбургской (кажется) гимназии, обещал доставить приватные уроки, сблизился с ним до того, что они заняли вместе chambre garnie в доме Штрауха на Гороховой.

Вскоре по моем приезде, Петрашевский уводит меня в

[1]) Впоследствии известный писатель-педагог.

другую комнату и показывает записку, которую передал ему Антонелли от Толя. В записке Толь извиняется, что он по причине головной боли не может быть в этот день на вечере; далее, что он переехал в дом Штрауха, где квартирует вместе с Антонелли, приглашает на другой день, т.-е. на 16 апреля, к себе на новоселье, просит пригласить меня и еще некоторых, уверяя, что кроме наших никого не будет. Нам обоим, Петрашевскому и мне, показалась очень странна вся эта записка, начиная с извинения, что Толь не мог быть на вечере по случаю головной боли, до выражения кроме наших; какая надобность в извинениях, когда вечера по пятницам не были ни для кого обязательны, а отсутствие Толя не было ни для кого весьма чувствительно, потому что он был по преимуществу молчалив; выражение же наших было даже неуместно, намекая как-будто на членов какого-то организованного общества, чего решительно не было и в помине...

Петрашевскому не хотелось быть на другой день у Толя, и как он не дал еще Антонелли обещания, то я и говорю, что прошу его к себе на вечер, он соглашается; мы входим в общую комнату, и Антонелли, подтверждая приглашение своего сожителя, получает от Петрашевского ответ, что он дал уже мне слово быть на другой день у меня; тогда Антонелли обращается ко мне тоже с приглашением. Я отвечаю, что не могу быть, потому что у меня будут гости.

— Так нельзя ли и с гостями вашими,—говорит Антонелли.

Мне показался так странен такой способ составлять вечера, что взглянул вопросительно на Антонелли и, не встретив его взора, говорю, что не полагаю удобным предложить моим гостям подобное предложение.

— Так нельзя ли вам отложить свой вечер?

— Я не могу отложить своего вечера как потому, что у меня приглашены уже гости, а также и потому, что я живу на Васильевском острове, и ежели чрез несколько дней разведут мосты, то я не в состоянии буду проститься перед моим отъездом с добрыми знакомыми.

— Отчего же вам не отложить своего вечера? Вы можете предупредить приглашенных вами; вероятно, все ваши гости теперь здесь.

— Кроме моих гостей, будут гости моих товарищей по квартире, потому что я живу не один; а из находящихся здесь будут весьма немногие.

— Кто же будет у вас из здешних?

— Будут: Михаил Васильич, Болосогло, Монбелли, и ежели вы сделаете мне честь посещением и передадите мое приглашение Толю.

— Кто будет еще у вас?

— Будет мой брат, которого вы здесь как-то видели.

— А из гостей ваших товарищей?

— Будет один господин, хотя и светский, но служащий в духовном ведомстве, человек не без влияния на своем месте.

— Ах, это верно такой-то (при чем назвал какую-то немецкую фамилию),—адъютант графа Протасова (тогда обер-прокурор Синода).

— Нет, это статский, некто Шрамченко, секретарь здешней консистории; еще бывши ребенком, он мечтал занимать подобное место и теперь занимает его, как я говорю, с успехом.

На этом разговор наш кончился. Потом читано было вслух письмо Белинского к Гоголю, написанное по поводу преисполненной ханжества «Переписки с друзьями»,—письмо, известное теперь всему читающему люду, но тогда ходившее в рукописи. Не припомню, в этот ли вечер или на другой день бывший у меня Антонелли просил к себе на воскресенье, т.-е. 17 апреля вечером. Ассамблея, состоявшаяся 16 апреля у меня, была довольно многолюдна: Антонелли и Толь явились оба; особенно выдающейся темы разговора не припомню, да кажется и не было, но общее направление было, без сомнения, не ретроградное. Потолковали, закусили и разошлись. Считаю необходимым прибавить, что, так как комнаты были небольшие (числом четыре), собравшихся довольно много, и многие, даже большинство, встретились здесь в первый раз,—то естественно, что разговор не мог быть общим, а был веден в небольших кружках во всех комнатах. Утром на другой день пошел лед, а потому были разведены мосты на Неве (Николаевский мост не был еще открыт). Давши слово Толю и Антонелли быть у них, я, для очищения совести, бродил часа два по набережной Невы, ожидая, не будут ли перевозить на ту сторону, но перевоза не было. Чрез день после того, когда сообщение через Неву было установлено, я встретил, кажется, на Гороховой Антонелли и высказал ему причину, воспрепятствовавшую мне быть у него в прошлое воскресенье. Антонелли выразил нечто более сожаления, что по причине перенесения

его пира с субботы на воскресенье и случившегося затем разведения мостов не были у него на вечере все живущие за Невою и что вследствие того вечер его не только расстроился, но совсем не удался. После того, чуть ли не на другой день, я встретил Петрашевского, и он сообщил мне, что вечер у Толя с Антонелли был какой-то странный, было несколько совершенно новых лиц, возбуждались беседы о предметах в направлениях весьма радикальных и т. п. Слышать это от Петрашевского было для меня тем более удивительно, что сам он никак не принадлежал к числу людей весьма сдержанных и осторожных в беседе, значит, должно быть речи были весьма демагогического направления. В этот день, в среду, мы обедали вместе на углу Гороховой и Большой Морской в table d'hôtes (против дома Штрауха), куда пришел обедать и Антонелли; послеобеденный чай мы пили у Антонелли и пошли вдвоем с Петрашевским по Гороховой по направлению к Семеновскому мосту; тут мы должны были расстаться. Петрашевскому надобно было итти, кажется, к Дурову или к кому-то другому, живущему у Владимирской; мы постояли несколько времени, он пожалел, что я не бываю там, куда он шел, чтобы мы могли провести вечер вместе. Это было наше последнее свидание.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ П. Д. БОБОРЫКИНА О Н. П. ГРИГОРЬЕВЕ [1]

На что уж наш дом был старинный и строгий: дед — генерал из «гатчинцев», бабушка — старого закала барыня, воспитанная еще в конце XVIII века. И в таком-то семействе вырос младший мой дядя, Н. П. Григорьев, отданный в пажеский корпус, по лично выраженному желанию Николая [2]), и очутившийся в 1849 г. замешанным в деле Петрашевского, сосланный на каторгу, где нажил медленную душевную болезнь.

Вот вам барчонок, прошедший обычную выучку сословно-военную, а гвардейским офицером он сближается с кружком тогдашних социальных мечтателей (вероятно, через зна-

---

[1]) П. Д. Боборыкин. «За полвека». Мои воспоминания. «Русская Мысль», 1906, 2, стр. 15—16.

[2]) Несмотря на это, родители не добились помещения его в корпус, и Григорьев только держал офицерский экзамен при корпусе в 1839 г. Ред.

комство с А. Н. Плещеевым), пишет какую-то «Солдатскую беседу» и приговаривается сначала к смертной казни.

Этот дядя, когда наезжал к нам в отпуск, был всегда очень ласков со мною, давал мне читать книжки, рассказывал про Петербург, про театры, про разные местности России, где стоял, когда служил еще в армейской кавалерии. Разумеется, своих протестующих идей он не развивал перед гимназистиком по 12-му году; но в нем, питомце светско-придворного корпуса, не было никакой военщины ни в тоне, ни в манерах, ни в нравах.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ И. И. ВЕНЕДИКТОВА О Ф. Н. ЛЬВОВЕ

В числе вышедших со мною с этого вечера был мой однокашник, лейб-егерского полка штабс-капитан Львов, который, услыхав мое намерение переменить квартиру, пригласил меня на сожительство с ним. Я обрадовался этому предложению как потому, что мне представлялась возможность платить за квартиру дешевле, так и, в особенности, потому, что не испытанная мною до этого времени жизнь в одиночестве в самое короткое время стала для меня невыносимою. Я вскоре переехал. Оказалось, всего одна комната, перегороженная ширмами, за которыми спал Львов, а перед ширмами я. Знал я Львова, как сына адъютанта нашего корпуса, когда он бегал еще в гусарской курточке, и провел с ним в корпусе более семи лет, но не видел в нем ничего другого, как славного товарища и разумного малого, предавшегося любимому им предмету—химии, что дало ему право быть преподавателем в Павловском кадетском корпусе. Но, при совместной жизни, стал замечать в нем какую-то от меня скрытность, одностороннее направление, не к делу химии и, как любимый предмет разговоров с посещавшими его, большею частью мне неизвестными, лицами,—разговоры, ощутительно - стесняемые моим присутствием. Уяснив себе суть направления Львова, я по-товарищески и шутя стал повторять свое мнение, что лучше бы этих приятелей по-боку. Ведь, молодо-зелено. Пожалуй, высекут. Вскоре же узнал, что пятница такой день, кото-

[1]) И. И. Венедиктов. «За шестьдесят лет». «Русск. Стар.», X, 1905, стр. 45—49.

рый Львов считает обязательным проводить у какого-то Петрашевского, где и встречается со многими специальными знакомыми.

В числе немногих, которые заходили собственно ко мне, был давний мой знакомый Зимин. Он как-то передал мне, что в городе ходят слухи о каком-то обществе, которое собирается в Коломне у Петращевского, и что эти сходки добром не кончатся. Я передал это Львову.

Если за обществом следят, то, конечно, знают уже и лиц, которые сходятся у Петрашевского, почему я не счел нужным скрывать мои опасения за Львова; после чего у нас завязались совещания, как бы отвлечь Львова хотя бы от соблюдения пятниц, вследствие чего Зимин вскоре зашел к нам с приглашением прибыть в первую пятницу к нему провести вечер, поиграть и поужинать. Жил Зимин на углу Морской и Вознесенского проспекта, нанимая комнаты у г-жи Бремме, имевшей несколько таких жильцов. Мы пришли, поболтали, поиграли, а когда стали собирать ужин, Львов взялся за фуражку, объявив, что долее оставаться не может. Погода была ужасающая. Я, после усиленных уговоров Львова изменить намерение, сказал, что если он идет домой, то и я с ним, а если не домой, то останусь ночевать у Зимина. Он уехал, а я остался.

Поутру, часу в шестом, вошел лакей, видимо, по какому-то делу. Поговорил с Зиминым и ушел. Зимин взволновался и объявил, что дело дрянь. Ночью у Бремме были жандармы, арестовали Достоевского и, как узнал дворник, всю ночь ездили по городу кареты и забрали многих.

Понятно, я побежал немедленно домой. Спрашиваю у дворника—все у нас благополучно?—Ничего, говорит, слава богу.—Иду к себе, отворяет дверь денщик Львова—физиономия не в порядке...—Дома Федор?—Давно ушли.—Ушел?—Ушли.—Куда?—Не знаю.—Ну, да говори толком, что случилось?—Только что, говорит, Федор Николаевич вернулись домой, поздненько, и легли спать, как прибежал из московских казарм солдат сказать, что ночью жандармы взяли поручика Монбелли, Федор Николаевич вскочил и стал разбирать бумаги. Собрав кучу, приказал мне где-нибудь их сжечь. Вспомнив, что внизу топится прачешная, я бросился туда и бумаги сжег. Когда вернулся, Федор Николаевич был уже одет и тотчас ушел.

Чувствуя, что каша заварилась, и недоумевая, как она миновала Львова, я вспомнил, что в том же полку есть

еще другой Львов, и, желая успокоить себя, послал денщика в казармы, приказав проведать с черного крыльца, дома ли он. Денщик вернулся с печальным известием, что этого Львова ночью взяли. Недоразумение и ошибка стали очевидными.

Последствие этой ошибки и публичное извинение императора Николая перед Львовым, взятым по недоразумению, были описаны по разным случаям во многих журналах, почему я не повторяю здесь этого инцидента.

Когда Львов вернулся домой, я ему советовал надеть мундир и ехать прямо к Ростовцеву, благоволившему к семейству Львова и любившему его самого с малолетства, и высказать откровенно, что сообразив огласившиеся имена арестованных с Петрашевским во главе, думать можно, что арестованы лица, собиравшиеся у Петрашевского, а так как к числу их принадлежал он, Федор Львов, тогда как арестован его однофамилец, никогда не бывавший у Петрашевского, то спешит выдать себя, чтобы охранить от неприятностей своего товарища. При таком совете, я имел в виду, кроме доброго дела, что такое признание будет принято, как смягчающее вину обстоятельство. Но Львов отклонил мое предложение и, как оказалось потом, сделал худо. Когда открылась комиссия и был введен арестованный Львов, то Ростовцев сказал громко: «ну, вот, я говорил, что не может быть мой». Эта поспешно высказанная и оказавшаяся ошибочною уверенность, конечно, лишила Львова того более теплого отношения, на которое он мог рассчитывать со стороны влиятельного Ростовцева.

В то же утро к нам приехал один из неблизких родственников Львова, человек состоятельный, и, не стесняясь моим присутствием, сказал Львову, что, собрав все, что можно было найти дома,—около полуторы тысячи рублей, он предлагает это взять и до вечера убраться, а потом, что бог даст. На первых порах поможем, а потом сам устроишься; но Львов, отблагодарив дружеским поцелуем за это предложение, от него отказался.

Началось тяжелое время ожиданий, что будет. Прошло около недели. Наконец, как-то под утро меня что-то разбудило. Открываю глаза—в дверях стоит денщик, в одном белье, и входят двое военных. Когда очнулся, узнал в одном из них директора Павловского кадетского корпуса—Языкова; а в другом—известного всем по подвязанной руке жандармского полковника Васильева. Денщик бросился за шир-

мы и вышел сопровождаемый Львовым, успевшим накинуть халат.

— Мне поручено, — обращаясь к Львову,—начал Васильев,— пригласить вас отправиться со мною в особую комиссию, которая ожидает получить от вас кое-какие сведения; при этом я обязан осмотреть и взять, какие могут касаться дела, бумаги. Так как в числе ваших бумаг могут быть и такие, которые вы не желали бы предавать гласности, то я предоставляю вам время взять ваши бумаги за ширмы, пересмотреть и отдать мне только безвредные для вас.

Даже в такую тяжелую минуту Львов выразил благодарность за эту любезность с нескрываемою улыбкою, вероятно, подумал—так ли бы ты, милый человек, действовал, если бы приехал неделю ранее!—Возьмите, что найдете нужным,—отвечал Львов, открывая ящики письменного стола. Васильев сложил все в один ящик, перевязал бичевкою и приложил печать. Потом посоветовал одеться и взять мундир, прибавив, что все эти неприятности, вероятно, разъяснятся в самом непродолжительном времени. Затем мы простились, и Львова увезли. Ух, как стало грустно. Если бы вынесли тело, кажется, было бы легче. И теперь вспомнить скверно.

Через несколько времени стали ходить слухи, что Набоков, комендант крепости, относится к заключенным с отеческим состраданием, а затем я получил от Львова записку с уведомлением о данном ему разрешении получить некоторые книги, преимущественно, по части химии... отправил, и все надолго замолкло.

Много времени спустя, вбежал рано утром денщик, в слезах, успев только выговорить: «Федора Николаевича везут на Семеновский плац расстреливать»,—и скрылся... Я очумел, но ехать туда нехватило мужества. Вскоре обозначилось, что Львов, в числе первых, кажется пятерых, был приговорен к лишению жизни, но когда эти лица были приведены к столбам для расстреливания, подскакал стоявший вдали фельдъегерь с объявлением замены смертной казни каторжными работами на двенадцать лет.

В конце шестидесятых годов, нежданно, недуманно Львов прибыл ко мне. Встретив его радостно, у меня недостало духу не только при этом свидании, но и потом удовлетворять свое любопытство расспросами о прожитой

жизни, тем более, что это был уже не прежний Львов, строгий в суждениях, резкий в приговорах и притом замкнутый и не словоохотливый. Все-таки удалось узнать, что каторгу, в том виде физических страданий, в каком она представляется обыкновенно, Львов не испытал. В мертвом доме не был. По прибытии на место был назначен к огороду. Потом прилепился к аптеке. Далее, ген.-губерн. Муравьев причислил его сначала к своей канцелярии в каком-то мудреном звании, а потом—к пробирному управлению.

Между тем добрые люди не дремали и вызвали сочувствие знавшего отца Львова, петербургского ген.-губерн., светлейшего князя Суворова. Львову удалось получить разрешение на отпуск в Рязань, но он рискнул направить свой путь через Петербург, где и явился прямо к Суворову. Добрейший князь причислил его немедля к своей канцелярии, чем вызвал страшную против себя бурю со стороны шефа жандармов; но, вынеся множество неприятностей и нахлобучек, как сам выражался, отстоял за Львовым право остаться в Петербурге. Тут его взял под свое покровительство председатель русского технического общества Петр Аркадьевич Кочубей, повлиявший на избрание Львова секретарем общества. Ко времени открытия Петровской выставки в Москве Львову были возвращены его права, а за участие в этой выставке даже дали орден. Настолько почетно Львов оправдал рекомендацию Кочубея и выбор общества, что, будучи поставлен в необходимость оставить место по надломленному здоровью, получил пенсию от правительства и особо от общества, а когда умер, то в числе собравшихся в скромную квартирку на вынос тела прибыл, как однокашник, военный министр, генерал-адъютант Ванновский, а на могиле Львова поставлен памятник его почитателями. Итак, самая тень политической ошибки Львова была совершенно смыта. Хороший был человек—мир праху твоему, многострадальный товарищ!

Когда, после арестования Львова, аресты стали продолжаться, по правде сказать, вструхнул и я, в особенности, когда ко мне пришел человек профессора технологии, Витта, сказать, что и его барина взяли. У Витта собирались по вторникам многие. В том числе бывал и я. Ну, думаю, долго ли до беды!—Вот тебе и служба...

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Н. А. ОГАРЕВОЙ-ТУЧКОВОЙ О Н. А. СПЕШНЕВЕ [1])

В начале Страстной недели (1849) у нас собралось несколько друзей Огарева, между прочим, помню Сатина, Кавелина и Арапетова. Последний рассказывал с большим жаром о собраниях М. В. Петрашевского: к нему собирались даже личности, приехавшие в столицу только на короткий срок. Знакомые Петрашевского приводили к нему своих знакомых; вообще, доступ в эти сборища был очень легок, и потому собрания были весьма многолюдны; особенно обращал на себя внимание обычай разговляться в страстную пятницу, и это происходило (как говорили тогда) уже несколько лет посреди Петербурга.

— А полиция?—спросила я не без удивления.

— Вероятно, полиции давно все известно,—отвечал Арапетов,—но она ничего не находит особенно важного в этих собраниях.

— О чем же говорится? Что делается на этих вечерах?—допытывалась я.

— О! Не знаю, как вам сказать; порицают многое, хвалят то, что для нас запрещенный плод,—говорил шутя Арапетов,—а главное: мужчины одни, дам нет, mille pardons, вина хорошие, весело, легко на душе, а положительной цели, говорят, никакой нет.

Однако мне не нравилось описание этих вечеров; в самом деле, как тут не быть тайной полиции и как так рисковать, без всякой определенной цели?

Арапетов звал всех присутствующих мужчин ехать разговляться в пятницу к Петрашевскому, а я стала их уговаривать не ездить, потому что глупо так шутить своею жизнью.

— Но, ведь, тут нет никакого риска,—возразил Иван Павлович Арапетов,—это вам, приехавшим из степи, кажется опасно, а нам это только забавно. Поедем, Огарев, если ты не поедешь, и я не поеду.

Кавелин подошел ко мне и с свойственной ему мягкостью старался убедить меня не страшиться такого безразличного поступка. Как более близкий друг Огарева, он был посвящен в наши планы и мечты и знал, как дорого было

[1]) Н. А. Огарева-Тучкова. «Воспоминания». М. 1903, стр. 65—67, 69—70.

для меня существование Огарева; но и он не мог меня убедить в безопасности посещения этих бесед.

Прощаясь, Арапетов сказал Огареву:

— Ухожу, ничего от тебя не добившись, заезжай за мною в пятницу вечером, у меня будет человек, который нас представит Петрашевскому; но, смотри, приезжай, а то ты мне испортишь славный вечер, без тебя я не поеду.

Огареву очень хотелось обещать, но, бросив беглый взгляд на мое смущенное, взволнованное лицо, он молча пожал руку Арапетову.

— Не ожидал я от вас такой осторожности,—сказал мне Кавелин, улыбаясь,—а еще сами ходили на баррикады.

Однако никто из присутствующих не был на вечере у Петрашевского, я с радостью приняла эту жертву.

На следующий день этой роковой пятницы у Огарева был тоже вечер. Собралось довольно много его друзей; Кавелин, познакомившись с Спешневым, привез его к Огареву. Новый собеседник обращал всеобщее внимание своею симпатичною наружностью. Он был высокого роста, имел правильные черты лица, темнорусые кудри падали волнами на его плечи, глаза его, большие, серые, были подернуты какою-то тихою грустью. Рассказывали, что он только что вернулся из чужих краев, где недавно похоронил женщину, для которой в продолжение нескольких лет оставлял свою страну, свою престарелую мать. Он вернулся убитый этой потерею, с двумя детьми, которых его мать взяла на свое попечение.

— Вот,— говорил мне с упреком Кавелин,—г. Спешнев разговлялся вчера у Петрашевского, однако он цел и невредим, и говорит, что там было очень оживленно, а вы нам помешали, это упрек вам навсегда!

. . . .

— Петрашевский арестован, Спешнев тоже; там книги велись, записывались имена всех посетителей; говорят, аресты не ограничатся Петербургом, они будут производиться по всем концам России, много жертв будет, и все это из пустяков. Несчастная, роковая пятница,—продолжал Кавелин задумчиво и, подняв голову, прибавил с каким-то нервным подергиванием губ,—а вы нас спасли.

Я молча слушала, смущенная; я не находила слов, чтобы выразить тот ужас, который овладел мною; как вчера я вместе с другими восхищалась прекрасным выражением симпатичного, благородного лица Спешнева, и может он

навсегда исчезнет для своей страны, для своей семьи... А старая мать его, которая прижала к сердцу его детей, вероятно, незаконных, без имени, без прав на наследство... Этот удар убьет его мать,—а дети? Что с ними станется тогда?

Впоследствии Кавелин нам передавал, что при обыске у Спешнева была найдена тетрадка «Проект конституции или республиканской формы правления», написанная им когда-то в ранней юности, теперь же ему было около тридцати лет. Эта тетрадь много способствовала его осуждению.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ С. ЯНОВСКОГО О Ф. М. ДОСТОЕВСКОМ [1])

В одну пятницу, то-есть в тот день, когда известный кружок молодых, а, может быть, в числе их и не молодых людей, верно сказать не могу, так как я к нему не принадлежал, — собирались у Петрашевского, Федор Михайлович совершенно неожиданно посетил меня. День был с утра пасмурный, а к вечеру пошел такой сильный дождь, что я остался дома. В семь часов, когда я собирался пить чай, вдруг раздался звонок, и я услыхал в передней голос Федора Михайловича. Я тотчас выбежал к нему навстречу и увидал, что с него вода течет ручьями. С первых слов он объявил мне, что по дороге к Петрашевскому увидал у меня огонь, зашел, да кстати нужно пообсушиться. Обсушиться ему было невозможно, так как он промок, что называется, до костей, а потому он надел мое белье, сапоги поручили человеку просушить у плиты, а сами уселись пить чай. К девяти часам сапоги просохли, и Федор Михайлович стал собираться к Петрашевскому. Но дождь лил, как из ведра, и я спросил: «Да как же вы пойдете в такую погоду? От торгового моста (где я жил тогда) до Покрова хоть и близко, но на ходу дождь вас еще раз промочит». На это Федор Михайлович мне ответил: «Правда, но в таком случае дайте мне немножко денег, и я доеду на извозчике». Денег у меня не оказалось ни копейки, а в пакете общей кассы мельче 10 - рублевой бумажки не было. Федор Михайлович поморщился и, проговорив: «скверно», хотел уходить. Тогда я предложил ему взять из железной копилки; он согласился и взял шесть пятачков. На эти

[1]) С. Яновский. «Воспом. о Достоевском», «Русск. Вестн.». 1886, 4, стр. 809, 810, 812, 813, 815—819.

деньги он, вероятно, доехал до Петрашевского, но достало ли их на то, чтобы возвратиться к себе на квартиру, я не знаю, так как на другой день ровно в одиннадцать часов утра прибежавший ко мне бледный и сильно растерявшийся Михаил Михайлович объявил, что Федор Михайлович арестован и отвезен в III Отделение. В это время и произведено было сожжение бумаг и писем, о котором я упоминал выше. Федора Михайловича я после уже не видал до той встречи с ним, в Твери, которая описана мною в статье по поводу падучей болезни.

Федор Михайлович очень любил общество или, лучше сказать, собрание молодежи, жаждущей какого-нибудь умственного развития, но в особенности он любил такое общество, где чувствовал себя как бы на кафедре, с которой мог проповедывать. С этими людьми Федор Михайлович любил беседовать, и так как он по таланту и даровитости, а также и по знаниям стоял неизмеримо выше многих из них, то он находил особенное удовольствие развивать их и следить за развитием талантов и литературной наметки этих молодых своих товарищей. Я не помню ни одного из известных мне товарищей Федора Михайловича (а я их знал почти всех), который не считал бы своею обязанностью прочесть ему свой литературный труд. Так поступали А. У. Порецкий, Я. П. Бутков, П. М. Цейдлер; об А. Н. Плещееве, Крешеве и о М. М. Достоевском я уже не говорю, так как последний и в особенности А. Н. Плещеев получали от Федора Михайловича темы для работ и даже целые конспекты для повестей. Если решение полученных задач оказывалось неудовлетворительным, то таковые рассказы и повести тут же самими авторами торжественно уничтожались...

Его любовь, с одной стороны, к обществу и к умственной деятельности, а с другой—недостаток знакомства в других сферах, кроме той, в какую он попал, оставив Инженерное училище, были причиной того, что он легко сошелся с Петрашевским. Когда я бывало заводил речь с Федором Михайловичем, зачем он сам так аккуратно посещает пятницы у Покрова, и отчего на этих собраниях бывает так много людей, Федор Михайлович отвечал мне всегда: «сам я бываю оттого, что у Петрашевского встречаю и хороших людей, которые у других знакомых не бывают; а много народу у него собирается потому, что у него тепло и свободно, притом же он всегда предлагает ужин,

наконец, у него можно полиберальничать, а ведь кто из нас, смертных, не любит поиграть в эту игру, в особенности когда выпьет рюмочку винца; а его Петрашевский тоже дает, правда, кислое и скверное, но все-таки дает. Ну, вот к нему и ходит всякий народ; но вы туда никогда не попадете—я вас не пущу»,—и не пустил, за что я ему, как истинному моему другу и учителю, во всю мою жизнь был и до сих пор остаюсь душой и сердцем благодарен. Любовь Федора Михайловича к обществу была до того сильна, что он даже во время болезни или спешной какой-нибудь работы не мог оставаться один и приглашал к себе кого-нибудь из близких. Но, посещая своих друзей и приятелей по влечению своего любящего сердца и бывая у Петрашевского по тем же самым побуждениям, он вносил с собою нравственное развитие человека, в основание чего клал только истины евангелия, а отнюдь не то, что содержал в себе социал-демократический устав 1848 года. Федор Михайлович любил ближнего, как только можно любить его человеку верующему искренно, доброты был неисчерпаемой и сердцевед, которому подобного я в жизни моей не знал. А при этих его качествах можно ли допустить мысль о том, что он был заговорщиком или анархистом? Да и каким образом мог Федор Михайлович, будучи от природы чрезвычайно нервным и впечатлительным, удержаться от того, чтобы не проговориться в беседах с нами о его сочувствии социализму. А между тем, я видел Федора Михайловича и слушал его почти каждый день, встречал его у Майковых по воскресеньям и у Плещеева, у которого бывали (за исключением гимназистов, семинаристов и каких-то черкесов) почти все бывавшие и у Петрашевского,—но ни я и никто из близких мне никогда не слыхали от Федора Михайловича ничего возбуждающего к анархии. Правда, он везде составлял свой кружок и в этом кружке любил вести беседу своим особенным шопотком; но беседа эта была всегда или чисто - литературная, или если он в ней иногда и касался политики и социологии, то всегда на первом плане у него выдавался анализ какого-нибудь факта или положения, за которым следовал практический вывод, но такой, который не шел вразрез с евангелием. Говорят: да, ведь, Достоевский был, как заговорщик, сослан в каторгу. Что он был сослан, это, к несчастью, правда; но был ли он заговорщик, это не доказано

и неправда. Хотя Федор Михайлович, бывая в собраниях Петрашевского, может быть, что-нибудь противное тогдашнему строю государственному и говорил, в особенности если мы не упустим из виду того, что это было до освобождения крестьян, но заговорщиком и бунтарем он не был и не мог быть...

Теперь я приступлю к характеристике того Федора Михайловича, который явился и предо мною в конце 1848 года как-будто иным, если не по существу, то, по крайней мере, по внешности. В чем заключалась эта перемена? Как она совершилась? Вот вопросы, на которые я постараюсь дать по возможности близкие к истине ответы.

Вся перемена Федора Михайловича, по крайней мере, в моих глазах, заключалась в том, что он сделался каким-то скучным, более раздражительным, более обидчивым и готовым придираться к самым ничтожным мелочам и как-то особенно часто жалующимся на дурноты.

Совершилась эта перемена если не вдруг и не неожиданно, то и не в очень длинный промежуток времени, а так, примерно, в течение двух-трех недель.

Причиной же всего этого было, как впоследствии он сам мне это сказал, сближение со Спешневым, или, лучше сказать, заем у него денег. До этого обстоятельства Федор Михайлович, разговаривая со мной о лицах, составлявших кружок Петрашевского, любил с особенным сочувствием отзываться о Дурове, называя его постоянно человеком очень умным и с убеждениями, нередко указывал на Монбелли и Пальма, но о Спешневе или ничего не говорил, или отделывался лаконическим: «я его мало знаю, да по правде и не желаю ближе с ним сходиться, так как этот барин чересчур силен и не чета Петрашевскому». Я знал, как Федор Михайлович был самолюбив, и, объяснив себе это нерасположение тем, что, знать, нашла коса на камень, не настаивал на подробностях. Даже и в то время, когда я видел, что совершившаяся перемена в характере Федора Михайловича, а особенно его скучное расположение духа должны иметь какую-нибудь причину, я не обнаруживал желания прямо узнать ее, а говорил только, что я не вижу никакого органического расстройства, а следовательно, старался и его уверить в том, что это пройдет. Но на эти-то мои успокоения однажды Федор Михайлович мне и ответил: «нет, не пройдет, а долго и долго будет меня мучить, так как я взял у Спешнева деньги (при этом он назвал сумму,

около 500 руб. сер.), и теперь я с ним и его. Отдать же этой суммы я никогда не буду в состоянии, да он и не возьмет деньгами назад; такой уж он человек». Вот разговор, который врезался в мою память на всю мою жизнь, и так как Федор Михайлович, ведя его со мною, несколько раз повторил: «понимаете ли вы, что у меня с этого времени есть свой Мефистофель», то я невольно ему и теперь даю такое же фатальное значение, какое он заключал в себе и в то время. Я инстинктивно верил, что с Федором Михайловичем совершилось что-то особенное. На беду мою я знал, что он в последнее время сильно жаловался на безденежье, и когда я говорил ему, что я, кроме копилки, могу ему уделить еще своих рублей 15—20, то он замечал мне: «не 20 или даже 50 рублей мне нужны, а сотни: я должен отдать портному, хозяйке, возвратить долг Mich-Mich (так он звал старшего своего брата), а все это более 400 р.». На удовлетворение всех этих нужд он и взял у Спешнева деньги. Получил он их в одно воскресенье, отправившись от меня около 12 часов пополудни к Спешневу, а вечером у Майковых сообщил мне о том, как Спешнев деньги ему дал и взял с него честное слово никогда о них не заговаривать. После этого факта я заметил только одно новое для меня явление: прежде, когда, бывало, Федор Михайлович разговаривает со своим братом Михайлом Михайловичем, то они бывали постоянно согласны в своих положениях и выводах, но, после визита Федора Михайловича к Спешневу, Федор Михайлович часто говорил брату: «это не так; почитал бы ты ту книгу, которую я тебе вчера принес (это было какое-то сочинение Луи Блана), заговорил бы ты другое». Михаил же Михайлович на это отвечал Федору Михайловичу: «я кроме Фурье никого и ничего не хочу знать, да, правду сказать, и его-то, кажется, скоро брошу; все это не для нас писано». Федор Михайлович так сильно любил своего брата, что на последнюю фразу не только не сердился на него, но даже и не возражал ему.

Я знаю, что Федор Михайлович, по складу его ума и по силе убеждений, не любил подчиняться какому бы там ни было авторитету, вследствии чего он нередко даже о Белинском выражался так: «ничего, ничего, Виссарион Григорьевич, отмалчивайтесь; придет время, что и вы заговорите» (это он говорил так по поводу того, что Белинский, расхваливший его «Бедных людей», потом как бы игнорировал его произведения, а Федору Михайловичу молчание

о его творениях было горше брани); после же займа денег у Спешнева, он поддался видимым образом авторитету последнего. Спешнев же, как говорили тогда все, был безусловный социалист.

Немудрено, что у нас до сих пор еще многие думают, будто Федор Михайлович был взаправду какой-то красный социалист, а по мнению некоторых—даже руководивший каким-то тайным обществом, которое угрожало опасностью государству. На самом же деле деятельность Федора Михайловича, включая в нее даже посещение собраний Петрашевского и принадлежность к так называемому тайному обществу Дурова и К°, ничего подобного не представляла. Стоило вглядеться в состав этих сборищ и общества, сообразить идею заговора с теми средствами, какие были в руках этих мнимых заговорщиков, и, наконец, обдумать хорошенько, что они читали и о чем толковали, и вся иллюзия заговора разлетелась бы в прах. Все собрания Петрашевского и Дурова представляли собою такое незначительное число людей, что оно положительно терялось в Петербурге, как капля воды в быстротекущей Неве. Небольшая кучка этих людей была такою разнокалиберною смесью званий, сословий, профессий и возрастов, что одна уже эта пестрота состава показывала, что они не имели, да и не могли иметь никакого влияния на массу общества. Денежных средств у этой кучки не было никаких, так как, за исключением Спешнева, Петрашевского, Дурова и Григорьева, все ее члены были бедняки; оружия, за исключением носимого свирепыми по виду черкесами и злосчастного с кремневым курком пистолета, который носил с собой постоянно излюбленный друг Петрашевского, Ханыков, у этой кучки тоже не было. Многие, по крайней мере, в конце сороковых годов, старались придать какое-то особенное значение тому, что в сходках Петрашевского участвовали некоторые офицеры гвардии, говоря при этом, что одно это обстоятельство придавало их делу серьезное значение. Но едва ли несколько единиц из двух полков гвардейской пехоты и одного кавалерийского, безо всякой связи и единомыслия ни с другими товарищами, ни с нижними чинами, представляли собой что-либо серьезное. Я и теперь помню, как сам Федор Михайлович критически и с полным недоверием относился к подобного рода рассуждению. Более же опытные и умные товарищи по полкам, например, капитан Московского полка М. Н. Ханыков, штабс-капитан Конно-

Гренадерского полка Власовский, Зволянский и др., просто смеялись над увлечением товарищей и называли их сумасшедшими. Сам Федор Михайлович сходкам у Петрашевского не придавал никакого значения. Он начал свое посещение их, а потом продолжал единственно по тем причинам, которые я уже указал, то-есть благодаря тому, что его там слушали. Бывая постоянно у Петрашевского, он не стеснялся высказывать многим из близких своих приятелей его неуважение к Петрашевскому, при чем обыкновенно называл его агитатором и интриганом; над широкою шляпой Ханыкова и над его фигурой, завернутою всегда в альмавиву, и особенно над его пистолетом с кремневым курком он постоянно смеялся. Все это я говорю положительно и с уверенностью, так как все это я слышал от самого Федора Михайловича.

Конечно, на это мое мнение многие могут мне возразить: как же вы не придаете никакого значения тем сборищам, на которые сам Федор Михайлович указывает, как на организованное тайное общество, при чем, желая выгородить из него своего брата Михаила Михайловича, говорит, что сей последний в тайном обществе Петрашевского и Дурова не участвовал (см. «Дневник писателя», 1876 года, статья «За умершего»). Вот для меня самое прискорбное и самое тяжелое изо всех возражений; но что делать, буду и в этот раз также искренен, как всегда, и скажу все, что я знал и знаю о Федоре Михайловиче. Да, он это сказал в своем «Дневнике», и сказал не потому, что верил в важность этого общества, а потому, что он, по возвращении из Сибири, явно обнаруживал два свойства, которые мы все заметили в нем: беспримерное самолюбие и страсть порисоваться. Он это сказал в то время, когда он знал, что «Дневник» его читается нарасхват, когда молодежь атаковала его своими сочувственными обращениями в массах (это он писал ко мне за границу), и что он в некотором отношении может порисоваться мученичеством.

А. И. ГЕРЦЕН О ПЕТРАШЕВСКОМ [1])

Если Барбье, говоря о святой черни, разумел величавую простоту, чистоту побуждений, смелость перед

[1]) А. И. Герцен. Полн. собр. соч. под. ред. Лемке, т. VI, стр. 502—519 (перевод с французского); статья 1851 года, написанная Герценом для

последствиями, полное отсутствие коварства и всякой задней мысли о личном тщеславии,—качества, которые в наше время встречаются, к сожалению, только в простонародьи и, как исключение, в других классах общества,—то Петрашевского можно, без всякого преувеличения, считать святым. Парижский гамен, который идет умирать на баррикаду, не заботясь о том, вспомнит ли кто-либо о нем после смерти, а в случае победы забывает попросить себе должность или орден,—таков европейский тип, к которому ближе всего можно причислить Петрашевского. Он был «гаменом» не по воспитанию и не по убеждению,—он был им по призванию, по характеру. Гаменом был он даже по внешности: угловатая фигура, ниже среднего роста, руки нервные, голова круглая, слегка склонявшаяся на-бок, нос маленький, но правильный; его темносерые глаза сверкали беспрестанно; его походка и все движения отличались порывистостью; мечтательность, dolce far niente были для него невыносимы. Несмотря на совершенно искреннее желание хорошо одеваться, галстук у него был надет всегда криво, но предметом особенной радости для посещавших его насмешников служил его халат: со времени окончания гимназии и вплоть до ареста он не мог обзавестись приличным, цельным халатом; один рукав был всегда оторван от плеча, так что, одеваясь, Петрашевский надевал сперва халат без этого рукава, а потом не без труда всовывал в свободный рукав свою руку. В этом именно одеянии, хорошо известном его друзьям, он был застигнут 23 апреля (5 мая) 1849 г., в 4 часа утра, генералом Дубельтом, который пришел его арестовать. «Будьте любезны,—сказал генерал, объявив свое звание,—одеться и ехать со мной в III Отделение Собств. Е. И. В. канцелярии».—«Я готов»,—ответил Петрашевский.—«Однако,—возразил генерал, удивленный, что он, повидимому, и не думал одеваться,—неужели вы думаете ехать в таком костюме?»—«Сейчас ночь,—сказал Петрашевский,—а я в это время не привык одеваться иначе».—«Так как вы не знаете,—возразил Дубельт,—с кем вам придется говорить, то я советую вам надеть более приличное платье».—«Ладно»,—ответил дерзкий шалун и начал одеваться, а генерал стал рассматривать книги, разбросанные по столу и по полкам.—«Генерал, ради бога, не смотрите этих книг!»—воскликнул Петрашевский.—

Мишле с целью ознакомления европейцев с русскими революционными деятелями. Она в свое время не была напечатана и отыскана в архиве Мишле лишь в 1908 г. (см. библиографию). Ред.

«Почему же?»—«Потому что у меня, видите ли, есть только запрещенные сочинения; при одном взгляде на них вам станет дурно».—«Почему же вы бережете такие книги?»—«Это дело вкуса»,—ответил Петрашевский, добродушно покачивая головой.

Он был крепкого здоровья, никогда не пил и курил только в лицее, потому что там это было запрещено. Познания его были разнообразны, выражения—остроумны. Необходимость практической деятельности не оставляла ему ни времени, ни спокойствия, нужного для построения социальной системы; он даже не остановился определенно ни на одной из готовых социалистических доктрин, хотя считал себя фурьеристом; он занят был исключительно изысканием возможных средств для низвержения современного управления в России, а так как он полагал, что главной причиной порабощения русского народа были религиозные представления, то направил свою атаку главным образом против религии. Что касается его идей о национальности, то мы можем цитировать собственные его слова, напечатанные в энциклопедическом словаре, о котором еще будем говорить[1].

«Всякий народ или нация, рассматриваемая с гуманной точки зрения, является в тех же отношениях к целому человечеству, как вид в отношении к роду, и только постепенно развиваясь, т. е. утрачивая свои индивидуальные, частные признаки или прирожденные свойства, он может стать на высоту человечественного, космополитического развития, тогда только может настать для него время постижения общечеловеческих интересов, тогда только развитие его жизненных сил будет совершаться гармонически с требованиями целого человечества. Тогда только может какой-либо народ внести свою собственную лепту в сокровищницу человеческих знаний, дать самодеятельный толчок общечеловеческому развитию, когда будет им усвоена, вместится в нем совершенно вся предшествовавшая образованность и будут поняты все интересы жившего до него человечества и пережиты им все его страдания путем собственного тяжелого опыта. В этом смысле Россию и русских ждет высокая и великая будущность... Чем на низшей ступени своего нравственного, политического или религиозного развития находится какой-либо народ, чем менее способов к всестороннему и разнообразному удовлетворению его потребностей представляет ему

---

[1]) Цитата из «Словаря», стр. 220—221. Ред.

развитие у него промышленности, чем менее находится он в дружественном общении с прочими народами, чем предосудительнее и даже чем беззаконнее для него кажутся сношения с чужестранцами, усвоение себе их идей и форм их быта общественного,—тем резче будет выказываться его национальность (овеществление в нем общечеловеческого духа), тем резче будет он отличаться от других народов, тем будет он национальнее и уединеннее среди общения общечеловеческого, тем более отпечатков дикости и варварства будет носить в себе его национальность; и тем с бóльшим фанатизмом будет он ее держаться и даже будет бессознательно готов принесть в жертву благосостояние других народов для торжества своей национальности, погубить плоды тысячелетних трудов человечества, сравнять с землей памятники наук и искусств и на развалинах их гордо и самодовольно раскинуть свою кочевую палатку и рассадить капусту»...

В интимной обстановке Петрашевский был весьма мягкий и безмерно терпеливый человек. Всякое возражение со стороны порядочных людей, всякая критика, как бы горька она ни была, принимались им и никогда не возбуждали в нем никакой вражды. Никогда мысль о своем превосходстве над окружающими не только не проскальзывала в его словах, но даже не приходила ему в голову; он был слишком поглощен своими проектами, чтобы заниматься собственной персоной.

Поступив 13-ти лет в Царскосельский лицей (учреждение, основанное в 1811 г. императором Александром для воспитания государственных деятелей, совершенно переделанное ныне Николаем; оно прославлено пребыванием Пушкина в числе его учеников), Петрашевский с первых же месяцев выделился своими способностями и усидчивостью в такой же степени, как и своими шалостями. В этом отношении он оставлял далеко за собой большинство своих товарищей, зараженных аристократической спесью и нелепыми понятиями о приличии; вот почему большинство их, и особенно немцы, прервали с ним всякую товарищескую связь. Петрашевский не мог понять золотой середины, столь свойственной немецкому характеру, и когда заходила речь о какомнибудь заговоре учеников для наказания надзирателя за нахальство, он тотчас предлагал свои услуги даже враждебным ему товарищам, брал на себя исполнение мести и просил, в качестве вознаграждения, только тайны. Но затем

обычно он переходил границы желаний своих сообщников, которые после упрекали его в том, что он навлек на всех них порицание за отступление от царившего в лицее корпоративного духа.

Кончив в 1839 г. курс наук, он, за свое непослушание, получил только самый последний из чинов, присвоенных лицеистам. Когда его позвали вместе с товарищами для вручения им бумаг, Петрашевский поразил всех присутствовавших при этой церемонии, произнося речь (вещь, мало употребительная в России), в которой в самом серьезном тоне благодарил начальников заведения за их попечения о воспитанниках и приглашал своих товарищей предать отныне забвению их школьные ссоры. Изумленное столь мудрой речью, исходящей из уст Петрашевского, начальство публично выразило свое сожаление, что до сих пор не сумело оценить по справедливости воодушевлявшие его чувства. Настолько не поняли, что речь эта была фарсом, который Петрашевский разыграл, чтобы смутить педагогов; до такой степени не заметили иронии в обращенных к начальству благодарностях, что литератор Булгарин, прославившийся своим раболепием перед правительством, напечатал эту речь в «Северной Пчеле», а «Петербургские Ведомости» перепечатали ее[1]).

Петрашевский поступил на службу в министерство иностранных дел, сохраняя за собой право, присвоенное воспитанникам лицея,—слушать в течение двух лет лекции в петербургском университете, продолжая считаться на действительной службе. По истечении двух лет он блестяще выдержал экзамен в университете, что подвинуло его по службе на два класса. В министерстве он служил переводчиком в тех случаях, когда жившие в Петербурге иностранцы имели какие-либо столкновения с полицией. Это поставило его в близкие отношения с чиновниками столичной полиции—презренный класс людей, вид которых возбуждал отвращение в петербуржцах,—но зато это же подало ему повод вывести из затруднительного положения несколько бедных людей, попавших в когти полиции.

Его революционная деятельность началась еще в университете. Там он начал общаться с молодыми людьми, старался давать им запрещенные цензурой книги и учил их

---

[1]) В «СПБ. Ведом.» (1840 год, №№ 26 и 27) была напечатана не речь, а письмо Петрашевского по поводу 50-летн. юбилея службы директора лицея Гольтгоера. См. Семевский. «Буташевич-Петрашевский», 1922, стр. 29. Ред.

в беседах. Интересно отметить, что сочинением, которому Петрашевский приписывал наибольшую революционную силу, был старый и плохой русский перевод французской книги, изданной в конце прошлого столетия или в первых годах XIX одним иезуитским аббатом, которого звали, если не ошибаюсь, Баррюэль, под заглавием—«Якобинцы и вольтерьянцы»[1]). Эта книга, написанная с той неистовой яростью, которая свойственна духовным авторам, представляет французскую революцию результатом обдуманного заговора, который давно был составлен главой фанатиков Вейсгауптом, Вольтером, Руссо, Робеспьером и несколькими другими лицами[2]). Автор до такой степени увлек Петрашевского, что он наметил в своем воображении, и довольно остроумно, план обширного заговора. Поэтому Петрашевский рекомендовал эту книгу всем своим знакомым, полагая, что для всех, кто знакомился с нею, как и для него, не существовало больше вопроса о том, законна ли и желательна ли революция в России, а оставалось только найти средства для ее выполнения. Вследствие такой манеры относиться к настроению петербургских умов, он сразу оттолкнул от себя много молодых людей, которые охотно либеральничали, желая считать себя вольнодумцами, но не размышляя серьезно о революции. В то же время эта роковая иезуитская книга внушила самому Петрашевскому, хотя он и не замечал этого, мысль, что революция может быть делом нескольких отдельных лиц, без участия толпы, которую толкают на этот путь сила событий, промахи правительства и распространение идей. Поэтому он никогда не мог совершенно отказаться от мысли организовать тайное общество, чтобы нанести удар правительству. Нескольким его друзьям, державшимся противоположного взгляда, удалось все-таки отвлечь его на некоторое время от этой идеи, и до 1848 г. Петрашевский ограничивал свою революционную деятельность привозом книг из-за границы с помощью одного несчастного книгопродавца[3]), которого правительство стерло теперь с лица земли, устной пропагандой своих идей в собраниях, которые

---

[1]) Barruel. «Memoires sur le jacobinisme»—«Вольтерьянцы, или история о якобинцах, открывающая все противохристианские злоумышления и таинства масонских лож, имеющих влияние на все европейские державы». С франц. последнего издания в 12 частях. М. 1805—1809. Ред.

[2]) Интересно, что Момбелли, которому дали прочесть эту книгу по вопросам организации и афильяции кружков, считает ее «самой вредной книгой», потому что в ней «указываются средства к практическому применению того, что само собою и в голову притти не может». Ред.

[3]) Лури. Ред.

еженедельно устраивались в его доме, и печатанием статей в энциклопедическом словаре.

Появление этой маленькой книги в России, классической стране цензуры, и под покровительством покойного великого князя Михаила, брата императора Николая, которому посвящен этот труд,—факт удивительный. Узнав, что некий Кириллов намерен издавать, с чисто-коммерческими целями, «Карманный словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка», Петрашевский пришел к нему и предложил себя в сотрудники, прося, и то только для того, чтобы не возбудить подозрения, весьма умеренного вознаграждения. Предприниматель, обрадовавшись столь выгодному предложению, предоставил Петрашевскому объяснение выбранных им слов. Петрашевский с жадностью схватился за случай распространить свои идеи при помощи книги, на вид совершенно незначительной; он расширил весь ее план, прибавив к обычным существительным имена собственные, ввел своей властью в русский язык такие иностранные слова, которых до тех пор никто не употреблял,—все это для того, чтобы под разными заголовками изложить основания социалистических учений, перечислить главные статьи конституции, предложенной первым французским учредительным собранием, сделать ядовитую критику современного состояния России и указать заглавия некоторых сочинений таких писателей, как Сен-Симон, Фурье, Гольбах, Кабэ, Луи Блан и др. Основная идея Фейербаха относительно религии выражена без всяких околичностей в статье о натурализме. Петрашевский дошел до того, что цитировал по поводу слова ода стихи Беранже.

Успели выйти (в 1845 г.) [1]) только два выпуска словаря (до слова—орден рыцарский) и продано было лишь несколько сот экземпляров, как полиция арестовала все остальные, лежавшие в книжных лавках. Цензор (Крылов) был представлен в верховный цензурный суд; я не знаю, какая судьба постигла его; это был очень боязливый и робкий человек; он несколько раз говорил Петрашевскому, что его статьи доводят его до головокружения от панического страха, но Петрашевский уверял его, что он нигде не переступил границ, указанных в тексте цензурного устава.

Поспешим сказать, что Петрашевский поступал совершенно добросовестно по отношению к цензору: он сам искренно думал, что русское правительство хотело, помощью

[1]) II выпуск вышел в апреле 1846 г. Ред.

политики, укрепить уважение к законности. Он хорошо понимал, что если бы правительство строго исполняло законы, хотя бы им самим изданные, оно компрометировало бы свой жизненный принцип—принцип произвола, который, вследствие соучастия в нем всех государственных чиновников, делает из учреждения административного коммерческую компанию, имеющую целью эксплоатацию страны. Но Петрашевский полагал, что если к правительству подступить с вопросом о законности, то у него не хватит бесстыдства сорвать с себя, по крайней мере, официально, маску ее. Он жалел, что в России нет людей, которые захотели бы поймать правительство на его пресловутом уважении к законности, и попробовал сам сделать этот опыт. С этой целью он вздумал открыть у себя адвокатскую контору и объявил об этом в петербургских газетах; но так как у лиц, которые предлагали ему защиту своих дел, были только денежные тяжбы с частными лицами, то он отказался от частных дел и брался за процессы с полицией и в суде только в тех случаях, когда они лично его касались. Обладание двумя домами в столице и имением в Петербургской губернии доставляло ему много таких случаев. Так как в России можно жаловаться на чиновника только его непосредственному начальству, и так как начальство это по сложившемуся обычаю, хотя и противному тексту закона, не давало ходу таким жалобам, не объясняя даже причин отказа, то Петрашевский, переходя от одной юридической инстанции к другой, вошел, наконец, в сенат с жалобами на начальника полиции и на петербургского генерал-губернатора и потребовал привлечения их к ответственности. Несмотря на иронический смех, с которым принимались эти жалобы, как совершенно «неподходящие», необычные, Петрашевский настаивал на том, чтобы они получили движение, и просил разрешения, согласно закону, устно защищать свое дело перед собранием сенаторов. Секретарь указал ему, что закон, на котором он основывал это свое второе требование, не будучи формально отменен, давно, однако, вышел из употребления, и что, по теперешним обычаям и привычкам сената, истцы дают свои объяснения лишь письменно. Петрашевский не захотел уступить ради самовольно введенного обычая право, установленное в законе, и его жалобы никогда не достигали своего назначения [1]).

---

[1]) Это неточно; г. Семевский опубликовал одно такое дело, рассмотренное сенатом. Прим. Лемке.

В качестве землевладельца он имел совещательный голос в собраниях петербургского дворянства, которое созывается раз в три года для выборов предводителей, судей и других должностных лиц, а также для распределения местных налогов. Здесь Петрашевский выступал поборником строгой законности и заставлял вписывать в протоколы заседаний свои протесты против нарушений закона, на которые он напрасно указывал членам собрания. В январе 1848 г. он распространил между ними проект, составленный, повидимому, с целью остановить все возраставшее падение цен на дворянские имения. В качестве главной меры он предлагал разрешить купцам приобретать населенные имения, с условием обращать крепостных, прикрепленных к общинным землям, во «временно-обязанных крестьян» [1]); он требовал, кроме того, образования ипотечных банков, основанных на принципе подвижности имений [2]), взаимных страховых об-

---

[1]) Указ от 2 апреля 1842 г., который официальные писатели восхвалили, как великую хартию освобождения русских крестьян, дает право помещикам входить в соглашения со своими крепостными и составлять договоры (одобренные и утвержденные государем), устанавливающие те отношения, которые существуют теперь только на деле между хозяевами и крепостными. Правительство заявило помещикам, что раз права и взаимные обязанности выражены на бумаге, то оно уже берет на себя заботу о точном исполнении общинами их обязательств, «а ваши помещики,—говорило оно крестьянам,—не смогут отныне увеличивать, по своему желанию, ваши обязательства, и вы не будете больше называться крепостными, но крестьянами обязанными». Но так как перед глазами крепостных всегда стояла судьба 20 милл. государственных крестьян, еще более печальная, чем их собственная, и так как они считали вмешательство правительства в их дела новым и неисчерпаемым источником беззаконий и насилий, то и не спешили воспользоваться правом, которое предлагало им отеческое правительство—узаконить договорами то, что они считали несправедливым, и князь Меньшиков мог с полным правом дать тому классу крестьян, который хотели создать, прозвище «крестьян обязанных». А. И. Г.

[2]) В настоящее время всякая недвижимость, заложенная в качестве ипотеки в каком-нибудь зависящем от правительства кредитном учреждении, не может стать ипотечной при малейшем следующем долге, если даже ее ценность многим превосходит гарантируемый ею долг. Неудобства этой системы уже внушили князю Любецкому, члену Государственного Совета, мысль, которую он сообщил царю,—образовать в России национальный банк, который был бы, по примеру Польского банка, основан на принципе подвижности поместий. «Граф Канкрин, тогдашний министр финансов, противился этому проекту: «Несомненно, государь,—сказал он самодержцу,—что торговля и даже казна будут процветать, но через десять лет В. В. не придется управлять Россией, потому что она станет совсем другой страной». (См. интересную и добросовестную книгу, изданную в Лейпциге анонимным конституционалистом, под заглавием «Russland und die Gegenwart». А. И. Г.

ществ и т. д. Собрание не приняло этого весьма разумного проекта.

Вспыхивает февральская революция. Известие об этом произвело в Петербурге потрясающее впечатление. Прекратились сейчас же все слухи, которые особенно сильно распространялись с ноября 1847 г., о намерении царя провозгласить освобождение крестьян. В мире официальном делались бесконечные упреки Франции вообще и Луи-Филиппу в особенности—«этой непризнанной бездарности,—как говорили о нем и приписывали это выражение Тьеру[1],—которая должна была служить пробкой, удерживающей взрыв революционного народа, и не сумела не полететь вверх». Но скоро упреки сменились мрачным, безмолвным унынием; не знали, что сказать, когда прусский король водрузил знамя единства в Германии, а Меттерних последовал примеру Луи-Филиппа. Все были так заняты, что даже великий князь Михаил, этот образец военного педантизма, отказался выйти на смотр к войскам, которые он велел привести для этого: он был погружен в чтение газет. Я говорю «газет», потому что иных осведомительных источников у правительства не было, быстрота событий так смутила императорские посольства, что они не знали, как составлять свои телеграммы, и не посылали их совсем. Смущение было так велико, что для того, чтобы получить точные разъяснения европейских дел, царь не стал больше обращаться к Нессельроде, а послал на место событий помощника начальника тайной полиции Сагтынского, того самого старика с седыми волосами, который совершил кругосветное путешествие по Европе в июне этого года и по возвращении которого в Петербург Карлье[2]) оказался кавалером русского ордена[3]). В кофейнях Излера и Доминика публика вырывала друг у друга газеты; собирались в группы и кто-нибудь громко читал известия, потому что нехватало терпения ждать своей очереди. Тому, кто знает угрюмую чопорность петербуржцев,

---

[1]) Позже Тьер дал тот же эпитет Наполеону III; поэтому особенно любопытно, что такое же выражение известно было и в России в применении к Луи-Филиппу. А. И. Г.

[2]) Префект парижской полиции. Ред.

[3]) Наградам, которые дает царь, можно, действительно, приписать своего рода тайную силу: едва прошло три месяца, как Карлье был сделан придворным, и происходит скандал в лотерее золотых слитков, при чем газета, обыкновенно защищавшая Карлье, «Indépendance Belge», делает даже намек на то, что дело это может стоять в связи с отставкой, которую подал префект полиции. А. И. Г.

этот простой факт может показаться невероятным. Молодежь и особенно друзья Петрашевского бросились в лихорадочную деятельность. Нельзя было оставаться в границах обычного благоразумия. Почти на глазах у царя, в четырех местах, были установлены периодические собрания. Надежды на то, что русские революционеры не окажутся отвергнутыми революционерами немецкими и французскими, укреплялись известиями о дружественных отношениях Бакунина и Герцена с такими людьми, как Прудон. Еще до февраля «Система экономических противоречий» Прудона продавалась открыто, благодаря грубому невежеству полиции, и ее изучали с жадностью, неведомою в странах, где отсутствие цензуры отнимает у революционных сочинений всю сладость запретного плода. Один генерал-адъютант, впавший в немилость, объявил себя во всеуслышание последователем Прудона. Потом номера «Représentant du Peuple», который доставали контрабандой, выучивались буквально наизусть. Июньские газеты, правда, огорчили петербургскую молодежь, но все же, проклиная Марраста, Кавеньяка и их товарищей, она не падала духом. Наоборот, версальский и буржский судебные процессы довели умы до фанатизма; говорили не столько о радости триумфа, сколько о благородстве мучеников. Каждый завидовал высокой роли Барбеса.

Но уже в августе 1848 г. министр внутренних дел получил уведомление о поведении Петрашевского [1]). Он поселил одного шпиона, в качестве торговца табаком [2]), в доме Петрашевского, чтобы войти в доверие его прислуги, а другого, по фамилии Антонелли, официально причисленного к министерству иностранных дел, обязали сообщать министерству о заседаниях общества. Счастливый своим открытием, Перовский докладывает о нем государю, но, может быть, вы думаете, что он шепнул об этом и своему коллеге по тайной полиции, графу Орлову? Боже сохрани! Он потерял бы отличный случай доказать царю, что тайная полиция состоит из ничтожеств. Перовский хочет оставить себе одному честь спасения отечества. Поэтому гр. Орлов в течение шести месяцев не знает об этом большом деле; Перовский потирает себе руки и ухмыляется. К сожалению, он не может

---

[1]) В феврале 1848 г. Ред.

[2]) Герцен смешивает Петра Григорьевича Шапошникова, владельца табачной лавки, присоединенного к делу Петрашевского, с однофамильцем шпионом В. Шапошниковым. Шпион, о котором он говорит, был Наумов. Ред.

велеть государю хранить тайну: в минуту гнева государь, прежде чем его птицелов успел протянуть все силки, сказал графу Орлову, что у его ищеек нет нюха, что это—сопливые собаки. Оскорбленный в своем самолюбии, граф Орлов собирает сведения и докладывает царю, что министр внутренних дел, чтобы возвысить себя, наговорил его величеству всякого вздора, что дело это совсем не так значительно, как его описывают, что не надо разукрашивать его особенно в глазах иностранцев и, приняв некоторые патриархальные меры против главных вождей, можно прекратить дело без шума и скандала. Тогда Перовский, боясь, как бы столкновение мнений не выяснило правду, как бы не нашли только зародыш заговора, далеко не достигшего приписываемых ему размеров, и опасаясь, что вследствие этого ему не будет дан в вознаграждение графский титул, упрашивает царя отсрочить арест виновных. При этом он сказал царю (он сам хвастался потом): «Государь, позвольте мне еще некоторое время следить за поведением этих заговорщиков, и я обещаю доложить вашему величеству не только об их разговорах, но и о мечтах, грезящихся им во сне». Но у государя хватило терпения только на 8 месяцев; статья в «La Semaine», которая, обсуждая венгерские дела, говорила, что скоро у царя будет много своих хлопот, была каплей, переполнившей чашу. Царь не внимал убеждениям Перовского и назначил набег в ночь на 23 апреля (5 мая) 1849 г. Взаимное недоверие между начальниками двух полиций было так сильно, что каждый послал своего помощника. Со стороны графа Орлова был генерал Дубельт, а со стороны Перовского—Липранди. Они вместе, в одной карете, приехали к дому Петрашевского, но так как в эту ночь надеялись захватить собрание всех участников, то Липранди решил предоставить своему военному коллеге риск подняться в квартиру Петрашевского, а сам спрятался в карете. Дубельт нашел Петрашевского в обществе одного друга, перед отходом ко сну. В начале этой заметки мы уже рассказали, что произошло между ними. Как только первые подсудимые, в числе 48 [1]), были приведены утром в канцелярию графа Орлова, он имел удовольствие убедиться собственными глазами в том, что доклады Перовского были не совсем точны, по крайней

[1]) 48—было число всех подсудимых, сидевших в тюрьме по делу Петрашевского (кроме призывавшихся к допросу), не считая приказчика П. Шапошникова, Вострова, которого следств. комиссия нигде не включает в счет арестованных. Ред.

мере, в смысле личной значительности заговорщиков. Среди обвиняемых, на которых падали самые тяжелые подозрения, был мальчик 14—15 лет[1]); жандармы разбудили его рано утром, и он мирно доканчивал свой сон в зале канцелярии, пока его не разбудил внезапно громкий голос графа Орлова: «Что заставило вас устроить заговор, а?.. Вас слишком хорошо кормили, сукины сыны, вы с жиру беситесь!»[2]). Этот взрыв гнева не был притворством знатного графа; он был искренен, потому что видел перед собой молодых людей, при помощи которых министр внутренних дел чуть было не подставил ему знатную подножку[3]).

Следственная комиссия работала уже три месяца, не жалея пыток для заключенных; Липранди, назначенный в канцелярию самого графа Орлова, копался с почти религиозным рвением в бумагах, взятых у подсудимых; каждый день привозили новых арестованных из Москвы, из провинции и даже из Сибири; и, все-таки, трудно было доказать, что Перовский открыл заговор, поставивший было государство на край гибели. Царь, который никогда не имеет терпения дождаться конца интересующих его процессов, следит, обыкновенно, за их ходом и приказывает возобновить следствие, если думает, что первое расследование не поведет по закону к тяжелым наказаниям, почувствовал себя смущенным при виде оборота, принимаемого делом Петрашевского; он с грустью признается, что слишком поспешил с арестом подсудимых, и раскаивается, что не последовал совету Перовского «дать заговору созреть и расшириться, чтобы можно было одним ударом вырвать все плевелы из русской земли». Перовский торжествует: не удастся доказать, что он преувеличил опасность, а если следы заговора потеряны, то в этом виноват не он. Тогда разгневанный царь в первых числах августа приказывает устроить новую облаву в Петербурге. «Пусть посадят,—пишет он из одного летнего лагеря

---

[1]) Борис Исаакович Утин, известный впоследствии ученый юрист. Ред.

[2]) Подумать только, что слова эти были произнесены человеком, родной брат которого (Михаил Орлов) участвовал в заговоре 14 декабря! А. И. Г.

[3]) Министр внутренних дел Перовский внушает большой страх своим соперникам в соискании царских милостей, потому что его считают человеком, который ловко умеет устраивать свои дела. Он и его брат, генерал-адъютант Перовский (прославившийся своей неудачной экспедицией в Хиву),—незаконные дети графа Разумовского. Его законный сын был лишен наследства и заключен в Спасо-Ефимьевский монастырь во Владимирской губ., под предлогом неуважения к матери Перовских; его держали в монастыре больше 15 лет. Говорят, что он сошел с ума. А. И. Г.

в следственную комиссию,—половину жителей столицы, но пусть отыщут все нити заговора». И ночные аресты возобновились с новым неистовством.

Ярость, с которой полицейские агенты приступили к домашним обыскам, заставляла думать, что правительство боится не просто мирной пропаганды, а чего-то другого. В некоторых домах стали ломать рояли и поднимать половицы, чтоб найти бумаги и оружие. Грустно признаться в этом, но жандармские нижние чины, не получившие никакого воспитания, обращались гораздо человечнее, чем высшие чины и адъютанты, на которых был внешний лоск порядочности. В качестве образца жестокости называют особенно некоего Иноземцева, адъютанта при генерале Полозове, молодого человека, имеющего порядочный капитал и служащего в полиции только ради чинов. Действительно ли обвиняемые имели в виду сделать покушение на жизнь государя? Хорошо мы этого не знаем. Скажем только, что в Петербурге ходили слухи, будто некоторые из них решили заколоть царя кинжалами в ночь на 21 апреля (3 мая) 1849 г. в публичном маскараде, который устраивался в зале дворянского собрания, и будто в этот вечер должна была быть лотерея, для чего они приготовили уже и билеты, на которых написаны были призывы к восстанию,—их они думали бросить в колесо. План Петербурга, где указаны были места для баррикад, был, говорят, найден у одного офицера; передавали, что государь сказал коменданту Царского Села: «Представь себе, эти чудовища хотели не только убить меня, но и уничтожить всю мою семью». Если о подобных проектах не упоминается в официальном отчете, то это не доказывает, что их не было; царь, быть может, боялся распространять слух о них, так как постоянно старается отдалять от народной мысли идею покущения. Какой строгий выговор сделал он императрице за то, что, узнав о неудавшемся покушении Позена, она приказала отслужить благодарственный молебен в петербургском Казанском соборе: войскам и народу, присутствовавшему на этой религиозной церемонии, не сообщили ничего о причине, по которой царица велела отслужить молебен, а после, чтобы успокоить народное любопытство, распространили слух, что он был по случаю большой победы, одержанной на Кавказе.

В сентябре комиссия окончила следствие по делу Петрашевского. 23 человека были преданы чрезвычайному военному суду; остальные были выпущены из казематов Петро-

павловской крепости, где провели предварительное заключение, и бо́льшая часть была сослана в «места не столь отдаленные», с обязательством поступить на казенную службу «регистраторами» или писцами. (Официальный доклад выражает это так: «Все лица, признанные вовлеченными в преступные намерения другими либо случайно, либо по их легкомыслию, были, по высочайшему повелению, освобождены от всякого дальнейшего законного преследования».) Что касается 23-х, преданных суду, то все думали, что их приговорят, самое большее, к отдаче в солдаты на Кавказ или в крайнем случае к ссылке в Сибирь на поселение. Таково было, повидимому, и намерение судной комиссии под председательством генерала Перовского (брата министра внутренних дел). Но государь, узнав об этом, пришел в ярость: «Если суд будет столь милостив, то мне останется, действительно, пользуясь правом помилования, совершенно простить преступников! Но разве судьи не знают, что подобное добродушие с их стороны представляет собой захват права помилования, которое является прерогативой монарха? Суд должен применять закон во всей строгости, а уж мое дело обратить внимание на смягчающие обстоятельства!». Поэтому царь приказал возобновить процедуру суда и судить на этот раз не по общему уголовному своду, а по военным законам. Суд приговорил всех к расстрелу. Это решение проникло в публику лишь 23 декабря 1849 г. (4 января 1850).

В этот день, когда утренний туман еще не успел рассеяться, войска большими колоннами выстроились на Семеновском плацу. Они образовали параллелограмм вокруг эшафота, состоявшего из подмостков, к которым приделано было семь виселиц. Вокруг войск, на широком расстоянии, городовые образовали цепь, чтобы удерживать народ, который стекался массами, желая видеть даровое зрелище, преподносимое ему...

Около восьми часов показался ехавший быстрой рысью кортеж, который открывался отрядом жандармов с обнаженными шашками; за ними следовала двадцать одна карета, по одному осужденному в каждой [1]), под стражей двух солдат внутри и двух жандармов верхами около дверцы; окна карет были закрыты и замерзши, так что через них нельзя было

---

[1]) Из двух остальных обвиненных следственной комиссией, один был оправдан судом,—в официальном отчете мы увидим, что сделал государь; другой сошел с ума во время процесса. А. И. Г.

видеть лица заключенных; процессия замыкалась вторым отрядом жандармов. Заключенные не знали, с какой целью заставляли их делать эту прогулку. Привезя на Семеновский плац, их поставили на эшафот и прочитали смертный приговор, вынесенный судом; затем на них надели саваны с капюшонами, падавшими на лицо, и поставили по-трое к виселицам. Хрипло прозвучал рожок—был сильный мороз; прокатилась барабанная дробь; из рядов каждого батальона вышли солдаты с ружьями, приблизились к осужденным и стали целиться. Воцарилось гробовое молчание... Но отчего солдаты так долго не стреляют? Может быть, для того, чтобы продлить у осужденных предсмертную тоску? Петрашевский, всегда верный себе, приподнял капюшон, чтобы посмотреть, что происходило вокруг.

Наконец, становится известно, что все это было простым фарсом, декорацией, лишним парадом, устроенным государем. Генерал Ростовцев объявляет приговоренным, что царь дарует им жизнь. Напрашивалась мысль, что из всех генералов был выбран именно этот для объявления милости потому, что он был заикою. Солдаты возвращаются в строй, а преступникам читается указ, которым государь, по своей неизреченной доброте, заменяет смертную казнь для одних каторжными работами в сибирских рудниках, для других—зачислением в дисциплинарные роты, для третьих—отдачею в солдаты на Кавказ и киргизские границы.

Почему же царь не обошелся с этими людьми так же, как с поляками? Это объясняют тем, что несколько недель назад он узнал, что австрийское правительство велело повесить всех венгерских офицеров, которые сдались Паскевичу, хотя Паскевич ходатайствовал за них в Вене, а с мятежниками, которые сдались австрийским генералам, поступило менее строго; царь был оскорблен этим, считая такой способ действий «неслыханным», и, в то время как гр. Толстой начал писать свои «Донесения о действиях русской армии в Венгрии» [1]), он сам захотел пристыдить венский кабинет своим «милосердием» по отношению к заговорщикам.

---

[1]) В «Indépendance Belge» (последние числа октября) сообщают из Вены, что гр. Толстой приступает теперь ко второму изданию этого сочинения, и что предисловие будет раскаянием, которое делает честь правдивости автора. Он скажет там, что все написанное им о недоверии австрийцев к русской армии было заблуждением. Если бы можно было допустить, что гр. Толстой пишет сам от себя, то его отпирательство могло бы служить dпимером для шпионов, чтобы они осторожнее писали свои доносы. А. И. Г.

Когда чтение акта о помиловании было кончено, на Петрашевского надели костюм каторжника и кандалы. Осматривая себя в этом одеянии, он сказал, улыбаясь: «Ей-богу, как они умеют одевать людей! В таком костюме делаешься противен сам себе!». Генерал Греч, помощник командира, плюнул ему в лицо и воскликнул: «Экий ты негодяй, сукин сын!»—«Сволочь,—ответил Петрашевский, у которого руки были уже закованы,—хотел бы я видеть тебя на моем месте». Его бросили в сани и повезли прямо в Сибирь, в свинцовые рудники. Когда сани тронулись, какой-то неизвестный, выйдя из толпы, снял с себя меховую шапку и шубу и бросил их Петрашевскому. Генерал Греч умер вскоре после этого.

Остальные двадцать были отведены с Семеновского плаца в Петропавловскую крепость, где они сидели во время процесса. Их отъезд был назначен на следующий день. Родственники думали, что им будет позволено, как это делалось со времени приговора заговорщикам 14 декабря 1825 г., проститься с осужденными, и столпились около крепости. Но комендант Набоков объявил им, что не может разрешить свиданий, не получив предварительно разрешения от государя. А как добиться его? Обратились к графу Орлову, человеку, которого Николай представлял неаполитанскому королю, как «своего близкого друга». Граф Орлов совершенно отказался передать государю просьбу несчастных родственников. Попробовали просить императрицу ходатайствовать за них перед царем,—она тоже побоялась. Тогда, в отчаянии, родственники бросились опять к генералу Набокову. Наконец, этот ворчун 1812 года, который за свирепой солдатской и отталкивающей внешностью скрывал не вполне извращенное и полное благочестия сердце, решил осмелиться и, осенив себя крестным знамением, рискнул войти в кабинет царя. Он получил милостивое разрешение дать родителям проститься с детьми. Но так как один из осужденных, лейтенант Монбелли, после мучений, которые он претерпел во время следствия, страдал от костоеды, а Набоков отправил его в военный госпиталь прежде, чем сослать его при морозе в 23° Р. в рудники, то, несмотря на орден, полученный им за следствие, в котором он председательствовал, государь сделал ему строгий выговор за такую мягкость по отношению к государственному преступнику.

Министр внутренних дел Перовский имел удовольствие видеть 11.000 листов, заполненных протоколом дела, и не менее 500 арестованных, из которых 22 были наказаны пу-

блично, а вдвое большее число сослано без суда. За это он получил титул графа. Но помощнику его, Липранди, досталась в награду только тысяча рублей. Он тяжко заболел; поднявшись же с одра болезни, пришел в канцелярию министерства внутренних дел и грозил скоро представить новые и еще более неопровержимые доказательства слепоты полицейских агентов графа Орлова.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. Н. ЯХОНТОВА [1]

Наш класс в начале учебного курса был довольно многочислен; большинство училось хорошо, но двенадцать наших товарищей, отчасти по малоспособности, отчасти по лености, были слабы по всем почти предметам. Они держались особой кучкой, попадавшейся в разных шалостях, а потому начальство, чтоб разъединить их, подчинило каждого особому надзору одного из добропорядочных учеников. Так как я считался одним из таковых, то и на мою долю досталось наблюдение за учением и поведением во время классных занятий за одним из 12 апостолов, как мы в шутку называли их. Его посадили на классной скамье рядом со мной; я был его репетитором и ментором, и, хотя заботы мои о нем были не совсем безуспешны, но полюбить я его не мог. Это был Михаил Петрашевский, стяжавший себе впоследствии печальную известность, как глава революционного общества его имени, сосланный и умерший, кажется, в ссылке. Впрочем, мое менторство продолжалось недолго; Петрашевский, как и прочие одиннадцать, не был переведен в следующий класс и через год или два был исключен, или взят из лицея отцом—не помню. Он не был симпатичен: не увлекаясь добрыми, веселыми порывами товарищей, он выкидывал иногда неожиданные, эксцентрические штуки, не вызывавшие ни в ком из нас даже смеха, не

---

[1]) А. Н. Яхонтов. «Воспоминания царскосельского лицеиста». 1832—1838 г.г. «Русск. Стар.», 1888, X, 106—107.

Начиная с этих воспоминаний до Отдела II-го идут воспоминания лиц, чуждых и кружку Петрашевского, чуждых и самому духу его. Большинство из них относится к Петрашевскому с неодобрением и непониманием; особенно выделяется своим несправедливым и циничным пристрастием Бакунин. Воспоминания эти показательны для отношения к петрашевцам окружавшей их непроницаемой среды и интересны как живое отражение современных толков, сплетен и слухов о них. Ред.

выказывал ни особенных способностей, ни оригинальности ума. В голове его, уже в ту пору, начинался какой-то сумбур, и он часто поражал меня непоследовательностью, нелогичностью своих слов и поступков. Держал он себя неряшливо и неопрятно, ни с кем не дружился и вообще не был любим товарищами, находившими в нем мало порядочности. Впоследствии я встречал его на улице в Петербурге в каком-то невозможном, чуть не в шутовском костюме, и, наконец, совершенно потерял его из виду.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ К. ВЕСЕЛОВСКОГО [1]

Конец 1849 года был отмечен печальною историею, известною под именем «дела Петрашевского». Оно выдвинуло из неизвестности человека, вовсе не рожденного для того, чтобы занимать какую-либо роль на исторической сцене. И единственно сцеплению особых обстоятельств обязан он тем, что стал своего рода известностью. Судьба как бы сама взялась сделать то, о чем он всегда думал и чего всегда желал—быть не так, как все люди.

Я знал Петрашевского с лицейской скамьи; мы были товарищами, хотя и не однокурсниками: я был IX курса, выпущенного в 1838 году, а он—X курса выпуска 1839 года. В его курсе, состоявшем из 20 воспитанников,—в числе которых были А. В. Головнин, М. Хр. Рейтерн, барон А. П. Николаи и др.,—он один выпущен с чином XIV класса. При его несомненно хороших способностях и живости ума, и при той легкости, с какою в тогдашнем лицее, при тогдашнем не очень значительном объеме всего преподавания, можно было приобрести при выпуске и более высокие чины, выйти коллежским регистратором—это нельзя иначе назвать, как «быть не как все».

Что не недостаток способностей был причиною такого фиаско окончания Петрашевским лицейского курса, доказательством служит то, что он тотчас после выпуска, пользуясь правом, которое в то время было предоставлено лицеистам, поступил в Петербургский университет, и не далее как 19 августа 1841 года советом университета удостоен, по успехам в науках, степени кандидата юридического фа-

[1] К. Веселовский. «Воспоминания о некоторых лицейских товарищах». (Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский) «Русск. Стар.» 1900, сентябрь, стр. 449—456.

культета. Поступив на службу в министерство иностранных дел по департаменту внутренних сношений, он в 1840 г. определен третьим переводчиком, а в 1843 году перемещен во вторые переводчики.

В бытность свою в лицее Петрашевский отличался такими странностями, что в общем мнении товарищей он слыл за взбалмошного и вздорного мальчишку. Он производил впечатление избалованного «матушкина сынка», которого в детстве слишком захвалили и который привык считать дозволительною всякую свою фантазию. У таких детей легко развивается непомерное самолюбие и самонадеянность, особенно же, если те годы, в которых человек всего сильнее испытывает на себе влияние окружающей среды, протекли в семействе, незнакомом с правилами благовоспитанности, уже смолоду дисциплинирующими с некоторой стороны нашу волю и приучающими нас даже во внешности и в самых незначительных поступках не позволять себе ничего, что по принятым обычаям считается неприличным. Эти две причины—избалованность и неблаговоспитанность, в связи с чрезмерным самолюбием, выродились у Петрашевского в несчастную страсть—оригинальничать, которая и погубила его. Он всегда и везде, где только мог, старался «не быть как все». Так, будучи чиновником такого министерства, в котором корректность в костюме считается строго обязательною, он ходил по улицам в каком-то широком плаще и в шляпе с самыми широкими полями—в настоящем сомбреро, скандализируя тем своих сослуживцев-дипломатов и с явным намерением обратить на себя внимание полиции, так как и в высшем правительстве не очень благосклонно смотрели на всякие эксцентричности в костюме на улицах. Однажды какой-то тароватый француз привез из Парижа модную новинку, которую надеялся пустить в ход в Петербурге,—мужские шляпы, у которых верх тульи состоял не из круга, как у теперешних цилиндров, а из квадратного четвероугольника, как у уланских шапок,—и первым, явившимся в такой смешной обновке на Невском в часы наибольшего там оживления, был, конечно, не кто иной, как Петрашевский. Приятели смеялись над ним, и это его тешило. Один из них, Я. Т. Спешнев[1]), говаривал ему: «Ты, дружище, делаешь все возможное, чтобы быть высеченным в полиции, а полиция тебя презирает и не хочет тебя сечь. Ведь это, как ты себе хочешь, а обидно для тебя».

[1]) Яков Тимофеевич, лицеист вып. 1842 г. Ред.

В то время гражданские чиновники не могли носить бороды, усов и длинных волос на голове, а Петрашевский, из погони за оригинальностью, отростил себе длинную шевелюру и с кудрями по плечам явился на службу в министерство. Директор департамента долго косился на него за это, но так как Петрашевский не хотел понять этих немых внушений, то директор поручил одному из чиновников передать ему уже на словах совет остричься. На другой день Петрашевский является с теми же длинными волосами, и директор, выведенный из терпения, уже сам обратился к нему с укоризной за неисполнение приказания.

— Я не только исполнил приказание вашего превосходительства,—отвечал Петрашевский, приподнимая на голове парик,—но и обрился.

Подобные выходки были его обыкновенным занятием.

Все это были школьничества и глупые школьничества, недостойные взрослого человека, но они рисуют вполне Петрашевского: его вечную страсть оригинальничать, простиравшуюся до того, что он не чувствовал, как делается через то смешным и жалким. Весь он был каким-то умственным недоноском, неспособным сообразовать свои поступки с разумно сознанною целью. Он много читал, но все прочитанное не претворялось в его уме в связное целое и не шло на образование твердых убеждений. Живи он в более спокойное время, он вероятно свековал бы благополучно, с незавидною репутациею смешного, но безвредного чудака. А между тем, обстоятельства времени, в котором ему, волею судеб, пришлось жить, сделали его героем трагедии, внесшей его имя в историю, как государственного преступника, хотя и комического, по выражению барона М. А. Корфа.

Петрашевский, выйдя в свет из стен лицея, должен был ощущать недостаток в обществе. Как актеру нужны зрители, так ему нужны были люди, перед которыми он мог бы рисоваться своею эксцентричностью. Не имея большой родни, лишенный даже приятельских отношений к школьным товарищам, которые для вступающего на жизненное поприще обыкновенно составляют первое общество, но с которыми у него никогда не было особого сближения, он задумал сам создать вокруг себя свое общество и уже с 1845 года завел у себя «пятницы», т.-е. то, что в свете называется jours fixes, с тою разницею, что в свете такие жур-фиксы для людей в известном положении, имеющих большой круг знакомства, служат средством поддержания

общественных связей, тогда как Петрашевский, наоборот, еще сам должен был вербовать для себя знакомых для того, чтобы «пятницы» могли состояться. И какие же знакомства мог он делать—человек без всякого общественного положения, не представлявший и сам собою, за исключением странностей, ничего интересного и привлекательного! Легко себе представить, что такое были эти справа и слева без разбора нахватанные знакомства—большею частью такие же юнцы, как он сам, из разных слоев общества, разных профессий и званий, люди, случайно встреченные где-нибудь и зазванные на чашку чаю,—молодежь, еще не слишком занятая серьезным делом и не знающая подчас, куда сунуться вечером, штатские и военные, молодые офицеры и юнкера, учителя и студенты, новички в службе по министерствам, в особенности по департаменту внутренних сношений, сослуживцы Петрашевского. Между всеми ими было только одно общее: юность, еще не тронутая опытом жизни, юность до глубины мозга, которой все еще кажется легким и возможным, которой еще «море по колено». Нетрудно себе представить, чем могли быть разговоры в такой разнохарактерной и разношерстной компании, собиравшейся у Петрашевского, когда «язык без костей», не умудренный еще жизненным опытом, был выпускаем в четырех стенах на полную свободу, вне всяких стеснений не только со стороны полиции и цензурной ферулы, но иногда даже и здравого смысла. Тут даже и люди, обыкновенно очень смирного образа мыслей, могут в жару задорного спора высказывать такие мнения, которые, если бы были в то время зачерчены незримым фонографом, показались бы им самим сумасбродными. А мы знаем из показания Ф. М. Достоевского, одного из участников «пятниц» Петрашевского, какую роль играли споры в этих собраниях. «В обществе, которое собиралось у Петрашевского,—говорит Достоевский [1]),—не было ни малейшей цельности, ни малейшего единства ни в мыслях, ни в направлении мыслей. Казалось, это был спор, который начался один раз с тем, чтобы никогда не кончиться. Во имя этого спора и собиралось общество,—чтобы спорить и доспориться. Без споров у Петрашевского было бы чрезвычайно скучно, потому что одни споры и противоречия и могли соединить этих разнохарактерных людей. Говорилось обо всем и ни о чем исключительно, и говорилось

---

[1]) «Космополис», сентябрь 1898 г., стр. 206.

так, как говорится в каждом кружке, собравшемся случайно... Я участвовал иногда в спорах у Петрашевского... и не пугался, когда слышал иное горячее слово... в уверенности, что тут дело происходило семейственно, в кругу общих знакомых и приятелей, а не публично».

Сам Петрашевский был страстный спорщик. Еще в лицее особым удовольствием его было заводить диспуты со своими товарищами, а один из гувернеров, добрейший Алексей Иванович Кох, бывал нередко его жертвою; это был человек болезненно-нервный и поэтому легко раздражавшийся, и Петрашевский забавлялся тем, что, заведя с ним какую-нибудь беседу, доводил его своими возражениями и софизмами до крайнего исступления, до «белокалильного жара», к явному вреду для его здоровья. Достоевский, в вышеупомянутом его «показании», говорит, что Петрашевскому было тягостно вести с ним продолжительный разговор, и они оба опасались долго заговариваться друг с другом, так как с десятого слова они бы оба заспорили, а это уж надоело.

Сороковые года были во Франции, как известно, временем особенного оживления в области политико-экономических наук и появления разных теорий и систем, порожденных желанием найти средства для избавления человечества от зол пауперизма и пролетариата. Таковы были возникавшие тогда учения сен-симонизма, коммунизма, кабетизма, фурьеризма et tutti quanti. Все это были самые несбыточные утопии, грешившие тем, что они были придуманы не для людей, существующих в действительности, а для каких-то идеальных людей, никогда не существовавших и какими они и впредь по всей вероятности никогда существовать не будут. Одному наиболее фантастическому из этих учений, фурьеризму, посчастливилось особенно понравиться Петрашевскому, и он, как человек вечно суетящийся, вечно набирающий на себя какие-нибудь хлопоты, хотя бы и самые ненужные, вспал на странную мысль распространять у нас учение фурьеризма, очевидно, сам его хорошенько не понимая и не замечая, что в этой утопии, достаточно осмеянной и освистанной даже в самой Франции, у нас никому не было никакой надобности. В своем ослеплении красотами фаланстерии, Петрашевский в роли пропагандиста фурьеризма проявил всю суетливость своей натуры, раскрывая прелести этой доктрины посетителям своих пятниц, заводя у себя для них целую специальную библиотеку,

для раздачи из нее для прочтения книг кому только можно, знакомым и полузнакомым, устроил 7 апреля 1849 года в честь Фурье, в день его рождения, обед с торжественными тостами и речами, да еще какими! И все это творилось с большою серьезностью, с чувством исполнения какого-то великого подвига, как-будто дело шло о каком-то особенно важном предмете, а не о невинных фантазиях добродушного французского мечтателя. Если величайший комизм заключается в никому ненужной деятельности, то можно сказать, что Петрашевский в роли пропагандиста фурьеризма осуществил в себе, в иной рамке и toute proportion gardée, комический тип, сродный тому, какой создан Сервантесом в его бессмертном «Дон-Кихоте».

Не довольствуясь приобретением себе адептов в среде интеллигентной, Петрашевский пробовал проводить излюбленную им доктрину и в более простые души, полагая, повидимому, что для восприятия его проповеди довольно иметь уши. Собрав однажды дворников домов своих и соседних, он прочитал им лекцию о фурьеризме и спросил: «поняли, ребята?».

— Поняли, сударь, поняли, как не понять!

Довольный таким ответом, Петрашевский дал им по двугривенному на брата и пригласил притти еще в другой раз и привести с собою и других своих товарищей. Когда они снова пришли к нему, он, «дав волю слов течению», угостил их еще более длинною лекциею и, отпуская, дал им по пятаку.

— Барин!—сказали они,—это маловато будет; мы у вашей милости пробыли ноне долее, чем в первой, а получили меньше!

Когда потом у них спрашивали, что говорил им барин, они отвечали:

— Что говорил! Известно, барин балует; работы никакой мы у него не делали, а денег дал невесть за что.

Не знаю, так ли это было; по крайней мере, так рассказывали смеясь в городе о подвигах этого забавного пропагандиста. Если так, то, значит, Петрашевский на полстолетие упредил Нехлюдова, объяснявшего своим крестьянам прелести теории землевладения американца Жоржа.

Я не виделся с Петрашевским с самого лицея; не случалось ни разу встретиться с ним где-нибудь ни в обществе, ни даже на улице; поэтому был несколько удивлен, когда он, в один прекрасный день, в феврале 1849 года пришел

ко мне и после первых приветствий сказал: «а я принес тебе хорошую книжку, не хочешь ли почитать?». Взглянув на заглавие, я увидел, что то было сочинение Фурье, уже достаточно мне известное. Поэтому я его поблагодарил за его желание меня просветить, но сказал, что книжка мне не нужна, потому что я уже ее знаю.

— Ну, так возьми ее и сообщи кому-нибудь из своих знакомых; книжка запрещенная, и не всякий может ее достать, поэтому кому-нибудь из твоих знакомых было бы, может быть, интересно ее почитать.

На такое странное предложение я отвечал, что таких знакомых у меня нет, и отказался принять книжку. Посидев у меня немного и видя, что разговор между нами как-то не клеился, он собрался уйти, но перед уходом просил бывать у него, при чем сообщил, что по вечерам, в пятницу, он бывает всегда дома и рад принимать своих добрых приятелей.

Чтобы не показаться гордецом и неучтивцем, я несколько времени спустя отправился к нему отдать визит вечером в пятницу, в исходе февраля или в самых первых числах марта. Он жил в своем собственном доме, где-то в Коломенской части. Было довольно рано, и я застал у него еще небольшое общество: один юнкер, какой-то студент и какой-то бледнолицый юнец,—вот и все; но всего больше меня поразила та обстановка, в которой Петрашевский принимал этих «своих добрых приятелей». Это была одна средней величины комната, в которой всю мебель составляли старый диван, покрытый грязным ситцем, очень жесткий для сидения, повидимому, набитый мочалами, несколько грошовых рыночных стульев, старый стол, на котором стояла одна сальная свечка, составлявшая все освещение комнаты. Такая обстановка у человека, несомненно, очень достаточного, являлась чем-то умышленным, преднамеренным,—отпечатком страсти хозяина оригинальничать, «быть не как все». У него было в то время, как значилось в его послужном списке, в Петербурге два дома—один каменный, другой деревянный, пустопорожнее место, а в Петербургской губернии 250 душ крестьян, да у матери его было в Новгородской губернии 150 душ и в Петербурге два каменных дома.

Вступая в такое неожиданное общество, в неожиданной обстановке, я не мог в первую минуту достаточно овладеть собою, чтобы скрыть свое изумление, и это, кажется, было замечено присутствовавшими; и как мы ни пытались завязать, из приличия, какой-нибудь разговор на самые ходячие

банальные темы, ничего не выходило; чувствовалась с той и другой стороны какая-то натянутость, не позволявшая нам разговориться. Впрочем, пробовал говорить о чем-то один Петрашевский, а его «добрые приятели», юнцы, сколько помню, почти не раскрыли рта. Посидев немного, сколько требовала учтивость, я выдумал какой-то предлог, чтобы сократить свое посещение, и распростился с Петрашевским, которого я потом уже ни разу не видал. И благо мне было; видно, я родился под счастливою звездою. Впоследствии оказалось, что та пятница, в которую я так неудачно сунулся к Петрашевскому, была одною из последних, если даже не самою последнею, перед пятницею 11 марта 1849 года, с которой начал постоянно посещать собрания у Петрашевского особый тайный агент, составивший тот список всех участников этих собраний, который послужил первою основою сперва для следствия, а потом для суда над ними.

О пятницах Петрашевского знал весь город, но знал так, что о них говорили не иначе как смеясь; знала о них и полиция, которая не упускала их из виду, но не находила в них ничего такого, что требовало бы ее вмешательства и репрессии. Но настал 1848 год, грянула в Париже февральская революция со всеми ее последствиями, и картина переменилась. Роль, какая в эту революцию выпала на долю коммунистов, бросила черную тень и на фурьеризм. Пропагандирование этой мирной системы, казавшееся дотоле лишь комическою затеею чудака, получило значение дела опасного для государственного спокойствия. Безумные разговоры, бывшие у неразумных посетителей «пятниц» Петрашевского, сделались предметом ближайшего наблюдения, а потом обширного следствия, которым, по замечанию М. А. Корфа, «обнаружено, что дело отнюдь не имело ни такой важности, ни такого развития, какие вначале придавали ему слухи, и что все дело представляло более вид безумия, нежели преступления». О докладе, представленном по делу Петрашевского следственною комиссиею, барон Корф в своих «Записках» говорит, что «члены называли это дело—заговором идей, чем и объясняли трудность дальнейших раскрытий: ибо если можно обнаруживать факты, то как же уличить в мыслях, когда они не осуществились еще никаким проявлением, никаким переходом в действие»[1]).

---

[1]) «Русск. Стар». 1900, май, стр. 278 и 279.

«Дело Петрашевского» кончилось 22 декабря 1849 г. на Семеновском плацу сценою, рельефно описанною бароном Корфом, и в этот же день 28-милетний виновник этого дела отправлен на бессрочные каторжные работы в рудниках Сибири, где и умер в 1866 году.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. В. СЕМЕВСКОЙ [1]

В своих воспоминаниях о моем брате К. С. Веселовский, указывая на бедность обстановки его квартиры, видит в этом желание хозяина оригинальничать. При этом автор воспоминаний подкрепляет свое мнение тем, что по послужному списку значилось, что брат имел два дома в Петербурге, пустопорожнее место и 250 душ крестьян.

По поводу последних замечаний автора воспоминаний считаем долгом сказать, что финансовое положение брата было всю жизнь очень плохо, так как по выходе из лицея и по окончании курса в университете покойный Михаил Васильевич не был отделен и не имел, что называется, своего гроша. Все зависело от нашей матушки, особы очень крутого характера, и находилось в ее руках. Я считалась ее любимицей, и, однако, не запомню и одной ласки, а Михаил Васильевич едва ли пользовался прерогативами избалованного сына. Хорошо помню ежедневные семейные сцены из-за получения от матушки 3—4-х рублей, на которые ею постоянно требовались расписки, чтобы представить их при предполагаемом разделе имущества: имение было не разделено, а нас было четыре сестры.

У матушки было два каменных дома в Петербурге и имение в Вологодской губ.; общее же наследство, неразделенное по смерти отца (в 1845 г.), состояло из двух домов, каменного и деревянного, в Коломне, на Покровской площади, где и был арестован Петрашевский (живший на отдельной квартире), и имение в Новоладожском уезде, Петербургской губ., в котором было 240 или 250 душ с 8 тысячами десятин земли. Имение не приносило почти никакого дохода, а Михаилу Васильевичу было дано из него два или три человека в услужение.

Мать часто и резко упрекала Михаила Васильевича за

[1]) А. В. Семевская, урожд. Буташевич-Петрашевская. «Заметки о М. В. Буташевиче-Петрашевском». «Русск. Стар.», 1901. № 2, стр. 493.

то, что он тратит деньги на выписку и покупку никому ненужных книг. Вероятно, все получаемое он издерживал на книги, вследствие чего в остальных тратах он должен был быть крайне экономным и довольствоваться самым необходимым, не допуская никакой роскоши. Но на книги Михаил Васильевич денег не жалел, и мне он нередко дарил их, напр., «Petit Buffon illustré», сочинения Lamennais и др.

В начале второй половины 50-х годов Петрашевский, превратившись из ссыльно-каторжного в поселенца, поселился в Иркутске. Он был хорошо принят у генерал-губернатора Муравьева, у которого в то время самым близким лицом был М. С. Корсаков. Михаил Васильевич умел подмечать смешные стороны людей и, высказывая их, платился за это. Он часто называл М. С. Корсакова почтовой лошадью, так как он шестнадцать раз ездил курьером в Европу. В 1860 г. Корсаков, замещавший тогда Муравьева во время его отсутствия, сослал Петрашевского в Минусинский округ. В 1863 г., когда Корсаков уже был генерал-губернатором Восточной Сибири и приехал в Петербург, я ездила просить его дать о Петрашевском хороший отзыв, так как кн. Долгорукий, тогдашний шеф жандармов, обещал мне отпустить его на поруки, если местные власти дадут о нем хороший отзыв. Корсаков, узнав, что я сестра Михаила Васильевича, мне лично сказал: «Вы просите дать хороший отзыв о Петрашевском,—ну так знайте,—я ему припомню почтовую лошадь! Знайте, что, пока я буду генерал-губернатором, он никогда не услышит от меня хорошего слова». Мне оставалось только поклониться и уехать, а брат мой так и умер в 1866 году в глуши Енисейского округа, в селе Бельском, хотя всем его товарищам по ссылке было уже давно разрешено возвратиться на родину.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ П. К. МАРТЬЯНОВА[1])

Попадала молодежь и туда, где ей быть, казалось бы, не следовало. Мы разумеем квартиру известного агитатора Михаила Васильевича Буташевича-Петрашевского. По рассказу участника события, вот как это случилось с ними. В зиму 1848—1849 г. ротмистр, светлейший князь В—н, чуть ли тогда уже не флигель-адъютант, ухаживал за одной из се-

---

[1]) П. К. Мартьянов. «В переломе века». «Ист. Вестн.» 1895, 10, стр. 143, 144.

стер гардемарина Бр(ылки)на. Пригласив однажды его и его сотоварища, кн. Х(ованско)го, прокатиться с ним в его экипаже, он предложил им дорогой заехать в общество избранных молодых людей, известных высшим просвещением и либеральным образом мыслей, где можно весело провести время и сделать хорошее знакомство, которое иметь никому и никогда не мешает. Конечно, молодые люди приняли предложение с восхищением и, сделав прогулку и отобедав у князя, они поехали по приглашению. В квартире Петрашевского, довольно хорошо меблированной и освещенной, они встретили человек 10—15 гостей. Князь В. представил кадет хозяину дома, и затем они прошли в кабинет, а кадеты остались в зале. Посреди зала стоял большой раздвинутый и накрытый белой скатертью стол, на столе кипел самовар, стоял чайный прибор, вино в граненых графинах и разные закуски. Гости пили, ели, сидели и стояли кучками, говорили тихо, прохаживались и уходили. Всякий распоряжался сам, что кому нужно было, то и брал. Большинство собравшегося общества, по наружности, принадлежало к интеллигентному классу, но был как-будто и лавочник[1]). Военный элемент представляли два молодых безусых офицера, а прочие присутствующие были в штатском платье. Появление кадетских курточек привлекло общее внимание, их приняли очень ласково, закидали вопросами и старались угостить на-славу. Но взаимных представлений никаких не состоялось, все говорили, как старые знакомые, и расходились, не прощаясь, так что гардемарины возвратились домой, не зная, с кем провели вечер.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. Г. РУБИНШТЕЙНА[2])

А вот еще история из того же злополучного 1849 года.

Приезжала в Петербург София Борер (Sophie Bohrer), та самая знаменитая пианистка, которая еще в детском возрасте давала с успехом концерты. Давно с ней знакомый, я стал ее посещать и в первый же визит встретил у нее в студенческом костюме какого-то господина. Не назову его фамилии, быть может, он еще жив и в таком случае, конечно, давно генерал, а быть может, и умер. Он поспешил со мной познакомиться; отнесся ко мне с большим внима-

[1]) Очевидная реминисценция из процесса. Ред.

[2]) «Русская Старина», 1889, ноябрь, стр. 539—540.

нием, разыскал мою квартиру и, видимо, стал втираться в мое знакомство. Речи он вел в таком роде, что вот-де «вы приехали из самых интеллигентных стран, приехали в Россию, где ничего отрадного не найдешь, даже в интеллигенции; из стран движения и прогресса—прибыли вы прямо в глушь, но, что, впрочем, и здесь, если вам то желательно, я готов вас ввести в такой кружок, где вы отведете душу в беседах о предметах, вас интересующих»...

Я, ничего не подозревая, отвечаю, что очень буду рад познакомиться с образованными людьми.—«Ну и прекрасно, едемте в эту субботу».—Приезжает он в назначенное время, везет меня куда-то на конец Большой Садовой улицы, за церковь Покрова; вводит в какую-то квартиру, и там мы находим большое собрание мужчин, молодых и пожилых, военных и статских; из военных помню одного, то был Пальм, но я все не вижу хозяина. Спрашиваю о нем, мне отвечают: «подождите, увидите, нас всех позовут». Наконец, раздается звонок, распахиваются двери, и мы входим в большую комнату, где перед эстрадою стоит ряд стульев, как в концерте. На эстраду входит красивый мужчина с бородой и начинает читать что-то вроде социалистического и коммунистического трактата,—сколько помню, печатное. Все это меня чрезвычайно удивило, и я не скрыл своего удивления от соседей.—«Вот не ожидал,—говорю я,—встретить что-либо подобное здесь в России! Я понимаю, что такие чтения и такие мысли и принципы высказываются за границей, там есть для этого почва, условия быта и строй общественный совершенно другие; но у нас в России всем этим принципам не может быть места! И строй нашей жизни и наши учреждения нимало не подходят к тому, чтобы у нас развивались идеи, подобные тем, какие нам здесь читают!».

Высказал я это, не обинуясь, всем, кто хотел меня слушать на этом вечере—у Михаила Васильевича Буташевича-Петрашевского,—то был он,—и, можете представить, это только обстоятельство меня, как надо полагать, и спасло впоследствии! Впрочем, Петрашевский бывал у меня потом, на квартире Лури, на Большой Морской, где давал мне читать разные либеральные на иностранных языках книги, мы с ним толковали о конституции, о парламентах и проч.

Я вскоре уехал в Москву, и здесь матушка однажды говорит мне: «Слышал ты, что делается в Петербурге? Арестован какой-то Петрашевский и с ним много разных лиц, его посещавших. Эти господа составили какое-то тайное об-

щество и вот засажены в крепость». Можете представить себе, как встряхнуло меня это известие! Не без робости возвратился я тогда из Москвы и с тревогою ждал, что вот-вот меня арестуют. Встречаю своего знакомца, того самого студента, который возил меня к Петрашевскому; вижу, он гуляет по Невскому, не арестован, так же ко мне внимателен, но я уже был с ним осторожнее... Видимо, что меня спас мой отзыв о слышанном чтении.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ В. Р. ЗОТОВА [1])

До нас все эти европейские волнения нисколько не касались, мы только с любопытством следили за ними из нашего «прекрасного далека». Не было у нас ни рабочего вопроса, ни пролетариата, ни демократии, ни политических и социальных партий: последнее восстание в Польше было потушено 18 лет назад, последний заговор уничтожен почти четверть века назад. И вдруг в Петербурге, в конце апреля, разнесся слух об открытии какого-то социалистического заговора. Как всегда в подобных случаях, при полном отсутствии гласности, слухи приняли громадные размеры, фантастическую окраску. Говорили сначала о полсотне, потом о сотне арестованных, о чрезвычайно ловких действиях сыщиков, устроивших табачную лавочку в доме, где собирались тайные заседания, о разветвлении общества в провинции, о приезде в Петербург из Парижа двух последователей учения Прудона, о котором, как и вообще о социализме, даже высшее общество наше имело весьма смутные понятия. Исчезновение из небольшого кружка столичной интеллигенции некоторых известных лиц, как Достоевский, Плещеев, Дуров, Пальм, Европèус, Дебу, Белецкий, Щелков, Спешнев, Кропоткин, Ахшарумов, Григорьев, Кашкин, Монбелли, Львов, придавало правдоподобие городским слухам.

Главою тайного общества называли кандидата петербургского университета Михаила Васильевича Буташевича-Петрашевского, помещика и петербургского домовладельца. Это был мой товарищ по лицею, поступивший в один год со мною (1836) в царскосельское привилегированное заведение. Он принадлежал к XI курсу и был своекоштным воспитан-

---

[1]) В. Р. Зотов. «Петербург в 40-х годах». «Исторический Вестник», том 40, стр. 536—537, 539—545.

ником. Курса он, однако, не окончил[1]) и еще в первом классе, 15-ти лет, был отмечен гувернерами как воспитанник «крайне строптивого характера и либерального образа мыслей». Учился он хорошо, но держал себя как-то странно, даже по отношению к товарищам. Угрюмый, неразговорчивый, сосредоточенный в себе, он почти ни с кем не сближался и внеклассное время проводил не в беседах или играх, а уединялся в рекреационной зале или в саду, с книгой в руках. Столкновения с лицейским начальством, к которому он относился весьма недружелюбно и непочтительно, сделались наконец так часты и резки, что он должен был оставить лицей, не пробыв в нем полных двух лет. Он вышел в одно время с Михаилом Николаевичем Лонгиновым, и оба поступили вольнослушателями на юридический факультет Петербургского университета. Оба эти лицеиста, не кончившие курса, что было у нас большой редкостью, были в лицее очень близки между собою, несмотря на разницу в их характерах, и это сближение веселого, живого, добродушного Лонгинова, получавшего выговоры за слишком громкий смех, раскатывавшийся по лицейским залам, с вечно нахмуренным, несообщительным Петрашевским, грубо относившимся к своим воспитателям, поражало действительно своею странностью. Что было общего между этими двумя, совершенно противоположными темпераментами? Соединял ли их закон контрастов, нередко сближающий в жизни лица различных полов и характеров?—решать не берусь. Но в то время, когда никто не жалел об оставлении Петрашевским лицея, весь XI курс, даже все его гувернеры и лекторы высказывали искреннее сожаление о даровитом, симпатичном Михаиле Николаевиче Лонгинове, мать которого, Марья Александровна, следившая за воспитанием сына и часто посещавшая его в лицее, также пользовалась всеобщим вниманием. За Петрашевским приехала его мать, новгородская помещица, и он оставил лицей, ни с кем не простившись, тогда как Лонгинова провожал весь лицей...

...Не знаю, продолжались ли их близкие отношения в университете, но вышли они оттуда вместе в 1841 году, кончив курс, оба кандидатами, в то самое время, когда XI курс вышел из лицея. Петрашевского я не видал во все лет пять по выходе из лицея. В начале 1846 года он приехал ко мне—возобновить знакомство, как он говорил,—рассказывал о том,

---

[1]) Петрашевский окончил курс в 1839 г. с чином XIV класса. Ред.

что он зиму живет в Петербурге, а на лето уезжает в деревню к своей матери, что он много занимается изучением социальных наук, что у него по пятницам собирается небольшой кружок приятелей потолковать о современных вопросах, и убедительно просил навестить его в одну из пятниц. Я отвечал, что день этот для меня неудобен, так как и ко мне в пятницу приходят обыкновенно товарищи, пять-шесть литераторов, и мы тоже толкуем, но больше о литературе, читаем стихи, разбираем журнальные явления. Он изъявил сожаление, что это так неудачно пришлось, но все-таки взял с меня слово, что я приеду в один из назначенных дней, «как бы ни было поздно, послушать о чем беседуют, и, может быть, мне понравится». Я расспрашивал его о «Карманном словаре», второй выпуск которого был только что остановлен цензурою, а первый отобран из книжных магазинов. Петрашевский неохотно распространялся об этом издании, говорил, что его не так поняли, но обещал доставить мне оба выпуска—и исполнил обещание дня через два. Надо было отвечать на эту любезность—и я отправился к нему в ближайшую пятницу, часу в одиннадцатом. Жил он недалеко от меня, на углу Покровской площади и Садовой, в доме своей матери. Общество у него было довольно многочисленное, человек 20, все больше студенты, учителя, писатели. Я пришел поздно и застал только конец чтения какой-то записки, где дело шло о необходимости освобождения крестьян. Затем начались прения о прочитанном. Говорили, как всегда у нас, нескладно, длинно, неубедительно, горячась без толку, перебивая друг друга, поминутно отвлекаясь предметами, вовсе не идущими к делу, не умея ни возражать, ни выслушивать чужих доводов. Хозяин, из учтивости, конечно, спросил и мое мнение по этому вопросу.

— Не могу ничего сказать,—отвечал я,—не слыхав начала записки и не зная, на каких основаниях автор полагает устроить освобождение.

— Стало быть вы не сочувствуете великой идее эмансипации?—крикнул на меня кто-то, считавший своим долгом тотчас же обидеться.

— Странно было бы не сочувствовать такой идее,—отвечал я,—но дело тут вовсе не в нашем сочувствии, от которого крестьянам ни тепло, ни холодно, а в средствах осуществления идеи. Вот эти-то средства и следует обсуждать прежде всего, а не спорить о принципе, по которому не может быть разногласия.

Тут посыпались предложения всякого рода и возможные и совершенно фантастические, но все это было до того не разработано, не приведено в систему, не выяснено, а главное—до того непрактично, что поневоле приходилось вспомнить об одном месте, вымощенном добрыми намерениями, где хоть и больше огня, но, пожалуй, не меньше дыму, хоть и не табачного. А этот дым выжил меня из собрания раньше, чем я располагал, и мое участие в пятничных сборищах ограничилось этим первым и последним посещением старого товарища. Как все фантазеры, увлеченные одною господствующею у них идеею, он всегда был в каком-то возбужденном, ненормальном состоянии. У Петрашевского главною идеею было не уничтожение крепостничества, не гласность суда, не политические и конституционные вопросы,—к реформам управления, по свидетельству Достоевского, приводимому Орестом Миллером (см. «Материалы для жизнеописания Достоевского»), он был совершенно равнодушен: господствующею идеею его была фаланстерия Фурье, сен-симонизм, учение Овена, «Икария» Кабе. Это был восторженный приверженец всех теорий социализма, наивно веривший в возможность их осуществления даже на русской почве. Сообщу здесь то, что знаю о его опыте насаждения этого заморского плода в новгородских лесах. История первой фаланстерии в России мало кому известна и весьма поучительна.

Уверенность этого фанатического поклонника фурьеризма в том, что русский мужик способен проникнуться идеями фаланстерианского общежития и усвоить их себе, была до того велика в Петрашевском, что он задумал осуществить ее на деле еще в 1847 году, хотя и в незначительных размерах. Был у него недалеко от уездного города небольшой выселок в семь дворов, ютившихся на болоте, у опушки огромного соснового бора. Во всех дворах было душ сорок и с ребятами; земли было достаточно, с десяток лошадей, но коровы не приживались, да и жилье самих мужиков на болотистом грунте было неказисто, и хозяйство у них велось плохое: допотопные плуги и бороны работали плохо, избы подгнили, лес хоть под боком, да господский. Староста пришел просить бревен на починку развалившихся лачуг. Тогда барина осенила гениальная мысль: он повел беседу о том не лучше ли будет крестьянам вместо того, чтобы подновить свои избы на заведомо нездоровом месте, выстроить в бору, на сухой почве, одну просторную новую избу, где

бы поместились все семь семейств, каждое в отдельной комнате, но с одной общей кухней для стряпни и такой же залой для общих зимних работ и посидков, с надворными пристройками и амбарами для домашних принадлежностей, запасов и инструментов, которые также должны быть общими, как и вообще все крестьянское хозяйство. Барин долго развивал все выгоды такого общежития, обещая, конечно, все устроить на свой счет, купить заново все необходимые сельские орудия и домашнюю утварь: горшки, чашки, плошки. Староста слушал, «уставясь в землю лбом», с тою сосредоточенною миною русского мужика, по которой никак не узнаешь, понимает ли слушающий, что ему говорят, или думает о говорящем: «ничего-то, брат, ты сам не понимаешь и только вздор городишь». Он только низко кланялся при перечислении всех благ, какими барин сбирался наградить своих верноподданных в их новой жизни, и на все его вопросы «ведь, так будет не в пример лучше и выгоднее?»—отвечал: «воля ваша, вам лучше знать, мы люди темные, как прикажете, так и сделаем». Барин напрасно старался добиться от него самостоятельного мнения об удобствах такого общежития, напрасно ждал, когда в его верном Личарде «новгородская душа заговорит московской речью величавой»; Личарда только кланялся и повторял: «вы наши отцы, как положите—так и будет».

Нежелание мужиков изменить исконный, заповедный образ жизни было очевидно, хотя и не высказывалось прямо, но оно было так естественно, что барин не удивлялся этому, хотя и решил все-таки привести в исполнение свою идею, надеясь, что, испытав на деле все удобства нового рода жизни, они оценят заботы об улучшении их быта. От вековых привычек ототать нелегко. Крестьяне—те же дети, которых надо силою приучать к порядку, чистоте, опрятности. С манчестерским принципом: laisser faire, laisser aller тут ничего не поделаешь, и барин положил осчастливить детей природы вопреки их желаниям. «Не вытащить их из их болота, так они и совсем в нем завязнут»,—говорил он, и начал строить в лесу фаланстерию. Работа подвигалась быстро, и к зиме все было готово. Беседы и разъяснения шли своим чередом во время постройки. Несколько раз барин водил стариков в готовящееся для них помещение, знакомил их предварительно с его планом и расположением комнат, с новыми порядками, каким надо было следовать в общежитии, спрашивал, довольны ли они? Они ходили за ним по постройке

с видом приговоренных к тюремному заключению, бормотали угрюмо: «много довольны! Как будет угодно вашей милости!». При свидании со мной, Петрашевский не раз сообщал мне о ходе дела, обещал рассказать подробнее, как они начнут жить в новой обстановке с Рождества 1847 года. Прошло и Рождество, но он не показывался в Петербурге. После нового года я узнал, что он приехал, но ко мне не являлся. Еще через неделю я случайно столкнулся с ним на Невском.

— Что же ты не заходишь ко мне? Ведь ты же знаешь, как меня интересует твоя попытка,—сказал я.

Он казался сконфуженным и отвечал как-то неохотно:

— Да что, братец! Ты и представить себе не можешь, какие это дикари, сущие звери. Что они со мной сделали!

— Что же? Отказались переселиться в твою фаланстерию?

— Как же смели бы они это сделать, когда им приказывал барин?

— Так что же, наконец?

— Вообрази: накануне переезда я еще раз обошел с ними всю постройку, назначил каждой семье ее помещение, указал на все его удобства, выгоды, передал всю утварь, какую закупил для них, все инструменты, велел перевести с утра скот и лошадей в новые хлева и конюшни, перенести весь скарб и запасы в амбары. С сознанием исполненного долга и доброго дела оставил я их, обещая на другое же утро приехать к ним на новоселье из дома лесничего, где я обыкновенно жил во время моих поездок...

— Ну и что же?—спросил я, видя, что он остановился на последних словах, высказанных прерывающимся голосом.

— Приезжаю рано утром и нахожу на месте моей фаланстерии одни обгорелые балки. В ночь они сожгли ее со всем, что я выстроил и купил для них.

В тоне его голоса было столько горечи, столько разочарования, что я не мог смеяться над развязкой этой барской затеи на социальной подкладке. Но этот неисправимый фантазер, несмотря на неуспех своих попыток, упорно продолжал дело пропаганды, которою он думал осчастливить свое отечество. Он пробовал сначала сделать ее орудием педагогику и еще в 1844 году просил об определении его наставником в лицей, в чем, конечно, получил отказ. Несмотря на это, как старый лицеист, сохраняя по примеру всех лицеистов крепкие связи с заведением, давшим ему образова-

ние, он успел так повлиять на трех воспитанников, посещавших его по праздникам, что «в них обнаружилось скептическое направление мысли относительно предметов веры и существующего общественного порядка». Это свидетельствует и записка следственной комиссии, полученная Вас. Ив. Семевским из редакции «Русской Старины», несколько раз цитируемая в его замечательном труде «Крестьянский вопрос в России», где делу Петрашевского посвящена особая глава, XII, представляющая обстоятельные сведения по этому предмету («Русская Старина» напечатала еще в 1872 году обширную, хотя и одностороннюю, записку И. П. Липранди по делу Петрашевского). В. И. Семевский говорит, что из троих лицеистов, увлеченных учением Петрашевского, один был исключен из заведения, а другой подвергнут исправительному наказанию. Почтенный автор «Крестьянского вопроса» приписывает также слишком много значения «Карманному словарю», составленному кружком Петрашевского. В лексиграфическом отношении это чрезвычайно слабая вещь, как орудие пропаганды,—книга не достигла своей цели, излагая туманно и неясно основные положения учения Овена, Фурье, Сен-Симона, наполняя статьи об них вычурной риторикой, не идущей к делу, длинным рядом точек или глумлениями, неуместными в серьезном сочинении. Я говорил уже об этой книге в статье «Наши энциклопедические словари» («Исторический Вестник», 1888 г., том XXXII, стр. 444). Доказательством тому, что книге не приписывалось никакого серьезного значения, служит то, что по изъятии ее из обращения, ни автор, ни издатель, ни цензор не подвергались никакому преследованию, хотя Липранди в своей записке и сожалеет об этом, так же как и о том, что «не спрошено было даже о лицах, доставлявших статьи».

Гораздо серьезнее была попытка Петрашевского повлиять на мнения нашего дворянства по крестьянскому вопросу, о чем подробно рассказывает В. И. Семевский в своей книге, хотя и вышедшей в 1888 году, но мало оцененной публикою и еще меньше нашей критикой. В 1848 году, во время губернских выборов, Петрашевский роздал петербургским дворянам более 200 экземпляров литографированной записки «О способах увеличения ценности дворянских или населенных имений». Под этим заглавием, способным возбудить любопытство помещиков, скрывалось приглашение их к освобождению крестьян. Записка следственной комиссии говорит, что в своих рассуждениях, автор «совершенно вы-

ходит из пределов, допускаемых законом, считает гибельным для общественного благосостояния предоставление права владения населенными землями исключительно одному классу, хочет улучшения форм судопроизводства, надзора за исполнительными и административными властями, так как эти меры развивают нравственные и материальные силы в народе, находящемся ныне в дремотном состоянии». Меры эти осуществились через десять лет с небольшим, но в то время, как говорит В. И. Семевский, «петербургский губернский предводитель дворянства, Потемкин, сказал Петрашевскому, что государю императору благоугодно, дабы о сем предмете не было рассуждений, и Петрашевский своей записки нигде не читал». Он только разослал ее своим приятелям в Петербурге и жившим в провинции: Кайданову, Кузьмину, Тимковскому, Черносвитову. Всех этих лиц записка Липранди представляет отчаянными революционерами, так как они, и в особенности Головинский, Ястржембский, Филиппов, желали освобождения крестьян, гласного суда и свободы печати и в своих речах «отличались красноречием, дерзостью выражений и самым зловредным духом». Но записка Липранди, по его словам, основана на доносах его шпиона, а этому человеку, бывшему актеру «на выход» в Александринском театре и выгнанному за сильное подозрение в воровстве, странно было бы доверять безусловно. Это доказывал и О. Миллер в своих «Материалах для жизнеописания Достоевского». Более года этот шпион следил за пятницами Петрашевского, посылая к Липранди доносы о каждой беседе, а тот составлял по ним обвинительный акт для каждого подсудимого. Наконец, министр внутренних дел дал предписание передать дело в III. Отделение, арестовав одновременно—23 апреля—38 лиц из кружка петрашевцев.

А. В. БЕЗРОДНЫЙ О ПЕТРАШЕВСКОМ [1])

Дело, известное под названием «заговора Петрашевского», имело сильное влияние на судьбу и творчество Ф. М. Достоевского. Знакомство его с Буташевичем-Петрашевским завершилось ссылкой на каторгу, которая, в свою очередь, отразилась в «Записках из Мертвого дома» и на всей даль-

---

[1]) А. В. Безродный. «К биографии М. В. Буташевича-Петрашевского» «Истор. Вестн.», 1901, № 1, стр. 225—229.

нейшей деятельности Достоевского. Хотя политический процесс Петрашевского выяснен уже в достаточной степени, но личность самого Петрашевского обрисовывается в нем не столь выпукло, чтобы можно было не обратить внимания на ярко-характерные черты, разбросанные в переписке по делу Петрашевского с приставом следственных дел Зануцци, которая хранится в С.-Петербургском сенатском архиве.

Дело это возникло в 1848 г. по жалобе самого Михаила Васильевича Буташевича-Петрашевского, состоявшего тогда, в чине титулярного советника, вторым переводчиком при министерстве иностранных дел. Присутствуя по служебному поручению в камере следственного пристава Зануцци, Петрашевский 14 октября 1848 г. сделался свидетелем, а затем—и деятельным участником следующей, по его собственному описанию, сцены.

В контору пристава, как заявляет Петрашевский в прошении, поданном первому департаменту сената,—явился офицер Кондратьев, служащий при департаменте военных поселений, для вручения Зануцци ответов на вопросные пункты по касавшемуся его, Кондратьева, уголовному делу.

«Я очень хорошо видел,—рассказывает Петрашевский,— что г. Кондратьев сперва отдал приставу одну бумагу, а ту, которая ей служила оберткой, удержал у себя. Едва только вручена была г. Зануцци первая бумага, как он сказал: «копии с ответов ваших вы не можете оставлять у себя», стремительно привстал со стула, схватился за бумагу, которую держал у себя в руках Кондратьев, разорвал ее и, смяв в комок, положил в левый карман брюк и требовал от Кондратьева возвращения остального.

— Побойтесь вы бога, г. следственный пристав, что вы это со мной делаете! Мало вам, без всякой нужды, меня запутывать и тревожить! Что же вы делаете с людьми бедными и мужиками, когда в присутствии других против офицера позволяете себе делать такое насилие. Господа, будьте, пожалуйста, этому свидетели.

Так как в комнате, кроме Петрашевского, находились лишь иностранец, для которого он приглашен был переводчиком, и пятеро письмоводителей пристава, «которые, разумеется, в сем деле отозвались неведением», то Петрашевский, «приблизясь к обидчику и обиженному, объявил г. Кондратьеву: «так как я один при сем деле могу быть достоверным свидетелем, то готов засвидетельствовать об обидах,

нанесенных следственным приставом, равно как и о тех нарушениях законов, кои были им сделаны».

«В то же время,—повествует далее Петрашевский,—по свойственному мне миролюбию, старался я привести г. слественного пристава к сознанию его долга и убеждал его возвратить Кондратьеву вырванную им бумагу. Но г. приставом совет мой не был исполнен. Г. пристав, как всякий человек, доведенный до крайности и видя незаконность и несправедливость своих действий, ложно рассчитывая еще большею дерзостью скрыть и без того уже весьма явную преступность его действий, желая застращать и меня, позволил себе с этой целью и мне нанести оскорбление и именовать неоднократно за такое мое старание внушить ему должное уважение к законам справедливости и ближнему—наименовать помешанным и сумасшедшим».

В стремлении покарать следственного пристава Петрашевский проявил чрезвычайную настойчивость. Он тотчас же подал своему начальству в департаменте внутренних сношений министерства внутренних дел подробный рапорт. Кроме того, «дабы дело это не было замято и окончено беспоследственно тщетною перепискою» между этим департаментом и петербургским полицеймейстером, Петрашевский одновременно представил и последнему мотивированное прошение о назначении формального следствия. Обер-полицеймейстер препроводил бумагу в управу благочиния, которая, получив разъяснение от пристава Зануцци, постановила домогательство о назначении следствия оставить без последствий. Петрашевский обжаловал это постановление в прошении, поданном в 1-й департамент сената. Помимо сделанных нами выше выписок, изображающих столкновение между Петрашевским и Зануцци в камере последнего, оно заключает в себе ряд ссылок на различные узаконения, будто бы нарушенные управою благочиния, страстную, то ироническую, то запальчивую критику ее образа действий и пояснение, что Петрашевский намеревался представить подтверждение справедливости своих показаний лишь при производстве формального следствия, так как имеет дело в лице Зануцци «не с простым виновным, но с ответчиком, виновным в нарушении законов, вооруженным практическим знанием законов и тех изворотов, к коим прибегают преступники для умаления силы доказательств улик, свидетельствующих в их виновности».

Сенат потребовал от управы благочиния разъяснение

следственного пристава Зануцци, который представил весь инцидент в совершенно ином виде.

По словам Зануцци, поручик Кондратьев, написав в присутствии его, следователя, ответы на заготовленные вопросные пункты сперва вчерне, а потом на подлинных пунктах, вручил ему те и другие, но в то же время, вспомнив, что передал и черновой лист бумаги, пожелал им воспользоваться и выразил неудовольствие, что следователь захватил принадлежащую ему бумагу. Зануцци возразил, что черновые ответы, как написанные на его канцелярской бумаге и по делу, им производимому, не составляют нисколько собственности Кондратьева.

Тогда Кондратьев схватил спорную бумагу, намереваясь ее вырвать, но «воспользовался только лоскутками, потому что Зануцци крепко держал ее в левой руке. Здесь вмешался г. переводчик, требуя запальчиво и дерзко или возвращения Кондратьеву бумаги, якобы у него захваченной, или опечатания ее, при чем дозволил себе произвести шум, крик, говорить весьма оскорбительные слова и толкования насчет следователя, называя распоряжение его грабежом, насилием и заставляя поручика Кондратьева ехать немедленно вместе с ним к г. обер-полицеймейстеру с жалобою на Зануцци».

Однако, следователю, как он утверждает, удалось «вразумить г. Кондратьева в его неправом и противозаконном домогательстве иметь черновые бумаги со следственно-уголовного дела и в его дерзком покушении получить самую бумагу, ему не принадлежащую. Г. Кондратьев уступил справедливости этого убеждения и принес полное чистосердечное извинение. Господину же переводчику Зануцци, действительно, заметил, что вступить с такою опрометчивостью, запальчивостью и даже дерзостью в дело, совершенно для него чуждое, не узнав наперед сущности спора, и войти в распоряжения, ему не принадлежащие, в особенности над лицом следователя, как составляющего первое и главное лицо в составе следственного присутствия, суть действие, не имеющее ничего общего с здравым состоянием человека».

К такому заключению Зануцци пришел не только на основании описываемого им пререкания, но и в силу предшествовавшего поведения Петрашевского и даже самой его наружности. «При первом прибытии его в контору,—говорит следователь,—явился он с косматою, всклокоченною головою и с длинною, широкою и окладистою бородою, скрывшею более половины лица его. Он, пристав Зануцци, тогда же

заметил ему, что в таком странном виде неприлично ему присутствовать при следствии, тем более, что иностранцы могут почесть его за русского торговца и оказать к нему недоверие, зная хорошо, что в русском государстве должностные чиновники имеют законные пределы в образе одежды и в наружном виде. Хотя ответы и разговоры г. Петрашевского отзывались большею частью загадочными оборотами, но, занятый тогда делами и приписывая эту странность усвоенной манере выражаться с собственной оригинальностью, следователь не обратил особенного на то внимания, и он, Петрашевский, удалился с получением назначения явиться в другой раз, тем более, что и лицо, вызванное на тот раз, не явилось в свое время. Но тогда же, весьма вероятно, затаил он в себе негодование к Зануцци за совершенно невинное его предостережение».

«В следующий раз, и именно в описываемый выше день,—продолжает Зануцци свою, быть может, не лишенную некоторого шаржа характеристику Петрашевского,—г. переводчик явился с подрезанными бакенбардами, выбритою до подбородка бородою и более уже в приличном виде. При этом втором посещении говорил, что ему сделал замечание насчет эксцентрической наружности и директор департамента, где он состоит на службе, на что он объявил ему, что государь император разрешил ему носить длинную бороду, при чем плевал на пол, говоря, что они его сглазили. Много еще странностей можно было бы схватить при более постоянном наблюдении, но он, Зануцци, ни права, ни надобности, ни времени на это не имел, а обратил его к занятиям, по явке купца Пердризе, для перевода коему он был приглашен. Но он приступил к тому рассеянно, блуждая взорами по комнате, пока не представился ему случай вступиться в дело поручика Кондратьева, за которое он и принялся с неописанным жаром и вдохновением».

Не ограничившись столь своеобразным по слогу изображением внешности и образа действий Буташевича-Петрашевского, следственный пристав Зануцци предложил и разъяснение его странностям, стараясь, повидимому, вместе с тем снять с себя обвинение в умышленно-оскорбительном именовании переводчика сумасшедшим.

«Вообще,—завершает он характеристику Петрашевского,—неодолимое страстное влечение его к занятиям судебными, тяжебными и стряпческими делами, при его богатом состоянии и при служебных обязанностях, самые усиленные

поиски и вызовы тяжущихся посредством газетных публикаций и даже завлечение их силою, как поступил он в отношении г. Кондратьева, и ночи, проводимые им без сна, как он рассказывал г. Зануцци, в бдении над изучением законов и их глубокого смысла, все это ведет к заключению, не принадлежит ли эта загадочная страсть его к области болезни, хотя бы и одностороннего качества, вроде мономании, и тогда только этим можно объяснить себе поступок г. Петрашевского».

Сенат затребовал по этому делу заключение от с.-петербургского военного губернатора и министра внутренних дел; оба они согласились с постановлением управы благочиния. Сенат, в свою очередь, рассмотрев курьезное дело, также нашел ее постановление правильным, «потому что действия пристава Зануцци, об исследовании коих просит Петрашевский, относятся к поручику Кондратьеву, от которого никакой жалобы на оные не было, а проситель представляется здесь лицом посторонним, и если он мог быть свидетелем какого-либо происшествия между Кондратьевым и Зануцци, то не имеет права делать сему последнему при отправлении им должности убеждения и советов, почему и определил: жалобу Буташевича-Петрашевского оставить без уважения. О чем для объявления ему и взыскания установленных гербовых пошлин управе благочиния послать указ, каковым уведомить г.г. министра внутренних дел и с.-петербургского военного генерал-губернатора».

При исполнении этого решения, указ сената, однако, не мог быть объявлен самому Петрашевскому, так как он уже оказался сосланным в каторжные работы, о чем управа благочиния донесла сенату 28 февраля 1850 года.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ А. Д. ШУМАХЕРА [1]

Деятельность Липранди по делам политического характера относится преимущественно ко времени общего политического движения в западной Европе (1848 и 1849 г.г.), имевшего некоторый, хотя и слабый, отголосок и в Рос-

[1] А. Д. Шумахер. «Поздние воспоминания о давно минувших временах». «Вестн. Европы», 1899, март, стр. 123—125.

сии. В это время в Петербурге образовался кружок молодых людей, собиравшихся у бывшего лицеиста Петрашевского, где происходили чтения по разным вопросам политической экономии в обширном значении этого слова, при чем молодежь с жаром воспроизводила учение тогдашних выдающихся экономистов Франции—Кабе, Прудона и др. К кружку этому примкнули бывшие воспитанники как лицея, так и университетов и несколько молодых офицеров гвардии. Надо полагать, что кружок этот не имел ничего особенно важного, опасного для государства, так как бывшее III Отд. Соб. Его Импер. Величества канцелярии, которое не могло не знать о его существовании, не преследовало участников его, быть может, впрочем, только до поры до времени, чтобы дать обществу принять более широкие размеры и затем уже накрыть его. Перовский, признававший отдельное существование III Отдел. ненужным, старался доказать, что и общая полиция министерства внутренних дел может предупредить всякие политические перевороты и знать о зародышах таких стремлений ранее III Отд. В этом отношении образование кружка Петрашевского представило очень удобный случай: Липранди сумел проведать о существовании этого кружка при самом начале его деятельности и раздуть его намерения до таких размеров, о которых, быть может, не мечтали и самые смелые из его участников. Для того, чтобы знать о всем, что происходит в собраниях кружка, Липранди уговорил родственника своего, студента Антонелли [1]), оставить университет и примкнуть к кружку. К этому делу был причастен и Федор Михайлович Достоевский, сильно пострадавший, как причисленный к первой категории заговорщиков. В числе заподозренных, но не привлеченных к суду, был и Беклемишев, по воспитанию лицеист, который, как и многие другие подобные ему, был отдан под надзор полиции. Замечательно, что когда этот самый Беклемишев, Александр Петрович, был назначен впоследствии губернатором, он, к удивлению своему, в списке лиц, состоящих под надзором полиции,

---

[1]) По окончании всего дела Липранди просил нового дир. департамента, О. Д. Гвоздева, предоставить этому несчастному молодому человеку должность помощника столоначальника, но Гвоздев отвечал ему, что ни один из столоначальников его департамента не изъявил согласия принять его в свой стол.

нашел и себя самого. Так, имя его переносилось в списке поднадзорных из году в год, и департамент полиции, зная о том, что Беклемишев был назначен губернатором, т.-е. представителем верховной власти в губернии, не подумал, что давно пора исключить его из списка поднадзорных.

К сожалению, и на мою долю пришлось играть некоторую, хотя и третьестепенную роль в этом несчастном деле. Директор департамента общественных дел, фон-Поль, в личном заведывании которого находилась переписка по этому делу, заключавшаяся главнейше в составлении исполнительных бумаг по докладным запискам Липранди, отъезжая в мае 1849 г. в продолжительный отпуск, испросил 17 мая разрешение министра передать эту переписку мне, вследствие чего я производил ее до возвращения директора, именно по 18 апреля 1850 г., т.-е. целых 11 месяцев. Время это было для меня тягостное, как потому, что приходилось иметь иногда личные объяснения с Липранди, так и потому, что, зная о предназначенном на следующую ночь аресте некоторых моих сослуживцев, я вперед испытывал за них тот страх и те муки, которым они должны были подвергаться совершенно неожиданно, а между тем не смел предупредить их о предстоящей им беде. К счастью, оба эти сослуживца, бывшие воспитанники московского университета, с которыми я находился в хороших отношениях, были скоро освобождены из-под ареста и к дальнейшему производству дела вовсе не привлекались, так как против них даже Липранди не мог найти никаких улик, и они были арестованы единственно потому, что были знакомы с тем или другим из участников кружка. Дело, возбужденное Перовским с целью доказать бесполезность существования III Отделения собственной его величества канцелярии, имело своим последствием гибель многих молодых людей, к глубокой скорби их родителей, а между тем цель, которую преследовал Перовский, не осуществилась, так как лица, стоявшие во главе III Отделения, пользовались доверием государя, и оно продолжало существовать еще несколько десятков лет. Липранди имел большую и разнообразную библиотеку, и раз, когда у него был Н. А. Милютин, и хозяин просил его ознакомиться с находящимися в ней книгами, Ник. Ал. ответил, что по надписям на корешках он уже познакомился с содержанием книг, но опасается—не спрятаны ли за ними шпионы.

ИЗ ЗАПИСОК СЕНАТОРА К. Н. ЛЕБЕДЕВА [1]

Город очень занят задержанием молодых людей (Петрашевский, Головинский, Достоевский, Пальм, Ламанский, Григорьев, Михайлов и много других), которых, говорят, до 60 человек и число которых должно увеличиться открытием связи с Москвою и другими городами. Дело это точно важно, не по себе, но потому, что оно могло случиться. Кажется, не подлежит сомнению, что здесь было влияние пропаганды и, конечно, не без поляков, этих новых жидоватых иезуитов. Сколько известно (а известно очень мало), у молодого человека, бывшего лицеиста Петрашевского, сбирались любители рассуждений и ораторы, говорившие то о крестьянском вопросе, то о преобразованиях в разных ведомствах, то о смутах Западных по отношению к нам. Говоруны записывались предварительно и, таким образом, представляли нечто вроде клуба. Говорят, назначена следственная комиссия, под председательством Н. А. Набокова, из кн. В. А. Долгорукова, Л. В. Дубельта, И. П. Липранди, кн. П. П. Гагарина, А. Р. Голицина (разбирает бумаги). Что-то пестро. Говорят, государь хочет дать делу ход строго по законам—суд. Это что-то невероятно. Подобное дело обнаружит три вещи: неосновательность и заносчивость молодежи, получившей плохое воспитание от иностранных учений; бездействие правительства, терпящего большие недостатки, и вызванное этим бездействием желание пылких молодцов принять участие в общем деле, как это обыкновенно бывает при неудовлетворительности правительственного действия. Но все это известно и переизвестно.

Сегодня встретился я в пассаже с И. П. Липранди, и он, довольно свободно, завел речь о наших детях-заговорщиках в крепости. Он начал это дело, и ему оно известно как члену комиссии. Дело, по его мнению, чрезвычайно важно и должно кончиться казнями. Это ужасно. Я не ожидал в нем ничего зрелого и положительного. Завтра я обедаю у Липранди, и он обещал мне дать подробную записку. Посмотрим. Никто так не преувеличивает цену ничтожного открытия, как сам открыватель. Горе, горе, если это увеличение представится государю не в хороший час; но горе от бога

---

[1]) Из записок сенатора К. Н. Лебедева. 1849. «Русск. Архив», 1910, № 11, стр. 361, 366—367, 375.

и тем, которые рассчитывают на это. Зная двух, Николеньку Кашкина и Васеньку Головинского, я (повторяю) не могу вообразить ничего зрелого и приписываю все шаткому увлечению.

Был я и видел обвинения, читал списки и копии с захваченных бумаг и все-таки не нахожу той важности, которую хотят придать этому делу. Прикосновенных очень много; более всего Петрашевский и Спешнев. Первый учредил общество, из которого многие посетители жили в его доме, за Покровом в Коломне; второй написал собственноручно обязательство вступления о повиновении исполнительному комитету по призыву его действовать огнестрельным и холодным оружием, распространять число членов и т. п. Потом следуют: Катенев, Ястржембский, Толь, Тютчев, Толстой, 2 Кузьминские, Григорьев лейб-гренадер, Григорьев—мещанин, Моберле, Ханыков, Львов, Достоевский, Плещеев, Бернадский, Пальм, Филатов (учитель Рождественского училища), Дестунис, Андреев, Коломин, Кашкин, Головинский, Барановский, Михайлов, Толбин (бродяга). При дворянских выборах в 1845 г. Петрашевский сделал предложение (и литографировал) о дозволении всем сословиям приобретать населенные имения и этим путем отменять исключительность права и самое право. Предложение это обратило общее внимание, возбудило удивление, порицание и негодование. С того времени Липранди стал наблюдать и открыл, что у Петрашевского сбирается сходка. Два подсыльных втерлись в этот круг и напали на след, как сказано, постоянного заговора. В конце марта предлагал Липранди захватить сходку на самом месте. Исполнено это в конце апреля. Но я во всех бумагах видел глупость, школьничество, мелкие остроты. Я поражен был замечаниями, как, например, «правоведы, вообще замеченные и прежде в антиадминистративном направлении», или «стремиться возбудить неудовольствие к правительству» или «распространение социальных идей разглашением». Посмотрю еще. Липранди обещал показать последующие «открытия».

Крепостное дело о школьниках разыгрывается. После исследования назначено новое собрание из членов Госуд. Совета: В. А. Перовского, Н. Н. Анненкова и сенаторов: кн. И. А. Лобанова, А. Р. Веймарна и Ф. А. Дурасова. Этому собранию предлежало поверить следствия, отделить достоверное от недосказанного, важное от мнимого и по-

становить предметы обвинения для определения наказания в высшем военном суде. Это новый порядок суда. Я говорил с Ф. А. Дурасовым, и он довольно откровенно объясняет мне, что дело не имеет придаваемой ему важности, но важность оно имеет как по букве закона, так и по современной язве века. Не было ничего основательного, но дурного, злого много. По именному указу изъят от следствия и суда главный и важнейший из виновных—Толстой [1]). Я этому не верю. Государю нет выгоды освобождать этого виновного. За ним следуют: капитан Московск. полка Моберле, чиновник Петрашевский и неслужащий Спешнев. Вина их ведет на каторгу. Особенно превозносят способности последнего, и при чистом его раскаянии полагается, что он пойдет отслуживать преступление на Кавказе. Головинский порицается за упорство и противоречия. Главная его вина в желании и стремлении к освобождению крестьян. При допросах кн. П. П. Гагарин вошел с ним в спор, и почтенный член следственной комиссии проговорился, назвав эту меру преждевременною. Потом Головинский обвиняется в недонесении слышанного. Менее прочих обвиняется Кашкин Николенька. Он возмечтал, что он мудролюб, и что бог есть токмо отвлеченное, условное понятие. Может быть, обоим этим молодым людям придется поучиться где-нибудь в дальних краях, в Оренбурге. Всего судимых до 25 человек. Думаю я, однако, что генерал-аудиториат усилит наказания и даст возможность изъявлению милости в смягчении меры и самого вида. Государь любит прощать. Он уже простил шалунов - моряков. Подождем, дело должно скоро разрешиться. Все, мне кажется, на него не так смотрят.

БАКУНИН О ПЕТРАШЕВСКОМ И ПЕТРАШЕВЦАХ [2])

Вы помните Головина? Ну, Головин, это—пристойный, умный, совестливый Петрашевский, а Петрашевский—цинический, бессовестный Головин нараспашку. Только между ними есть разница: Головин авантюрист и законник - аристократ, истинный chevalier d'industrie, escroc et hableur de bonne

[1]) Студент А. Д. Толстой, принесший покаяние и в июле 1849 г. определенный унтер-офицером в отдельный Кавказск. корпус. Ред.

[2]) «Письма М. А. Бакунина к А. И. Герцену и Н. П. Огареву». Изд. М. П. Драгоманова, Женева 1896, стр. 41—47. (7 ноября 1860 г. Иркутск.)

maison, Петрашевский такой же грязный сутяжник, как и он, такой же законник и авантюрист, только под знаменем демократии. Ему душно в гостиной, и трактирная публика, составленная по преимуществу из потерянных сынков de bonne maison, неудавшихся литераторов, артистов, администраторов, юристов, а также, пожалуй, из вольноотпущенных или неотпущенных лакеев,—его среда, в которой он купается с такою же роскошью и так же натурально, как свинья в грязи. Это просто свинья с человеческою головою, циник по внутреннему призванию. А между тем замечательный человек,—он в самом деле человек беспокойный, друг движения, но какого движения! Он далеко не революционер, не открытый боец, на это он не способен, он трус; и, несмотря на трусость, он не может оставаться в покое; он интригует, пакостит, ссорит, даже отваживается на опасные вещи, по неизбежному внутреннему стремлению, которое в нем сильнее даже самого страха. Он неизлечимый законник и готов поссорить братьев, самых близких друзей для того только, чтобы завести между ними тяжбу. Таким образом во всех деревнях, куда он был ссылаем, во всех маленьких городах ему удавалось и до сих пор удается перессорить всех жителей между собою. Ему есть дело до каждой грязной истории между лицами, ему совершенно незнакомыми, и он до тех пор не успокоится, пока не найдет в ней для себя роли. Как истинный художник, помимо всех личных видов, хотя он и далеко не пренебрегает ими, он любит шум для шума, скандал для скандала, грязь для грязи. Этот человек злопамятен и мстителен до крайности, но ничем не оскорбляется. Уличите его во лжи, в клевете, назовите его в глаза подлецом, поколотите его, он завтра же подаст вам руку и будет уверять вас в своем уважении и в своей симпатии, если это только покажется ему нужным. Мне случилось иметь с ним такие разговоры:—Вы говорили это про меня?—«Говорил».—Правда это?—«Нет».—Зачем же вы говорили?—«Говорил потому, что это мне было нужно, теперь более не нужно,—прибавляет он с улыбкою,—и обещаю вам, что говорить более не стану,—ну, что ж, посердились, пора перестать». Я никогда в жизни не встречал еще такого отъявленного, бессовестного, откровенного циника. Он в самом деле недюжинный человек. Еслиб у нас была революция, он без сомнения, был бы маркизом de St. Hurugues первых дней, так много в нем разных талантов для увлечения толпы, но в первых же днях он пропал бы в гря-

зи, как и покойный St. Hurugues de bruyante et honteuse mémoire. Впрочем, вся семья Петрашевского его достойна. Мать яростно ненавидит сына, и вместе с дочерьми, его сестрами, пользуясь его политическим несчастным положением, обобрали его до последней нитки и ругают его публично, бесстыдно и беспощадно! Он, разумеется, платит им тем же самым. Вы, без сомнения, знаете, что он получил значительное наследство от отца, воспитался в Царскосельском лицее, по выходе из него вступил в министерство иностранных дел, из которого должен был выйти, потому что не захотел расстаться со своею истинно - великолепною бородою. Жил потом частным человеком в Петербурге и занимался con amore своими и чужими тяжбами. Я думаю, не было присутственного места, в котором, а часто и против которого он не имел бы дела. В России, земле бесправия, он помешался на праве. Но право праву рознь; есть общечеловеческое право, которое везде и всегда отстаивать должно, но горячиться из права, основанного на положительных законах там, где законы, по коренному закону, подчинены самодержавному и даже министерскому произволу, по моему мнению, так же смешно и нелепо, как хлопотать о том, в двух или в одном виде должно принимать святое причастие там, где все христианство должно выбросить за борт. К тому же сутяжная часть во всех странах, по преимуществу же в России, имеет значительную темную, грязную сторону, от которой каждому, хоть немного порядочному человеку становится гадко. Эту-то сторону по преимуществу любил и любит Петрашевский, который, ни во что не ставя ни свою честь, ни свою добрую славу, кажется не имеет и тени понятия о том, что значит беречь неприкосновенность, чистоту своей личности. Передать вам все, что я слышал от него самого о его подвигах в этом роде, было бы невозможно, одна история грязнее другой, и, что страннее всего, он как - будто и не подозревает грязности своих рассказов... Таким образом протекла его жизнь до 1848 года. Между тем, он не был чужд литературному и политическому движению времени, он читал без порядка и без руководящей мысли все возможное и, подобно многим из наших современников, нахватался разных кусочков из разных отраслей знания, составил себе миросозерцание, очень похожее на пестрое платье арлекина, и, очень довольный собою, принимает еще до сих пор за истинное образование этот хаотический сброд неясных и неопреде-

ленных слухов о всевозможных теориях и фактах. В практике был он исключительно предан юриспруденции, в теории же сделался фурьеристом. Он был богат, хотя и скуп, вокруг него собиралось несколько молодых людей, большею частью из кадетских учителей и гвардейских офицеров, надорванных и недоученных, большею частью, совершенно пустых, стремящихся, иные увлекаясь примером, другие более самостоятельно, не так из живого сердца, как из тупо-неопределенной фантазии к чему-то, а главное, к выходу из своего бедного положения, которым все были очень недовольны. Между ними появлялись иногда и люди более замечательные, как, например, литератор Достоевский, не лишенный таланта, и мой приятель Эммануил Толь, воспитанник педагогического института и потом учитель в разных казенных заведениях, великолепное эксцентричное существо, d'une beauté monstrueuse: маленький ростом, с огромною головою на бычачьей шее и на широких плечах, с огромным мыслящим лбом, уродливым носом, с толстыми мясоедными губами, с руками длиннее сажени,—и на этом монструозном лице выражение умное, доброе, в высшей степени привлекательное, улыбка такая, против которой устоять невозможно. Его любят дети, которых он обожает, и молодые девушки льнут к нему, как птички под верную и темную крышу. Голова у него светлая, разумная, хотя немного и школьно-догматическая—плод его воспитания, но несмотря на это далеко не упорная, способная принять всякую истину. Сердце золотое, благородное, чистое, не способное ни к какой двусмысленности и совершенно чуждое эгоизму и тщеславию. Характер рыцарский, порывистый, то иногда женственно-мягкий, то буйно-энергичный и смелый, неспособный, кажется, к постоянному делу и к выдержке. Когда же он выпьет, тогда становится ужасным, точно лютый, разъяренный зверь. Шея у него короткая, толстая, а потому кровь легко бросается в голову. Я познакомился с ним в 1857 году в Томске, куда он был только что переселен из каторжного завода, и скоро сблизился с ним. Он жил в Томске уроками и был превосходным учителем, дети его обожали; и до сих пор жена моя, одна из его учениц, хранит о нем самую нежную память. Но он был худо окружен в Томске и предавался пьянству; в Сибири пьют страшно и пьют без затей, простую водку. Я успел отвлечь его от пьянства и от худого общества, и мы в продолжение полугода до возвращения его в Россию жили как братья. Теперь он

в Питере, где занимается литературою и уроками; я редко к нему пишу, потому что он болтлив и неосторожен до крайности, к тому же, одаренный критикою небольшою для распознания людей, он, к несчастью, всегда окружен страшною сволочью. Но если б пришло до дела, я обратился бы прямо к нему, уверенный, что он будет одним из самых способных и честных деятелей, лишь бы кто-нибудь держал его в руках. От него я впервые услышал подробности о деле Петрашевского и рассказы о жизни, занятиях, действиях и личностях его кружка, рассказы самые достоверные и точные, во-первых, потому, что Толь не солжет, если бы даже это было необходимо для спасения жизни его матери, которую он любит более всего на свете,—а во-вторых, потому, что я нашел их такими, сравнив их потом с рассказами Петрашевского, Львова и Спешнева.—И так, у Петрашевского собирались молодые люди, они толковали и спорили между собою о разных предметах, о которых все мало знали, но которые более или менее серьезно стремились уяснить и узнать. Впрочем, они далеко не были недовольны собою и, мало сознавая свое незнание, с презрением смотрели на толпу и, недоучившись сами, хотели учить; в их предприятиях было истинно много детского. Таким образом, в их головах родилась мысль о политическом словаре (помнишь, ты нам привозил его в Париж, Герцен), который Петрашевский напечатал на свой счет и ловко успел посвятить вел. кн. Михаилу Павловичу. Казалось, дерзкий, головоломно - смелый поступок, достойный более серьезной цели,—и что же, Петрашевский пресерьезно был уверен, что, раз пройдя через цензуру и покрытая именем Михаила Павловича, эта книжонка принесет ему значительный доход. Мне говорил это сам Петрашевский. Имя вел. кн., в самом деле, спасло их от дальнейших преследований. Главною чертою всех этих господ было отчаянное резонерство;—резонерство является везде там, где самолюбие, тщеславие, претензии преобладают над серьезными стремлениями ума и сердца, где нет страсти, нет мысли. Поэтому-то мы русские большею частью и такие отчаянные резонеры, толкуем с жаром обо всем, болтаем без умолку и ничем в действительности не интересуемся, так что не даем даже себе труда узнать сколько-нибудь положительно предметы, о которых толкуем. Петрашевский, пользуясь правом амфитриона и к тому же raisonneur par excellence, царствовал между ними. Фигура у него цинически-

достопочтенная, способная импонировать толпе, одна черная борода чего стоит,—когда он горячится и врет, черные глаза так и блестят сквозь очки. Толкуя обо всем на свете, они коснулись и политики, и социальных вопросов, доходивших до них во французских брошюрах и книжках, и, наконец, положения России. Были жаркие споры, всевозможные направления и системы были тут представлены. Для удобнейшей разработки вопросов они согласились разделить между собою все предметы; каждый брал на себя исследование какого-нибудь вопроса, изучал его по возможности и читал потом о нем род лекций. Это делалось по очереди. Толь, например, взял на себя богословие и педагогию, Петрашевский—политическую экономию и социализм, Львов—естественные науки и т. д. После лекций спорили, потом ужинали, веселились и пили. Таким образом, они составляли в действительности общество самое невинное, самое безобидное—удовлетворены были, при малейшей доле серьезной любознательности, большая доля тщеславия и еще бóльшая—русской потребности кутежа. Серьезной практической цели не было. Кроме Толя и потом Спешнева, явившегося позже, все были решительными, систематическими противниками революционных мер и действий. Они болтовню принимали за дело. Правда, коснулись они под конец и практического вопроса: «что будем мы делать?»— Ответы на этот вопрос были различные, один нелепее другого, и, наконец, они остановились на следующем: все члены кружка останутся тесно между собою соединенными и, во-первых, будут quand même поддерживать в жизни друг друга, так что, напр., все будут в один голос кричать, что Петрашевский первый экономист в мире, выше Фурье, Сен-Симона и Адама Смита, что Шекспир Достоевского подметок не стоит, что Львов заткнул за пояс Гумбольдта, а Толь первый богослов и педагог в мире, а во-вторых, они расселятся по всем концам России и, отыскивая везде сотрудников себе и помощников, займутся радикальным преобразованием России посредством распространения новейших дознанных истин. В 1848 году, в первых порах западной революции, прибыл к ним С п е ш н е в, человек замечательный во многих отношениях: умен, богат, образован, хорош собою, наружности самой благородной, далеко не отталкивающей, хотя и спокойно холодной, вселяющей доверие как всякая спокойная сила, джентльмен с ног до головы. Мужчины не могут им увлекаться, он слишком бес-

страстен и, удовлетворенный собой и в себе, кажется, не требует ничьей любви; но зато женщины, молодые и старые, замужние, и незамужние, были и, пожалуй, если он захочет, будут от него без ума. Женщинам не противно маленькое шарлатанство, а Спешнев очень эффектен: он особенно хорошо облекается мантиею многодумной, спокойной непроницаемости. История его молодости—целый роман. Едва вышел он из лицея, как встретился с молодою, прекрасною полькою, которая оставила для него и мужа и детей, увлекла его за собой за границу, родила ему сына, потом стала ревновать его и в припадке ревности отравилась. Какие следы оставило это происшествие в его сердце, не знаю, он никогда не говорил со мною об этом. Знаю только, что оно немало способствовало к возвышению его ценности в глазах женского пола, окружив его прекрасную голову грустно-романтичным ореолом. В 1846 году он слыл львом иностранного, особливо же польско-русского дрезденского общества. Я знаю все эти подробности от покойной приятельницы моей Елизаветы Петровны Языковой и от дочери ее; и матушка, и дочки, и все их приятельницы, даже одна 70-летняя польская графиня были в него влюблены. Другом, неразлучным его Сеидом, был блондин—шарлатан Эдмонд Хоецкий. Но не одни дамы, молодые поляки, преимущественно аристократической партии Чарторижского, были от него без ума, так что еще за границею было мне интересно с ним познакомиться, и я старался собрать о нем всевозможные сведения. Встретился же я с ним лично в Иркутске в 1859 году. Он жил тогда со Львовым и Петрашевским. Еще прежде слышал я о нем в Сибири, во-первых, от Толя, еще же более от поляков, возвращавшихся в 1857 и 1858 годах из нерчинских рудников и поселений на родину. Все отзывались о нем с большим уважением, хотя и без всякой симпатии, в то время как о других говорили с плечепожимательным сожалением, а о Петрашевском—просто с презрением. Замечательно, что весь этот кружок, исключая, впрочем, Толя, но никак не исключая даже и Спешнева, терпеть не может поляков. Они все отвечали холодностью на жаркий братский польский прием. Холодность эта еще более усилилась, когда начались разговоры: русские молодые люди с широким размахом русской, ничем не связанной мысли, явились атеистами, социалистами, гуманистами в фанатически-тесную польскую среду.

Ф. Н. ЛЬВОВ О ПЕТРАШЕВСКОМ [1])

Иркутск августа 4

Многоуважаемый Дмитрий Иринархович! я получил письмо Ваше со вложенным в него письмом к Петрашевскому, которое я отправил по назначению, сняв предварительно с него копию. Письмо это имеет большую для меня важность (независимо от внутреннего его достоинства), потому что бо́льшую часть того, что Вы пишете, я в продолжение 12 лет не переставал повторять моему товарищу, в особенности в отношении страсти его к гербовой бумаге, которая имеет для него какую-то обаятельную силу.

Но Вы справедливо замечаете, что у нас путаница, что мы друг друга не понимаем, а потому, прежде всего, спешу разъяснить, что только могу: начну с личности самого Петрашевского, которую Вы почти не знаете, а потому несколько ошибаетесь. Мих. Вас., прежде всего, человек страстный, увлекающийся, но предметом его увлечений бывают преимущественно его же фикции. Душа у него добрая, способная не только сочувствовать всему, что заслуживает сочувствия, но и действовать горячо, настойчиво, даже запальчиво, в пользу предмета его симпатии и напротив: для уничтожения антипатичного ему лица или дела. Но он имеет тот недостаток, что всеми мерами старается и других и даже самого себя уверить, что он действует не по внушению чувства, а по расчету самого холодного разума. Множество бескорыстных поступков, полных самоотвержения, было им совершено предо мною, и когда я имел неловкость замечать ему, что он поступает по чувству, а не по разуму, он почти оскорблялся и силился—хотя и очень неудачно—доказать противное. Ум его сложен тоже очень оригинальным образом: любимая его метода суждения—это: дилемма, трилемма, квадрилемма и проч. На каждый факт, особливо человеческой деятельности, он непременно смотрит как на последствие причины,—это, конечно, очень хорошо; но вот что неверно: он ищет только ближайшие причины, а забывает, что множество человеческих слов и действий имеют только самую отдаленную причину (именно: воспитание, образ жизни, окружав-

---

[1]) «Письма Ф. Н. Львова Д. И. Завалишину 1860—1861 г.г.» Сборник старинных бумаг, хранящ. в музее имени Щукина, ч. X, М. 1902, стр. 243—245.

шую среду и т. п.) и во время своего обнаружения говорятся или производятся людьми почти бессознательно. Самый ничтожный факт, напр., человек плюнул, может у него разыграться в очень важное. Он станет думать, отчего человек плюнул, и придумает: или он плюнул оттого, что имеет дурную привычку, или что у него кашель, или что он в это время курил крепкий табак, или чтобы показать свое презрение и т. п. Потом станет разбирать, какое из этих предположений имеет более основания, и очень легко может дойти до того, что сочтет безразличное совершенно действие очень умышленным, напр., в данном случае, что человек плюнул, чтобы показать свое презрение. Как человек страстный, он всего скорее выберет то из предположений, которое ему нравится в данный момент, и возведет его в убеждение, на основании которого и начинает уже действовать. От этого он создавал себе часто совсем понапрасну самых ожесточенных врагов и после удивлялся своей прозорливости. Впрочем, я должен сказать правду, что у него чутье нравственное довольно верное.

Характер у него до крайности непреклонный; он стремится к цели своей настойчиво, дерзко, не останавливаясь ни перед какими препятствиями. Но при этой силе, которой он обладает, и не жалея лба, чтобы проломить стену, он вдруг прибегает к хитрости, к интриге, то-есть к оружию слабых. И это бывает почти всегда неудачно, точно как усатый гренадер нарядится в юбку, закроется платком и воображает, что его примут за женщину. В частной жизни есть у него порок, от которого, не знаю, отстал ли он в последнее время,—это запой, но не вином, а картежною игрою, это всего более ему вредило всегда и везде, потому что он проигрывал и деньги, и время, и свое достоинство.

Кто мало его знает, тот очень часто, вступая с ним в сношения, получает к нему сильную антипатию, вследствие его чрезвычайной строгости, требовательности и оскорбительной подозрительности, которую особенно развило в нем крепостное заключение и пытка. К тому же надобно прибавить, что язык его чрезвычайно резок и он попадает чрезвычайно метко на больное место своей жертвы, которую он мнится приносить правде.

Fiat justicia, pereat mundus—его любимый девиз, хотя я и говорил ему: на что же нужна и как будет существовать справедливость, когда мир погибнет? Вследствие этого он и в Петербурге и в ссылке везде зацеплялся за законы

и старался на основании их доказать или несправедливость, или нелепость какого-нибудь действия или постановления. Отсюда проистекали его процессы с министром Перовским за городские выборы и протесты на эшафоте, в Шилке, в Нерч. заводе, в Иркутске и пр. В принципах вы с ним не расходитесь в этом случае, но разница в том, что он тратит себя на мелочи, что, конечно, производит неблагоприятный эффект.

Наконец, в некоторых случаях он принадлежит к породе так наз. enfants terribles, т.-е., говоря канцелярским словом, часто приводит к немедленному исполнению то, что должно быть помечено к сведению, и это бывает иногда очень некстати, так что его надобно предупреждать, о чем нужно до времени помолчать, или даже вовсе не говорить ему ничего.

Я представил Вам нравственный портрет моего товарища не для того, конечно, чтобы отвратить Вас от него, но потому, что считал своим долгом высказать Вам правду для того, чтобы могли, сообразуясь с этим, знать, чего можно от него ожидать и как понимать его действия.

Теперь несколько слов о себе: я, конечно, не могу и не имею претензии хвалиться особою энергиею в противодействии злу; но, тем не менее, всегда и везде не оставлял никакого проявления самовластия, произвола и сервилизма без обличительного слова. Не имея такой силы ума и характера, как Вы, я не мог работать неутомимо (тем более, что у меня нет таких больших связей, как у Вас). И притом я боялся предаться безраздельно, как Вы, политическому или общественному делу, потому что не уверен ни в своей зрелости, ни в своих силах (не пассивных—для страдания, а активных—для произведения полного эффекта) и еще потому, что устремление всех сил души на один предмет делало меня прежде всего односторонним, а потому и не совсем справедливым. Михаил Васильевич часто упрекал меня в сентиментальности, но о ней, как Вы сами видели, он имеет самые извращенные понятия. Я не склонен на дерзкие предприятия, но имею довольно мужества, чтобы жертвовать и собою и своими материальными выгодами для пользы общей, но только при убеждении, что я действительно ее доставлю, или, по крайней мере, что того действительно требует чувство долга. Самое же трудное для меня, это—оскорбить другого человека, даже когда он этого заслуживает.

Я верю, подобно Вам, только в живые силы, но не разъ-

единенные с природой; я и официальную религию не признаю именно потому, что в ней уже очень много мертвого, хотя и не вооружаюсь против нее, потому что она не закончила еще всего своего круга благотворного действия, и нравственная сторона, по крайней мере, христианской религии имеет довольно живучести, хотя она и не может служить руководством для развития вполне гражданской нравственности. Впрочем, я полагаю, что теоретические и метафизические идеи и рассуждения мои вовсе неважны ни для Вас, ни для дела.

Не во имя каких-либо отвлеченных идей, не могущих быть доказанными, я считаю себя обязанным действовать, а во имя того идеала общества, в котором не только есть гарантия для разумно-нравственной свободы, но и солидарность между его членами, где благосостояние и развитие индивидуальное и общественное не только представляются как возможность, но где они должны неминуемо проявляться de facto, как плоды внутреннего убеждения и взаимной любви всех его членов.

ПИСЬМО М. В. БУТАШЕВИЧА-ПЕТРАШЕВСКОГО Д. И. ЗАВАЛИШИНУ 15 ИЮНЯ 1860 ГОДА [1])

Минусинск 1860 г. 15 июня

Как только прибыл я в Минусинск, я вспомнил о Вас. Вспомнить о Вас в Минусинске было весьма естественно, ибо за несколько лет пред сим эта местность, по благорасположению к Вам и ныне в В. С. безумствующего начальства, предназначалась в место Вашего жительства, и даже относительно Вашего перемещения в М. окружный начальник имел сообщение от шефа жандармов. Счастливое ли сочетание обстоятельств или Ваше умение дали Вам средства избавиться от этой неприятности,—во всяком случае, это вышло к лучшему, то, что Вы остались в Чите, которой центральное, на пути движения В. Сибири, положение весьма удобно для получения всех сведений, относящихся до разных концов В. С. Это и дало Вам возможность сказать громко на весь мир Ваше правдивое слово о бестолковости и безнравственности, с какою совершается все в управлении В. С. Надо вовсе не иметь политического

---

[1]) Сборник старинных бумаг, хранящ. в музее имени Щукина, ч. X, М. 1902, стр. 266—270.

инстинкта, чтоб не признать то, что Вами было публиковано об этом, делом капитальным в русской печати, в России, относительно политики внутреннего управления. Оно до сих пор высится над всем, что сделано русской публицистикой в этом отношении. Сибиряки Вам по преимуществу должны быть благодарны. Все их стенанья и шушуканья высказаны. Вы этим приобрели полное право на содействие и сочувствие всех людей благородных, патриотов искренних и истинных, а не квасных, невежественных и диких. В этом смысле и моя деятельность в известной степени всегда была направлена к тому же. Принципы, во имя которых я стал политическим деятелем, меня к тому же обязывали и обязывают. Особенность положения мотивировала особенность ее проявлений. Эти особенности это самое дело сделали в некотором отношении моим личным делом. Такое мое положение само собою определилось, я теперь не имею нужды прибегать к научным началам или выводам, чтоб доказывать безумие администрации, разрушительность ее действий для общественного благосостояния и сим способом бороться и противоборствовать ее злоупотреблениям. Ее насилие коснулось меня. Этот факт поставил меня в положение истца против местной администрации. Обязанность для меня вести против нее гражданский или уголовный процесс из сего сама собою вытекает. Мои личные, материальные и нравственные интересы требуют того же, чего требует благо общественное, разумно понимаемые интересы всей страны, положить законом пределы для безумного самовластительства сибирских пашей и сатрапов. Это не шуточное дело. Чтоб взяться за него, у меня нет недостатка в нужной для сего решимости, я имею довольно твердости или упорства, чтобы не бросать что-либо от первой неудачи, элемента страха во мне нет, который бы мешал исполнить что-либо нужное. Но эти свойства суть только свойства пассивные или отрицательные для такого дела. Такого рода дела требуют еще многих других качеств, которые можно считать положительными. Не скажу, чтоб я был вовсе лишен некоторых из них, но не могу не признаться искренно, что сам сознаю, что некоторые из них не могут или едва ли могут соответствовать всем потребностям тех положений, в которые можно быть поставленным обстоятельствами такого дела. От недостатка в них успех дела не должен страдать, особенно когда он весьма удобоисполним. Если б

в лице, обладающем, так-сказать, исполнительными свойствами в достаточной степени, они не заключались в надлежащей мере, из этого еще нельзя заключать, чтоб другие ими не обладали вполне... Мне кажется, что в сем случае обязательно для всякого, сознающего свою недостаточность, отбросив всякое самолюбие в сторону, обратиться с просьбою о нравственном и положительном содействии ко всем тем, кто его оказать может и искренно хочет. Разумеется, что на такой вывод отзовется всякий живой, честный и благородный человек... Но можно ли принимать без выбора содействие всякой личности, обладающей этими свойствами,—хотя и только одним советом? Мне кажется, что нельзя. В таких делах одной честности и жизненной энергии мало. Даже при сих одних условиях—в верности обсуждения таких дел лицами, обладающими только вышеозначенными свойствами, я имею немало причин сомневаться. Это убеждение мне дал опыт, практика жизни. Вот почему именно изъяснить не считаю лишним, чтоб утверждение мое не показалось произвольным. Вы, вероятно, не станете оспаривать того, что все мы русские—существа какие-то пришибленные, в нас всех ощутителен недостаток самостоятельности личной, в смысле гражданском, все мы трусы, хоть и храбры в кулачной драке и военной резне. Эта трусоватость, проистекающая от недоверия к указаниям нашего собственного ума, и заставляет нас создавать всякие призраки и видения, которыми мы сами себя запугиваем, мешает нам сознавать действительность такою, как она есть, извращает наши суждения, особенно препятствует правильно обсудить почти всякое дело, особенно такое, в котором частное лицо является в коллизии с властью. Даже обдумать нам это основательно страшно. Мы в этих случаях до того трусливы, что даже и в дружеском кругу боимся нашу мысль высказать вполне. Нам все мерещится за спиною квартальный. Если и явилась у нас в голове здравая мысль, вызывающая на поступки, отклоняющиеся от принятых обычаем форм действия, вроде подходцев к властям с задних крылец и приобретения покровителей в их передних, мы способны перепугаться такой смелости, готовы от нее отчуракиваться всячески, как от бесовского наваждения. Во всем нам милы объезды, езда проселком. Еще мы все одурачены до некоторой степени перешедшим к нам по наследству, разрушающим бодрость духа религиозным благоговением ко всякой власти. На всякую административную тлю, особенно в генеральском чине, мы смотрим

как на богов-громовержцев. Позабывая, что это плохие марионетки, их грозные тучи—намалеванный картон, гром—звук латуни, молния—тот порошок, что можно купить на грош во всякой столичной лавке, мы их пугаемся, падаем ниц и ждем от их благосклонности того, что принадлежит по праву, чем можно пользоваться даже и вопреки их желаниям, при самом ничтожном усилии воли и малейшей самостоятельности в практической деятельности... Еще нам всегда и всем хочется быть bons enfants. Этих желаний не чужды энергические и широкие наши натуры. Мы ждем, чтоб нам платила за либерализм администрация и в тех случаях, когда он идет вопреки ее эгоистичным, личным выгодам. Ждем наград и поощрений... Даже внешнее выражение нашего сочувствия к прогрессу мы желаем обратить в меновую ценность, на которой не совестимся без всякого риска наживать более 100%... В сих случаях мы хорошие практики... и являемся энергическими деятелями прогресса. Меру нашей энергии определяет мера взятых ни за что процентов в барыш!.. Во всем другом мы не умеем выказать энергии, даже резко обозначенных и определенных положений мы не любим, их мы боимся, они нас тяготят не тогда только, когда мы сами в них попадаем, но даже когда и другие в них бывают, ибо такие положения, как говорят французы, заставляют нехотя иногда se prononcer. Зачем оставлять неопределенность, ни к чему не обязывающее положение, удобное для всякой сделки с совестью? Это большинство таково. Даже и те, которые выдают себя картинно за более решительных поборников прогресса, по большей части не надежные его двигатели, а только диллетанты, ибо редкий даже из немногих этих людей затруднял благородную свою голову мышлением о том, чтоб определить ясно для себя условия, обеспечивающие и способствующие к ускорению общественного развития во всякой данной местности, где ему приходится жить и быть. Наполеона как уничтожить—знают, а как сдержать от предосудительных выходок полицейскую козявку—не знают. Это они считают черной работой, недостойной и унизительной для их духа и высокого разумения. Тогда как в этом и есть вся суть. Эти г.г., пламенно желая результатов общественного развития, ничего не делают для того, чтоб оно совершалось. Всякое бездельное дело приводит их в раздумье. В раздумывании идет время, и удобные для успеха моменты теряются. Не бывши тружениками прогресса, они уже хотят быть своего рода гран-сениорами. Если смело

поглядят на будочника на гуляньи, уже думают, что они Муции Сцеволы перед Порсеною. Если от начальства получат неприятный намек, то думают, что их катают в бочке с гвоздями, как Регула... Счастливые доблестями такими спешат скорее приютиться в кустах... Это общие наши национальные свойства. Они ведут к ложным заключениям и нецелесообразным действиям. Можно не ошибаться в частном, когда сознаешь хорошо общее. Это лишнее при талантливости натур!..

Если такою является бóльшая часть и, м. б., лучшая часть тех, которые хотят быть (а м. б., и есть) поборниками прогресса в России, иными не могут и, разумеется, не сумеют быть те, которые хотят ими здесь являться. Сентиментальное (практически бесплодное) сочувствие многих я могу ожидать, но положительного и солидного содействия едва ли от нескольких можно ждать, не обманывая себя сознательно!..

Это воззрение на живые общественные силы, на то, какие они в действительности, и заставляет меня считать Вас в В. С. едва ли не единственным лицом, содействие которого я могу считать во всех отношениях удовлетворительным и надежным. По причинам вышеизложенным оно для меня особенно многоценно.

Если в сфере научной правильное разрешение вопроса зависит от уменья его поставить, в практике же успех всякого дела зависит от уменья за него взяться, от верности выбора точки исхода, от уменья воспользоваться благоприятными обстоятельствами или их создавать. В этом отношении советы, которые Вы мне не откажетесь дать, я уверен, могут предохранить от ошибок, которыми могли бы воспользоваться наши противники.

Те безумные действия, те злоупотребления, в которых Вы смело, громко (и даже несколько снисходительно) обвинили власти, обстоятельства (сделавшие меня истцом против властей тех же) представляют удобный случай—такие факты из области литературы перенести на жесткую почву нашей юрисдикции и сделать их предметом формального ведения судебных учреждений. Они должны явиться как доказательства пристрастия, несправедливости противу меня. Печатное слово и общественное мнение должны дать силу, вес и обеспечить успех такого обвинительного акта.

Жалобу мою на насильственный увоз меня из Ир. я подал министру внутренних. Я послал 9 мая. Копия с нее должна быть из Ир. Вам послана. Если она не отослана, то с сим же письмом к Вам пошлется. Прошение мое может

иметь следующие последствия: 1. Оставлено без внимания. 2. За резкость выражений подвергнуть суду или взысканию. В обоих случаях по порядку должен жаловаться в сенат. Как в том, так и в другом случае сторону доказательств—агрессивную или обвинительную часть моего прошения к М. В. Д.—должно подкрепить доказательствами, т.-е. фактами. Развить ее, как общее добро сего требует. Это требует хорошей подготовки материалов. Их надо собрать заранее, их надо брать отовсюду, чем их будет более и разнообразнее, тем лучше. В этом отношении очень и очень рассчитываю на Ваше содействие, также и на содействие в известной степени (колико таланта хватит) всех тех, чью душу мутит безумие властей, кому дело прогресса близко к сердцу.

Меня также весьма интересует вопрос об обстановке, т.-е. практических средствах успеха. Юридич. сторона дела есть только формальность, которая значение и вес может иметь при известных условиях или сочетании обстоятельств. Если б его не было (я думаю, что на деле противное), то их нужно произвести. Вот в сем и дело, или, выражаясь точнее, механика дела. C'est une question de la tactique pratique. Только старым бойцам известны доброта оружия и извороты боевого дела. Решительный боец не пожалеет потерять руку, чтоб видеть голову врага у своих ног. A la guerre comme à la guerre. Pas de grâce.

Жду от Вас ответа на это письмо с большим нетерпением, но до получения Вашего ответа, т.-е. приличных наставлений Ваших как и что делать, я сам от лица своего не совершу никакого формального юридического действия в этом направлении. Ваш ответ может прийти во-время ко мне из Читы, ибо ранее июля я не могу рассчитывать получить известие о том, что сделано с моим прошением к М. В. Д.

Пишите мне на мое имя в Минусинск страховым письмом, поселенцу Михаилу Васильевичу Буташевичу-Петрашевскому. Оно дойдет. Все письма страховые доходили во-время и в порядке.

Желаю всего хорошего,
Ваш с. п.
М. Буташевич-Петрашевский.

Что у Вас за отнятие жены у Ланина? Про то, что у Вас деется, сообщите. О чем спросите, о том и буду давать Вам ответы. О известиях из Спб. не пишу, ибо Вам они, вероятно, лучше моего известны.

II

СУД НАД ПЕТРАШЕВЦАМИ

МЕМУАРЫ И. Л. ЯСТРЖЕМБСКОГО [1])

22 апреля 1849 года я возвратился в свою квартиру в Технологическом институте поздно, или скорее это случилось 23-го в третьем часу утра. Я опустил шторы и улегся спать. Но едва успел задремать, как услышал, что кто-то приподнимает штору, и тут же заметил какую-то черную массу, в полумраке движущуюся по комнате, и над ней развивающийся белый конский хвост.

Черная масса приблизилась к моей кровати и спросила:

— Вы ли помощник инспектора классов Ястржембский?

Я отвечал: «да». Тогда масса объявила мне, что она — полковник корпуса жандармов, добавляя, что «арестует меня по воле государя императора», и тут же подала мне какую-то бумагу, сладенько произнеся: «Творю волю пославшего мя». Я сказал на это, что вижу, кто он, и потому не имею нужды читать его бумаги, и попросил позволения напиться чаю. Тогда он вышел в другую комнату и послал кого-то за полицмейстером института.

Я последовал за ним и увидел целую полицейскую команду московской части с частным приставом во главе.

Явились полицмейстер и директор института ген. Блай. Жандармский полковник потребовал мои бумаги, вложил их все вместе в портфель, велел его запечатать моею печатью, собрал книги и куда-то их уложил, составил, кажется, протокол и передал остальные мои вещи полицмейстеру института; но предварительно обшарил всю мебель и даже висевшие на стенах картинки, при чем те из них, которые были наклеены на папке, разрезал.

---

1) «Минувшие Годы», 1908, № 1, стр. 20—37. Записка, которою пользовался О. Ф. Миллер. Ред.

Мы вышли на двор, и там я увидел карету, в которую мы и поместились и поехали, как я догадывался, в III Отделение.

Как все мои знакомые молодые люди, так и я,—все мы были так заняты начавшимся тогда в Европе социально-экономическим движением (политикой в собственном смысле мы не занимались), что почти не обращали внимания на то, что делалось в России и в Петербурге. Поэтому неудивительно, что я не догадался, по какому случаю меня арестовали, и все надеялся, что сейчас после объяснения в III Отделении меня отпустят. Оказалось, однако, что я считал без хозяина.

Мы приехали в III Отделение и вошли в большие сени, где я с удивлением заметил стоявшую посредине большую статую Венеры Каллипиги.

В зале я заметил всех, с кем я встречался на вечерах у Петрашевского, и его самого.

После долгого, почти десятичасового ожидания, меня позвали в кабинет ген. Дубельта. Тот, посмотрев на меня, сказал: «Г. Ястржембский, я вам отвел здесь квартиру».

Арестовавший меня жандармский полковник сдал меня жандарму, и меня повели через двор в нумер арестантского помещения. Там посетил меня и граф Орлов и спросил только: «как ваша фамилия?».

В течение целого дня я в окно видел въезжающие во двор почтовые телеги, из которых высаживались разные лица в сопровождении жандармов.

Наконец, в 9 часов вечера ко мне в номер вошел жандармский унтер-офицер и велел мне одеваться и итти за ним.

Мы пошли опять в кабинет ген. Дубельта, где я застал жандармского поручика, которому ген. Дубельт отдал какой-то толстый пакет, а мне сказал: «поезжайте с этим офицером». Мы вышли, сели в карету и поехали.

Я недоумевал, куда мы едем. Мосты были только что разведены, и лед из Ладоги еще не проходил, и притом был сильный ветер, чуть не буря. Мне казалось, что мы никак не могли ехать в крепость.

Однако мост оказался наведенным, и мы приехали в крепость к комендантской квартире.

Там привезший меня офицер сдал меня коменданту, а два солдата крепостной инвалидной команды отвели меня в место моего содержания, которое, как я узнал впоследствии, было Алексеевский равелин.

В равелине я просидел с 23 апреля по 23 декабря 1849 г., и если бы мне пришлось посидеть еще неделю, я, вероятно, не вышел бы из него живым.

Все гигиенические условия были там удовлетворительны: чистый воздух, опрятность, здоровая пища и т. д., все было хорошо; доказательством того может служить то обстоятельство, что, хотя в то время в Петербурге была сильная холера, из заключенных не заболел ни один. Убивающее влияние на меня оказало одиночное заключение. При одной мысли, что я нахожусь «au secret», уже через две недели заключения со мною стали случаться нервные припадки, обмороки и биение сердца.

Приступлю к специально теперь занимающему меня предмету—к допросам в следственной комиссии и к тому, что случилось со мною на так названном суде. Вспоминая теперь все это, никак не могу сказать: «dulce est et decorum pro patria mori».

В половине мая, вечером, после того как мой нумер заперли снаружи и вынули ключ для отнесения его смотрителю, опять я услышал, что ключ щелкнул в замке; дверь отворилась; вошли солдаты и ефрейтор и подали мне мое платье, которое в первый вечер моего пребывания в равелине было от меня отобрано и заменено местным халатом и ночным колпаком; велели мне одеваться и итти за ними. Я оделся, вышел в коридор и увидел там смотрителя, полковника Яблонского (фамилию, разумеется, я узнал гораздо позже), в сопровождении которого я и пришел в квартиру какого-то чиновника комендантского управления, отведенную для заседаний следственной комиссии.

Не могу здесь не вспомнить, что этот Яблонский, полковник по армии, производил на меня неимоверно удручающее впечатление. Высокий ростом, кривой на один глаз, седой, как лунь, в то время как я привык видеть самых старых генералов черноволосыми (как известно, тогда красить свои куафюры военным было обязательно), он единственным своим глазом всматривался в меня так пристально, что, мне казалось, он так и хотел сказать: «знаю я тебя, голубчик... лучше сознайся».

Не могу допустить, что это впечатление явилось у меня вследствие того, что он был тюремный смотритель. Ведь был же там и другой офицер, инвалидный поручик, но он на меня нимало не производил отталкивающего впечатления. То был обыкновенный служака, который исполнял свою

должность бессознательно, не сознавая решительно всей ее нравственной неприглядности. Напротив, Яблонский, видимо, знал, что делает, он сознавал всю подлость своей обязанности и все-таки ради разных выгод исполнял ее «con amore». В его единственном взгляде ясно отражались кровожадность кошки и хитрость лисицы. С первого взгляда его собеседника могла ввести в обман ленточка Георгия в петлице, но это продолжалось недолго, в особенности если делалось известно, что он орден этот получил, служа в фельдъегерях и храбро удирая на фельдъегерской телеге в 1812 году, когда ему в глаз выстрелил какой-то французский застрельщик.

Впрочем, не знаю, может быть, такое мнение о полковнике Яблонском я себе составил вследствие расстройства моих нервов.

Как бы то ни было, мы пришли в квартиру, в которой заседала следственная комиссия. Полковник Яблонский ввел меня в комнату, в которой никого не было. Увидев себя в зеркале, я ужаснулся. Прибыл я в равелин молодым, цветущим здоровьем тридцатилетним мужчиной,—в зеркале я увидел исхудалого, с помутившимися глазами шестидесятилетнего старика. Моя шляпа была вся покрыта зеленою плесенью. Через запертую дверь в другой смежной комнате я услышал веселые голоса детей и через щель в двери увидел и самих детей, весело болтавших с пришедшим на праздник братцем-кадетом. Как подействовали эти отголоски жизни на меня, заживо погребенного в мрачной могиле, я выразить не в состоянии.

Наконец, после долгого ожидания мы с полковником Яблонским вошли через сени в комнату, в которой заседала следственная комиссия.

В этой комнате, за продолговатым столом, сидели следователи. Из них я знал только генерала Набокова, коменданта крепости, который меня посещал в равелине, генерала Ростовцева, начальника штаба военно-учебных заведений, где я был преподавателем, и генерала Дубельта. После я узнал имена и других двух следователей-инквизиторов,—то были генерал князь Долгоруков, бывший впоследствии шефом жандармов, и князь Гагарин, впоследствии председатель государственного совета.

Все эти господа смотрели на меня в упор, за исключением генерала Ростовцева, сидевшего ко входной двери спиной, и с видимым любопытством, особенно князь Гагарин, кото-

рый принял на себя руководство ведением следствия, хотя председателем комиссии был генерал Набоков.

Сначала они перемигивались между собою и посылали один другому какие-то записочки, и, наконец, князь Гагарин напустился на меня.

— Вы сошлись с заговорщиками и крамольниками и изменили отечеству! Мы все знаем. Лучше сознайтесь и раскайтесь (разумеется: «выдайте других»). Раскаяние будет вам в пользу.

Заметив при слове «отечество» на моем лице некоторое волнение и как бы желание возражать и протестовать против этого слова, он добавил:

— Да, отечеству, вами избранному.

Он, вероятно, предполагал, что я стану протестовать и против выражения «отечество избранное», но я, очень хорошо понимая, к каким опасным для меня спорам и препирательствам повел бы всякий с моей стороны протест, и желая поскорее узнать, в чем меня обвиняют, хладнокровно ответил:

— Россию я почитаю за отечество, данное мне провидением!

Я очень хорошо знал, что если бы вместо слова «провидение» я употребил выражение «непреложные законы исторической жизни», то почтенные члены следственной комиссии, наверное, меня бы не поняли. Это заявление прекратило все пререкания, которые не повели бы ни к чему для меня хорошему.

Тогда И. Я. Ростовцев с приторно-сладенькой улыбкой и тоном ben comando сказал: «ужели вы, г. Ястржембский, не видели, что собиравшиеся у Петрашевского были заговорщики и изменники».

На это я отвечал: «что я уже во второй раз слышу слова «заговор» и «измена» и категорически заявляю, что судить о том, заговорщики ли и изменники лица, которых я видывал у Петрашевского, я не берусь, но что в их поведении ни заговора, ни измены я не замечал, что же касается до меня лично, то я твердо протестую, что я верноподданный и никогда долга верного подданного ни в чем не нарушил».

Тогда князь Гагарин напустился на меня снова:

— Как вы смеете утверждать, что они не заговорщики и не изменники? Сознайтесь, что они именно таковы...

Я отвечал:

— Я не утверждаю нимало, что они не заговорщики и не изменники, только заявляю, что об этом ничего не знаю.

Тогда князь Гагарин, обращаясь к сидевшему позади него за особым столиком какому-то чиновнику с красным воротником, взял у него лист бумаги и приказал мне написать на нем мое заявление о лицах, бывших у Петрашевского.

Я написал дословно так: «О том, заговорщики или изменники означенные лица, я ничего не знаю, но если господа члены следственной комиссии признают их таковыми, то я спорить и прекословить не смею».

Когда красноворотный чиновник прочитал это, то и он вздумал показать, что и он-де не последняя спица в колеснице, и, обращаясь к князю Гагарину, сказал:

— Да ведь, «он» написал не то, что говорил.

«Он» было произнесено с невыразимым акцентом; в этом акценте явно слышалось: «он—изменник, не стоит суда: его бы прямо на плаху!; а я, мол,—член следственной комиссии, благонамеренный чиновник, очевидно, заслуживаю 25 рублей награды или, по крайней мере, Анны третьей степени, или хоть уже Станислава».

Но эту его прыть немного посбил генерал Ростовцев, сказав тоном, поставившим его тотчас же на надлежащее место:

— Г. Ястржембский написал то, что следует.

Тогда начались допросы.

Князь Гагарин: «Что вы скажете о Вильне?».

Я: «В Вильне я не был с 1832 года».

Кн. Гагарин: «Что вы знаете о Варшаве?».

Я: «О Варшаве знаю только, под каким градусом широты и долготы она лежит».

Тут члены комиссии переглянулись между собой и опять начали друг другу передавать записочки.

Князь Гагарин—человек совсем пожилой, складом своей речи, акцентом и всеми приемами сделал на меня впечатление бюрократа старой школы, воспитанного в малороссийской семинарии и даже в разговорной речи сохранившего слог бумаг канцелярских и семинарских риторик.

Генерал Ростовцев, видимо, старался принять вид участия и сострадания, при чем выказываться в характере доброго и очень вежливого начальника, не очень взыскательного по части служебного этикета. Однако, по крайней мере, по отношению ко мне, это ему вполне не удалось. Он мне показался слабохарактерным и двуличным челове-

ком. Такое мое впечатление подтвердилось впоследствии его действиями в комитетах по освобождению крестьян.

Генерал Набоков, видимо, в комиссии чувствовал себя не на своем месте; казалось, он вполне был убежден в существовании зловредного заговора вообще и в моей к нему прикосновенности—в особенности; но в чем именно состоял заговор и какая была моя вина, он в этом не мог дать себе отчета.

Князь Долгоруков—почему-то и сам не знаю—произвел на меня впечатление очень симпатической личности.

О генерале Набокове скажу еще, что он казался непоколебимо убежденным в том, что я—республиканец и коммунист и что я пропагандировал коммунистические и республиканские идеи. Притом он несколько раз высказывал убеждение, что иметь только образ мыслей, несообразный с обыкновенно принятым шаблоном, уже само по себе составляло преступление, достойное казни: что если человек арестован и, особенно, если он посажен в Алексеевский равелин, то уже ему по праву нечего ожидать чего другого, кроме плахи или, по крайней мере, каторги. Он при всяком вопросе князя Гагарина, обращенном ко мне, посматривал на меня глазами, в которых я читал ясно:

«Что? А ведь ты виноват!».

При всяком моем ответе, казалось, недоумевал, как это я осмеливаюсь возражать на такие меткие вопросы, а не прошу на коленях прощения или снисхождения. Он, видимо, был очень напуган появившимся тогда во Франции и в Европе так названным социализмом.

Вопросы же, обращаемые ко мне в следственной комиссии, как увидит читатель, были просто нелепы, тенденциозны и пристрастны. Они уже заключали в себе прямые обвинения, которых, однако, или нельзя было доказать, или такие, которые, даже доказав, не за что fouetter les chats, а тем более морить человека в равелине, и при том вопросы эти делались лишь для формы, решение же моей участи было принято давно и безапелляционно, в чем и князь Гагарин сознался откровенно при допросе Дурова.

Вот эти знаменитые вопросы:

Кн. Гагарин: «Давно ли вы сделались республиканцем?».

Я: «Когда мне было 17 лет, я было пристрастился к республиканскому образу правления, прочитав Плутарха, Тита Ливия, Тацита и др., но после, в зрелом возрасте, при-

смотревшись к истории и фактам жизни теперешних европейских народов, я переменил совершенно мнение и вижу, что для этих народов единственно пригодный образ правления—монархический; я—твердо убежденный монархист».

Тут генерал Набоков посмотрел на меня с таким наивным недоумением, что будь это при иной обстановке, я бы непременно расхохотался.

Кн. Гагарин: «Вы коммунист, последователь Прудона?».

Я: «Это я отвергаю; напротив, на вечерах у Петрашевского я не без успеха опровергал учение Прудона о поземельной собственности. Почитаю необходимым заявить, что я убежденный последователь учения Фурье».

Прежде чем я успел договорить это, генерал Набоков, услышав, что речь идет о Прудоне, перебил меня и с улыбкой не то осуждения, не то сострадания о моем увлечении учением Прудона сказал:

— А ведь Прудон в тюрьме!

Почтенный комендант Петропавловской твердыни и командир гренадерского корпуса, нечаянно-негаданно превратившийся в инквизитора, присяжного заседателя и вместе судью по политическому делу, о сущности которого, равно как и об обязанностях принятой на себя роли судьи, не имел решительно ни малейшего понятия, был твердо убежден, что если уже кто посажен в тюрьму, то, конечно, он уже тем самым виноват и заслужил казнь.

В то время, как известно, военные почитались способными, по самой причине ношения эполет, на занятие всяких самых разнообразных должностей. Так, Клейнмихель был министром путей сообщения, он же на должность директора Института Путей Сообщения назначил пехотного ступайку генерала Энгельгардта. Тогда был в ходу анекдот об очень характеристической остроте великого князя Михаила Павловича. Сказывали, что будто один раз император Николай Павлович сказал брату, что он находится в затруднении, кого назначить на открывшуюся вакансию петербургского митрополита. Михаил Павлович отвечал на это будто бы: «назначьте Клейнмихеля».

Всякого мало-мальски мыслящего человека, конечно, удивит и поразит, что для производства следствия по делу, в котором не было и помина о каких-либо преступных действиях, а только исследовались мнения и тенденции, и для чего, конечно, необходимо было поручить дело ученым спе-

циалистам, назначены были круглые невежды. А эти невежды решали участь многих молодых людей и упекли их в Сибирь.

Допрос продолжался.

Кн. Гагарин: «Вы насмехались над здешнею чиноманиею, над чиновниками и сравнивали Россию с Китаем?».

Я: «Это не совсем верно. Я сознаюсь, что не понимаю значения теперешних чинов, которые при их введении императором Петром I соответствовали определенным должностям, а теперь составляют одни пустые титулы. Я понимаю то значение и вес, которые человеку дают в обществе рождение, знатность, богатство, заслуги государству, талант, но значения чина не понимаю. Если же мне иногда (чего, впрочем, не помню) и случалось насмехаться над некоторыми чиновниками, имеющими слишком высокое или неправильное понятие о своей чиновности, то в этом я столько же виноват, сколько и актеры Александринского театра и авторы различных пьес, в которых выставляются в смешном виде чиновники; между тем и актеры эти и авторы не привлечены к ответственности».

Кн. Гагарин: «Вы в своих речах осмелились поносить высших сановников и даже дерзко отзывались о священной особе государя императора, называя его богдыханом?».

Я: «Не знаю, о каких таких сановниках ваше превосходительство говорите и при ком и в каких обстоятельствах я будто отзывался о них дурно. Что же касается слова богдыхан, то я самым решительным образом отвергаю это обвинение и утверждаю, что ложно».

Кн. Гагарин: «Десять человек подтвердили это обвинение».

Я: «Надеюсь, что мне с ними будет дана очная ставка».

Молчание.

Надо заметить, что никогда ни я, ни еще кто-либо другой на вечерах у Петрашевского (а что касается меня, то и ни в каком-либо другом месте) даже не вспоминали имени императора Николая Павловича. Что же касается сановников, то об одном из них я говорил действительно и разговор этот я привожу здесь откровенно.

В то время в целой России было много сильных пожаров. Тогдашний министр внутренних дел Перовский по этому поводу не выдумал ничего лучше, как воздвигнуть гонение на зажигательные спички. Спички были обложены пошлиной,

так что пачка, стоившая 1 коп., продавалась по 1 рублю. Министр финансов Вронченко энергически противился обложению спичек пошлиной, и Перовский воспользовался его болезнью для того, чтобы провести эту меру. Надо же было случиться, чтобы Вронченко вскоре после этого был пожалован графский титул. Это пожалованье возбудило неудовольствие так называемого (неизвестно на каком основании) аристократического кружка в Петербурге.

Пришедши один раз к Петрашевскому, я застал многих молодых людей, желавших, вероятно, заявить о своей принадлежности к аристократии, порицающих это пожалованье и трунящих над Вронченко. Случилось так, что тогда же я получил, конечно, с утверждения Вронченко, награду 500 рублей. Натурально, я стал защищать министра финансов. Кто-то из присутствующих сказал: «Какой он министр?». Я возразил: «Он министр, как и все другие, укажите мне лучшего». Мне назвали Перовского. «Перовский,—сказал я,—вот министр! Выдумал пошлину на спички для избежания пожаров. Да я предлагаю проект гораздо лучше. Ведь пожары производят не спички, а руки. Вот я предлагаю, чтобы руки всех граждан Российской империи были всегда связаны и чтобы они не могли употреблять их иначе, как с разрешения и под надзором полиции, для чего всякий раз обязаны подавать прошение на 15-тикопеечной бумаге».

Если бы об этом разговоре меня спросили в следственной комиссии подробно, я бы непременно сознался, а может быть, и повинился бы; но комиссия сочла за лучшее умолчать об этом и все-таки сюда приплела нелепую сказку о богдыхане.

Кн. Гагарин: «Вы сказали: я поляк и за восстановление польской народности дам из себя выпустить до последней капли крови; но я первый же отрублю этой народности голову, если ее восстановление будет противно благу человечества!!! Правда ли это?».

Я: «Да—правда. Но, во-первых, я знаю, что император всероссийский есть в то же время и король польский, и потому, говоря это, я ни мало не нарушил долга верноподанного. (Другими словами—обвинять меня за это по первым трем пунктам нельзя.) А во-вторых, вы неточно привели вторую половину сказанной мною фразы; я сказал: что если бы однако восстановление польской народности было сопряжено с кровопролитием, то я бы от него готов отказаться».

Князь Гагарин очень хорошо понял, что вопрос его не

более, как удар шпаги в воду, и что в государственной измене меня обвинять нельзя.

Это, очевидно, было ему не по душе.

«Вот и вылгался, вот и извернулся,—вскричал он и сейчас же добавил:—О, если бы я мог найти какую-нибудь каверзу (дословно), чтобы его утопить, я бы употребил ее непременно».

Я обратился к генералу Ростовцеву.

— Ваше превосходительство, Иван Яковлевич, ведь это называется пристрастным допросом, который русскими законами не допускается. Я обращаюсь к вам, как к моему начальнику, прося защиты, протестую и прошу, чтобы мой протест был записан в протокол.

Генерал Ростовцев стал меня успокаивать:

— Не беспокойтесь, вас не желают засудить, а князь выразился так потому, что вы не хотите сознаться, а сознание было бы для вас лучше.

Относительно только что приведенного сделанного мне князем Гагариным вопроса нельзя не заметить, что он совершенно нелеп. И это потому, что очевидно, что сведения комиссии по поводу моего разговора были неполны. Не знаю, кем разговор этот был передан комиссии, но он происходил не у Петрашевского, и о нем знали только Дуров и Пальм. Вкравшийся к Петрашевскому шпион Антонелли, который передал все, что слышал у Петрашевского (конечно, с добавлениями и вариациями), о нем знать не мог.

Дело было так:

С Пальмом и Дуровым я бывал часто в Красносельском лагере. Там было несколько молодых офицеров, бывших моими учениками. Один раз я там пробыл с неделю и тогда познакомился с полковником Даровским, помещиком Петербургской губернии, как и Петрашевский, который вместе с Петрашевским в дворянском собрании внес проект освобождения крестьян, что привело министра Перовского в бешенство.

Беседуя с офицерами, бывшими моими воспитанниками, я, натурально, часто касался предметов, которые преподавал им в классах, на что они меня сами вызывали. Тогда только что начала зарождаться так называемая теория национальностей, и некоторые давно придавленные национальности стали пробуждаться и заявляли о своем существовании, между прочими чехи и мадьяры.

Раз у нас зашел разговор об этом предмете. Некоторые из присутствующих выразили мнение, «что поляки-де не заслуживают возрождения, так как они все ретрограды, аристократы и клерикалы». На это я возразил: «Вы, господа, ошибаетесь, поляки далеко не все такие; вы берете во внимание Польшу до 1791 года, но с тех пор прошло много времени и много кой-чего изменилось. Если Польше суждено воскреснуть, то она явится в форме новейшего, а не средневекового государства». Воодушевляясь все больше и больше, я добавил: «Господа, я поляк и за возрождение Польши дам из себя выпустить до последней капли крови; но если бы я был уверен, что Польша возродится в форме государства средневекового, то я бы первый принес топор, чтобы отрубить ей голову».

Конечно, речь эта была следствием увлечения молодости и пылкого характера, но в ней, по крайней мере, был смысл; вопрос же князя Гагарина был лишен всякого смысла. Особенно «благо человечества», для которого я (титулярный советник, учитель) будто бы жертвовал участью Польши.

Надо заметить, что, произнося слова: «я изрублю польскую народность, если этого потребует благо человечества», князь Гагарин особенно рассвирепел, воздел руки и очи горé и бросил на меня взгляд, полный негодования. Из этого я заключил, что настоящее-то мое преступление и состоит именно в том, что я взял на себя заботу о «благе человечества», когда благо это подлежит попечению исключительно одних лишь высокопоставленных.

Следующий затем вопрос, при полном бессмыслии, представлял еще следы ехидства и подлости шпиона Антонелли, вызвавшего его своим доносом.

Кн. Гагарин: «Вы сказали у Петрашевского, что в военно-учебных заведениях статистика называется статистикою потому, что так повелел великий князь Михаил Павлович».

Чудовищная нелепость этого вопроса так меня поразила и озадачила, что я не вдруг нашелся, что ответить. Генерал Ростовцев взялся опять ободрять меня:

— Не беспокойтесь, г. Ястржембский, сознайтесь, не обращайте внимания на то, что здесь упоминается имя великого князя; его высочество по отношению к вам стоит так неизмеримо высоко, что ваши слова не могут его обидеть.

Несмотря на сладенький тон, которым эти слова были

произнесены, я очень хорошо заметил все их инквизиторское ехидство.

— Я не могу,—отвечал я,—сознаться в том, что я сказал такую нелепость. Я думаю о себе настолько хорошо, что говорить таких нелепостей неспособен. Я сказал вот что: однажды у Петрашевского я читал рассуждение «о предмете статистики, как науки». Напомнив о том, что многие ученые от Ахенбаха до Кетле не только еще не выяснили значения статистики в области наук, но еще спорят даже о ее названии, я заметил, что все равно как называть науку, а важно точно обозначить ее предмет. Если люди живут в обществе и государстве, то должна существовать и наука о законах общественной и государственной жизни, и ничто не мешает назвать эту науку статистикой; цифры же, выражающие собою статистические данные, не больше, как формулы законов государственной жизни, формулы положительные или отрицательные, выражающие отступление от этих законов и последствия этих отступлений, формулы, взятые из опыта и наблюдений, на которых ученые основывают свои выводы. Такая наука преподается в военно-учебных заведениях и по программе, утвержденной великим князем, называется статистикой.

Замечу здесь, что, как известно, такая наука народилась в последнее время под названием «социологии».

Князь Гагарин опять вскрикнул: «вот и извернулся», но о каверзе уже не вспомнил.

Наконец, последний вопрос:

Князь Гагарин: «Вы возмущали в Петербурге простой народ и проповедывали извозчикам, что надо убивать господ?».

На это я ответил, что «это просто неправда».

Тогда князь Гагарин возразил: «вы положительно проповедывали эту мысль одному извозчику, с которым ехали по Екатерининскому каналу».

Я опять отрицал это.

Тогда князь Долгоруков в первый раз прервал молчание и сказал: «Да ведь мы же отыщем этого извозчика и сведем вас с ним на очную ставку».

На это князь Гагарин с улыбкой заметил: «он-де (т.-е. я) очень хорошо знает, что этого сделать нельзя».

Во мне же слова князя Долгорукова породили убеждение, что его благородная натура не способна была к роли политического сыщика-инквизитора.

Основанием этому обвинению послужило следующее обстоятельство. У меня несчастная привычка фланировать и вступать в разговоры с лицами знакомыми и незнакомыми, но охотниками поболтать. В то время привычка такая, как я узнал по опыту, вела к большой опасности. Есть у меня еще и другая не менее несчастная и не менее опасная привычка думать вслух.

Однажды, действительно, я торговался с извозчиком; он запросил тридцать копеек, я же убеждал его довольствоваться двадцатью. Желая отстоять свою цену, извозчик приводил то обстоятельство, что он обязан платить оброк барину. На это я в шутку ответил: «ну, уж лучше на этот раз ты барину оброк убавь, а с меня возьми двадцать копеек». Извозчик, хотя и согласился, но, едучи со мной, все жаловался на значительность оброка, при чем сказал: «Некому за нас заступиться, бог высоко, царь далеко». В это время я задумался и, по обыкновению, стал думать вслух: «Вот французы, немцы и прочие нехристи свободны, а православные русские в рабстве».

Этот случай я рассказывал у Петрашевского, а мой рассказ подслушал Антонелли и донес, куда следует, конечно, с добавлениями и извращениями собственного изобретения.

В следственной комиссии я рассказал откровенно, как было дело, не знаю, поверили мне или нет, но после ни в следственной комиссии, ни в судебной об этом эпизоде не упоминалось.

Допрос кончился, и князь Гагарин, после сделанного мне еще раз увещания раскаяться и чистосердечно сознаться, велел мне удалиться. Я опять с полковником Яблонским и инвалидом отправился в равелин.

Недели, кажется, через две, а может быть, и больше, хорошо не помню, тот же полковник привел меня опять в ту же квартиру в крепости. В прежней комнате я застал тот же, что и прежде, состав комиссии.

Мне дали лист бумаги, на котором после обыкновенных вопросов о моей фамилии, звании, вероисповедании и т. д. были написаны те же вопросы, которые прежде мне были деланы словесно, велели садиться и отвечать.

Я сел за стол между генералом Дубельтом и князем Долгоруковым.

Когда я стал читать вопросы и взялся за перо, чтобы писать ответы, я был до того взволнован и мои нервы были так потрясены, что, вероятно, это отражалось на моем лице,

потому что генерал Дубельт начал меня успокаивать и посоветовал быть похладнокровнее и обдумывать свои ответы.

Этот, может быть, ничтожный знак, не говорю участья, но просто человеческого отношения к обвиняемому, ободрил меня несколько, и я, заметив себе внутренно, что стыдно быть малодушным, стал писать ответы.

Здесь замечу, что, кроме того, что чувствую благодарность к генералу Дубельту за такое его со мной обращение, но должен сказать еще, что память его подвергается часто незаслуженному нареканию. Я знаю несколько случаев, в которых он сделал всевозможные облегчения политическим обвиненным, и не знаю ни одного случая, чтобы он погубил кого-либо. Конечно, он был не герой добродетели, но спрашивается, много ли таких героев?

На вопросы письменные я дал дословно те же ответы, что и на словесные.

Но прежде чем отпустить, генерал Ростовцев сделал какое-то замечание насчет моей деятельности, как преподавателя в военно-учебных заведениях. На это замечание, которого я не расслышал, генерал Дубельт вполголоса сказал: «ему ли учить русских детей!».

Повторяю, я замечания генерала Ростовцева не расслышал, но мне послышались слова вроде потрясения основ, превратных толкований и т. п. По поводу этого замечания я, как это объясню ниже, в моих письменных ответах сделал один промах, за который я, как юрист, крепко себя упрекаю. Именно: я забежал вперед, отвечал на то, о чем меня не спрашивали.

Надо заметить, что тогдашние консерваторы и охранители, особенно высшие чины чиновничьей олигархии, были очень напуганы всеми тогдашними движениями, проявившимися уже в Вене и Берлине и вызвавшими памятное «с нами бог, разумейте, языки, и покоряйтесь», даже боялись крестьянской жакерии. А уж все эти политико-экономические и социальные рассуждения о труде, капитале, рабочем вопросе, пролетариате и т. д. этим господам, получившим образование в прежних корпусах и семинариях, решительно не лезли в голову.

Как я, так и все, кого я встречал у Петрашевского, занимались преимущественно вопросами политико-экономическими. Сверх того, я в особенности, как убежденный последователь ученья Фурье, политикой в собственном смысле

не интересовался вовсе и в особенности к форме правления был совершенно равнодушен.

Поступив преподавателем статистики в Дворянский полк и второй корпус, я старался исполнить программу преподавания добросовестно. Программы по всем предметам для корпусов были выработаны особой комиссией и утверждены Николаем Павловичем. Утвердив эти программы, государь добавил: «Вменить в обязанность преподающим, чтобы они непременно преподавали предметы так, чтобы учение прежде всего служило средством развития учащихся».

Соображая мое преподавание с этой программой, я прежде всего заботился о том, чтобы передать научные факты истинно, не делал сам от себя никаких заключений, а предоставлял вывод их логически самим ученикам. Конечно, я не защищал софистов консервативно-буржуазной школы—Молинари, Бастиа и других, но и не нападал на них, зная очень хорошо, что, сравнив их мысленно с изложенными ими законами общественной жизни, мои слушатели сами оценят их по достоинству.

Все это я желал объяснить генералу Ростовцеву, наивно полагая, что он поймет это. Объяснить это я желал тем более, что на третий год моего преподавания я получил от благосклонных, хотя мне незнакомых, лиц предостережения насчет скользкости пути, по которому следовал, и даже дружеские замечания насчет моей методы наставника-наблюдателя по Дворянскому полку.

Я желал объясниться тут же в комиссии, но князь Гагарин сказал:

— Ступайте на ваше место, вам дадут 12 листов бумаги, напишите полное сознание—вам же лучше будет.

Так я ушел и действительно написал, но что́ — уже не знаю, скажу только, что я не извинялся, не сознавался, а тем более не просил прощения, только юридически защищался. Худо было только то, что я защищался против того, о чем меня не спрашивали, объясняя мое преподавание в корпусах. Кажется, я до того был наивен, что хотел обратить допрашивающий меня Синедрион в учение Фурье.

Меня опять отвели в равелин. Прошли долгие и скучные дни, в которые я не раз вспомнил стих из Слова о полку Игореве: «долго ночь меркнет».

Наконец, в конце, кажется, июля, против обыкновения, мне принесли мое платье днем и велели одеваться. Мы опять пошли с полковником Яблонским в крепость. Меня

ввели в какой-то дом, в большую залу. Там я заметил множество, как их называл мой проводник, «вельмож», из которых я знал в лицо одного лишь графа Строганова, а посреди них, на возвышенном несколько седалище, какого-то «вельможу» в казачьем облачении, с лежащей перед ним белой папахой. Впоследствии я узнал, что это был генерал Перовский, совершавший победоносный поход в Хиву.

Посреди залы стоял небольшой, покрытый сукном столик, похожий на аналой. На столике лежало объемистое «дело», а возле столика стоял аудитор с владимирским крестом на шее.

Аудитор развернул дело и стал читать; я заметил только, что «открывшихся злоумышленников государь император велел судить по полевому уложению».

Чтение продолжалось едва несколько минут. Когда аудитор остановился, генерал Перовский предложил мне подписать что-то и указал рукою в сторону.

Я пошел по указанному направлению и заметил под стеною другой аналой, на котором лежала кипа написанной бумаги, разрезанной в четверть листа, стояла чернильница и лежало несколько перьев.

Я взял один из листов; на нем было написано: «Я, нижеподписавшийся, сим свидетельствую, что ничего не могу привести в свое оправдание».

Генерал Перовский, видя, что я стою в недоумении, сказал: «Подпишите».

На это я возразил, что «подписать этой бумаги я не могу, так как не знаю даже, в чем меня обвиняют; сам же я виновным себя не признаю».

Генерал Перовский аудитору: «Прочитайте». Ко мне: «Да, вы должны признать себя виновным в том, о чем вас спрашивали в следственной комиссии».

Я отвечал, что ничего не помню, что было в комиссии.

Генерал Перовский опять к аудитору: «Прочитайте».

Аудитор начинает что-то бормотать, но вдруг останавливается.

Генерал Перовский снова настоятельно требует, чтобы я подписал, но я твердо отказываюсь.

Наконец, утомленный и раздраженный этою незаконною настойчивостью, я подошел к аналою и на одной из бумаг написал: «Я, нижеподписавшийся, сим объявляю, что никогда злоумышленником не был и никакой вины за собой не признаю».

Тогда генерал Перовский, обращаясь ко мне с невыразимо язвительной улыбкой, сказал на прощанье: «Так вы не виноваты? В таком случае ступайте и спите спокойно». (Дословно.)

Я не сомневаюсь, что это мое энергическое отрицание своей виновности было единственным поводом того, что 4-хлетний срок каторжной работы (который мне благоволил назначить генерал-аудиториат) был всемилостивейше заменен шестилетним. В этом отрицании я вижу также причину того, что мне в Сибири уже было прочитано следующее: «Воля государя императора есть, чтобы преступник Ястржембский был в полном смысле каторжным арестантом», вследствие чего поручено было окружному стряпчему в Таре ежемесячно свидетельствовать меня и наблюдать за исполнением этого повеления. Вследствие той же, я полагаю, причины, когда года через два сестра моя подала было прошение о смягчении моей участи, ей велено было ответить, что «такой преступник, как Ястржембский, не может ожидать никакого помилования». Да и после возвращения из Сибири, когда уже все мои товарищи по делу Петрашевского были в Петербурге, я скитался в провинции, под надзором полиции, 18 лет.

Так кончилась эта судебная комедия, и я просидел в Алексеевском равелине до известной траги-комедии на плацу в Семеновском полку.

Добавлю, что из верного источника я слышал, что судебная комиссия решила: по недостатку доказательств от ответственности нас освободить. Это тем вероятнее, что в деле о состоящих под надзором лицах (которое было у меня в руках) о решении этой комиссии не сказано ни слова. Да впрочем, и передавать решение этой комиссии на ревизию генерал-аудиториата не предстояло никакого юридического основания, так как специальная судебная комиссия, назначенная по высочайшему именному повелению, если ее и не считать верховной (которой она, однако, имела все атрибуции), все-таки иерархически была выше генерал-аудиториата.

Еще две характерные подробности.

Когда из судебной комиссии я возвратился в равелин, я спросил у полковника Яблонского: нельзя ли мне достать экземпляр полевого уложения?

На этот вопрос в единственном глазе сего почтенного стража отразилось столько удивления и недоумения, что его

достаточно было бы для освещения нескольких десятков глаз.

— На что вам уложение?

— Да ведь меня,—сказал я,—будут судить по этому уложению...

— Не нужно вам уложения... Начальство само знает, как судить...

Дуров говорил мне, что князь Гагарин при допросе спрашивал его: называл ли Ястржембский государя богдыханом, и правда ли, что он дурно отзывался о некоторых высокопоставленных лицах?

Когда Дуров отрицал это, князь Гагарин сказал:

— Convenez qu'il a dit cela par esprit de causticité...

Он добавил:

— Впрочем, все равно: ему и так не миновать Сибири.

Дуров сказал еще князю, что я только раз как-то сказал, что действительные тайные советники часто вследствие старости выживают из ума.

Вот какие в то время были следствия и суды!

Кончу торжественным заявлением, что все здесь рассказанное вполне истинно и все разговоры до малейшей подробности верны.

1883 г., 6 мая,
Петербург.

РАССКАЗ Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО ОБ ЕГО АРЕСТЕ [1])

Двадцать второго или, лучше сказать, двадцать третьего апреля (1849 года) я воротился домой часу в четвертом от Григорьева, лег спать и тотчас же заснул. Не более как через час я, сквозь сон, заметил, что в мою комнату вошли какие-то подозрительные и необыкновенные люди. Брякнула сабля, нечаянно за что-то задевшая. Что за странность? С усилием открываю глаза и слышу мягкий, симпатический голос:

— Вставайте!

Смотрю: квартальный или частный пристав, с красивыми бакенбардами. Но говорил не он; говорил господин, одетый в голубое, с подполковничьими эполетами.

[1]) «Русская Старина», 1881 г., т. V, стр. 705—706. Рассказ напечатан в воспоминаниях А. П. Милюкова, из альбома дочери его, О. А. Милюковой. Ред.

— Что случилось?—спросил я, привставая с кровати.

— По повелению...

Смотрю: действительно «по повелению». В дверях стоял солдат, тоже голубой. У него-то и звякнула сабля...

«Эге, да это вот что!», — подумал я. — Позвольте же мне...—начал было я.

— Ничего, ничего! Одевайтесь. Мы подождем-с,—прибавил подполковник еще более симпатическим голосом.

Пока я одевался, они потребовали все книги и стали рыться; немного нашли, но все перерыли. Бумаги и письма мои аккуратно связали веревочкой. Пристав обнаружил при этом много предусмотрительности; он полез в печку и пошарил моим чубуком в старой золе. Жандармский унтерофицер по его приглашению стал на стул и полез на печь, но оборвался с карниза и громко упал на стул, а потом со стулом на пол. Тогда прозорливо господа убедились, что на печи ничего не было.

На столе лежал пятиалтынный, старый и согнутый. Пристав внимательно разглядывал его и, наконец, кивнул подполковнику.

— Уж не фальшивый ли?—спросил я.

— Гм... Это, однако же, надо исследовать...—бормотал пристав и кончил тем, что присоединил и его к делу.

Мы вышли. Нас провожала испуганная хозяйка и человек ее Иван, хоть и очень испуганный, но глядевший с какою-то тупой торжественностью, приличною событию, впрочем, торжественностью не праздничною. У подъезда стояла карета; в карету сел солдат, я, пристав и подполковник; мы отправились на Фонтанку, к Цепному мосту, у Летнего сада. Там было много ходьбы и народа. Я встретил многих знакомых. Все были заспанные и молчаливые. Какой-то господин, статский, но в большом чине, принимал... Беспрерывно входили господа, с разными жертвами.

— Вот тебе, бабушка, и Юрьев день!—сказал мне кто-то на ухо.

23 апреля был действительно Юрьев день.

Мы мало-по-малу окружили статского господина со списком в руках. В списке перед именем г. Антонелли написано было карандашом: «агент по найденному делу».

«Так это Антонелли!»—подумали мы.

Нас разместили по разным углам, в ожидании окончательного решения, куда кого девать. В так называемой белой зале нас собралось человек семнадцать...

Вошел Леонтий Васильевич (Дубельт)...

Но здесь я прерываю мой рассказ. Долго рассказывать. Но уверяю, что Леонтий Васильевич был преприятный человек.

24 мая 1860 г.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ЕВГ. ИВ. ЛАМАНСКОГО [1])

Во время моей службы под начальством А. С. Танеева я был привлечен к следствию по так называемому делу Петрашевского.

В 1847 году в Петербурге началось социальное движение. В это время здесь образовались кружки молодежи, где собирались и толковали о разных предметах: о музыке, поэзии и о политическом состоянии европейских государств; в таких собраниях обменивались также мыслями о более свободном развитии в России, об освобождении крестьян, о свободе торговли, о новых судебных учреждениях. Между этими кружками был известен кружок Петрашевского, у которого собирались разные учителя, военная и статская молодежь. Другой кружок был у приятеля Петрашевского, Дурова, который жил вместе с А. И. Пальмом и Щелкановым [2]); это была партия литературная. У Петрашевского собрания происходили по пятницам, а у Дурова, кажется, по средам. С течением времени собрания у Петрашевского приняли более политическую окраску и вместе с тем более систематический характер: он приглашал учителей гимназии, и у него была цель проводить свободные мысли между юношеством. Я лично был ближе к кружку Щелканова и Дурова, потому что меня привлекала больше изящная сторона движения—литературная и музыкальная; к Петрашевскому ходил мой покойный брат Порфирий, я же был там всего раз или два, так как мне не нравилась практическая сторона деятельности этого кружка.

Кроме названных двух кружков, под влиянием кружка Петрашевского образовались и в других частях города собрания иного характера и свойства. Слухи о том, что за кружками наблюдают и что в числе посетителей есть аген-

---

[1]) «Русская Старина», 1915, № 1, стр. 77—82.

[2]) А. Д. Щелков. Ред.

ты III Отделения, уже блуждали среди молодежи. В 1849 г. на одном из балов-маскарадов какая-то таинственная маска подошла к Пальму или к кому-другому и сказала: «Берегитесь, вас сегодня же ночью будут арестовывать» [1]). И действительно, на следующий день ночью последовали аресты Петрашевского, Спешнева, Толя и многих других.

В это время я занимал вместе с моим братом Порфирием комнату в квартире отца в здании Главного Штаба. Вернувшись 23 апреля в шесть часов утра домой, через черный ход, я сел заниматься и заварил себе кофе в наполеоновском кофейнике. Через несколько минут после моего прихода я услышал стук в дверь и, отворив ее, увидал бледного и растерянного денщика Пальма. Пальм, Дуров и Щелканов жили в одной квартире, где и происходили наши собрания. Денщик дрожащим голосом сказал мне:

— Наших господ взяли, и они послали сказать вам, чтоб вы припрятали, если у вас есть какие-нибудь вещи.

Я немедленно разбудил брата и сообщил ему все переданное денщиком и, между прочим, о том, что к брату должны притти поутру в тот же день. Наскоро оправившись и переговоривши, мы стали обдумывать, что нам прятать и скрывать. Особенно подозрительного у нас не было ничего, но были более или менее запрещенные книги того времени. Приняв необходимые меры предосторожности, мы с нетерпением ожидали прибытия полиции. Часов в 12 брат ушел на службу в департамент внешней торговли, а я, как человек свободный, остался дома. Действительно, в 2 часа за братом отправились в департамент и привели домой для осмотра комнаты, в которой он жил вместе со мною. Как любопытное обстоятельство, я припоминаю, что брат мой был тогда болен и принимал какие-то капли, прописанные доктором. В то время как агенты тайной и явной полиции с депутатами от департамента, в котором служил брат, снимали с полок все книги нашей библиотечки, вынимали бумаги, находившиеся в шкапах и столах, и сваливали все в один узел, брат мой захотел принять свои капли, но жандарм с осторожностью остановил его, говоря: «Нет, извините, я этого не могу вам позволить».

Не буду описывать отчаяние матери и сдерживаемого хладнокровия отца. Оказалось, что требовалось взять только

---

[1]) Этот факт рассказан в романе Пальма «Алексей Слободин», стр. 373. Ред.

одного брата Порфирия; меня же оставили свободным. Как затем обнаружилось, забирались сначала по списку агентов, сообщавших о заседаниях у Петрашевского, а о собраниях у Дурова еще ничего не знали. В числе посещавших Петрашевского я не был намечен, так как бывал у него очень редко.

По заарестовании моего брата ни я, ни родители мои не знали, что с ним сделалось и куда его девали. В таком беспокойстве прошло несколько дней, и только через неделю самых назойливых и беспрестанных хлопот удалось узнать, что он содержится в крепости впредь до рассмотрения дела и что разрешается прислать ему белье и другие необходимые вещи, но ни свиданий, ни сообщений с ним не было дозволено никому ни под каким предлогом.

Что касается меня, то я был в первое время вполне покоен, и чрез несколько недель у меня снова появились и прежние и новые запрещенные книги, и точно так же приходили ко мне тогда существовавшие букинисты, специально торговавшие книгами, на которые им указывала русская цензура своими запрещениями.

Мало-по-малу слухи о том, в чем подозревались захваченные молодые люди и какое развитие принимало следствие, проникли в общество. Эпизоды заарестования тех или других из участвовавших в собраниях лиц сделались общей басней в городе. Затем понемногу стали рассказываться открытия, к которым привело следствие, новые дополнительные аресты и более или менее беглые сообщения из разных кружков. Кроме того, родственники и близкие друзья заарестованных время-от-времени получали сведения о ходе уголовного следствия.

После доноса и первых докладов Липранди все дело было поручено особой верховной следственной комиссии, состоявшей под председательством князя Гагарина из коменданта крепости генерала Набокова и Я. И. Ростовцева.

Неожиданно для меня и для всего нашего семейства в июле месяце явился к нам освобожденный из крепостного заключения брат мой Порфирий. Из рассказов его о печальном содержании в крепости, о тех допросах, которые им делали, и об очных ставках с другими посетителями кружков я узнал, что раскрыты были все разветвления и что я неминуемо буду заарестован. Брат мой объяснил мне, что ни на нем, ни на мне не лежит особенных обвинений, но что, тем не менее, взят я буду для дополнения и окончания следствия. В ожидании этого момента я, разумеется,

снова прибрал все книги и бумаги и, живя тогда на Черной речке на даче Бегрова, ожидал в спокойном far niente появления чинов тайной полиции.

В один прекрасный день, в пять часов утра, приехал к нам на дачу жандармский полковник и вместе с ним вошло несколько понятых. Оказалось, что все калитки и забор дачи, где мы жили, были тщательно оберегаемы нижними чинами полиции. Я знал, что меня берут только для некоторых допросов, и что в скором времени я буду освобожден, и потому не испытывал никакого волнения. В комнате моей не нашли ничего, кроме одного листа бумаги. Нельзя не упомянуть, что, когда явились чины полиции и мой отец спросил, по какому праву тревожат его покой, они предъявили ему бумагу, что имеют приказ пригласить сына его Валериана к начальнику III Отделения. Отец объяснил им, что у него в семействе вовсе нет сына Валериана, а есть Евгений, и что, вероятно, это его приглашают или, может быть, брата Порфирия, который был незадолго перед этим освобожден. Цель отца моего состояла в том, чтоб нас взяли обоих, и чтоб брат Порфирий, по освобождении, мог сказать, что сделалось со мною. Ввиду недоразумения чины полиции на это согласились, и я помню, как, одевшись, я сел на щегольскую эгоистку жандармского полковника, который, поддерживая за талию, доставил меня в III Отделение к генералу Дубельту.

Тотчас же по прибытии Дубельт пригласил меня в кабинет вместе с братом и сказал, обращаясь к нему: «Вы, Порфирий Иванович, можете ехать домой и сказать вашей матушке, что нам нужно будет оставить здесь брата вашего Евгения Ивановича, но чтоб матушка ваша не беспокоилась».

Вслед за тем меня отвели в большой зал, который предоставили в полное мое распоряжение, разумеется, приставив с наружной стороны дверей жандарма. Вскоре пришел жандармский полковник и сказал, что все, что я желаю, будет в моем распоряжении, что, если я хочу завтракать или обедать, мне все будет отпущено.

— А через несколько времени я вам принесу некоторые вопросные пункты,—прибавил полковник.

Действительно, мне подали перо, бумагу и чернила. Вопросные пункты были довольно многочисленны и многие из них весьма неопределенны. В числе вопросов я помню следующие: сколько лет? где воспитывался? посещал ли

Петрашевского? бывал ли у Дурова? какие держал речи? что понимал под словом свобода торговли? вел ли разговоры об освобождении крестьян и об уничтожении помещиков, о том, чтоб освободить торговлю и т. п. Я написал ответы на все вопросы и, кончив показание уже после обеда, передал их полковнику, а сам лег спать.

На другое утро явился ко мне тот же полковник и сказал, что генерал Дубельт просит меня поехать с ним в комиссию. Эта последняя заседала в Петропавловской крепости, куда я и прибыл в сопровождении полковника. Меня тотчас же позвали в комиссию, и я увидал там князя Гагарина, Набокова и Ростовцева, которые начали предлагать мне разные вопросы, ответы на которые я уже знал вперед, частью из объяснений моего брата, частью из тех вопросных пунктов, которые были предложены мне накануне. Вопросы касались преимущественно освобождения крестьян и свободы торговли. Это экономическое учение было известно генералам в смысле избавления купцов от какой-то зависимости от правительства и чуть ли не призыва к бунту всего коммерческого люда в России. Когда я объяснил, что учение о свободе торговли есть учение экономическое, что о нем нам читали с кафедр профессора, что оно признается в Европе, они заставили меня дать снова объяснение, и с большой снисходительностью эти же самые члены комиссии подсказывали мне выражения, служащие к оправданию. Затем, прочитав мне нотацию о доброте государя императора, который так велик и благодушен, что снисходит к заблуждениям молодежи, члены комиссии объяснили мне, что хотя я, по своим поступкам и идеям, заслуживаю тяжкого наказания, но что, во внимание к моей молодости и общественному положению, они вменяют мне этот выговор в наказание и освобождают меня от заслуженной мною кары, но с тем, чтобы я никогда о том, что происходило, никому не рассказывал. Вслед за сим мне сказали, что я свободен и могу ехать домой.

Все это дело тянулось еще некоторое время, и в конце года, в декабре, вышел подробный доклад с резолюцией государя.

Бесспорно, мой арест сделался известен, я отправился к статс-секретарю Танееву и рассказал о случившемся. Он был поражен этим известием и сказал, что соберет обо мне справки. Затем, по совещании с князем Гагариным, Танеев не встретил препятствий оставить меня на службе,

но, тем не менее, история эта на долгое время, по ее окончании и после решения в отношении всех других подсудимых, оставила за собою влияние на мою карьеру.

Как было замечено выше, верховная следственная комиссия вменяла, между прочим, в вину мне и другим арестованным лицам происходившие между нами разговоры относительно освобождения крестьян. Через десять лет после описанного события я был назначен членом редакционных комиссий по выработке положений о крестьянах, освобождаемых от крепостной зависимости, а один из участников следственной коллегии 1840 года, Я. И. Ростовцев, состоял председателем этих комиссий, предначертавших то великое преобразование, за одни рассуждения о котором приходилось еще так недавно нести ответственность чуть ли не в государственной измене.

ИЗ ЗАПИСОК П. А. КУЗЬМИНА [1])

Через несколько дней по заключении нашем, в один из прекрасных вечеров съехалось несколько экипажей к двухэтажному каменному дому, что против Никольской куртины: то были члены следственной комиссии.

Началось вождение туда заключенных по-одиночке; кроме того, из моих окон, т.-е. из форточки моего каземата видны были приходившие в комиссию пешком не из казематов в партикулярной одежде, то были или шпионы-доносчики (Антонелли, Кош—ский), или шпионы - свидетели (Шаб—в).

Пришла и моя очередь итти к допросу. Плац-адъютант провозгласил: «№ 5!». Забрякали ключи и замки у моих дверей, каземат отворился, сторож внес мое платье, я переоделся в присутствии плац-адъютанта и сторожа и, в сопровождении плац-адъютанта, отправился через двор в двухэтажный дом. По входе в комнату заседания комиссии, князь Гагарин, как старший, да и самый дельный член, начал допрос.

Князь Гагарин. «Правительству сделалось известно либеральное направление ваших мнений».

Я. «Мне неизвестно, в каких именно поступках подметили либеральное направление моих мнений, потому что я мнений

[1]) «Русская Старина», 1895, март, стр. 75—91.

своих никому не навязывал, а в служебной деятельности я исполнителен до пунктуальности и никогда не подвергался не только замечаниям, но даже намекам, чтоб я был заподозрен в вольнодумстве».

Князь Гагарин. «Вас и не обвиняют в манкировании по службе, но в увлечениях социальными, коммунистическими, республиканскими идеями».

Я. «Из чего же это могли заключить?».

Князь Гагарин. «А ваше знакомство с Петрашевским?».

Я. «Но я не вижу связи между моим знакомством с Петрашевским и обвинением меня в республиканских и коммунистических увлечениях».

Князь Гагарин. «Вы не хотите понимать меня. Вы бывали у него на заседаниях по пятницам?».

Я. «По пятницам я бывал у Петрашевского, но заседаний при мне не бывало».

Князь Гагарин. «Как не бывало при вас заседаний?. А 1-го, 8-го и 15 апреля и 16 апреля у вас? Это были положительно клубные заседания».

Я. «Какие же это клубные заседания? В клубах обыкновенно играют в карты, а ни у Петрашевского, ни у меня и помина не было об игре в карты».

Князь Гагарин. «Вы все уклоняетесь от прямого ответа. Я не говорю об игорных клубах, а о заседаниях клуба политического. Так, в заседании 1 апреля вы сами принимали участие в прениях по вопросам, поставленным председательствовавшим Петрашевским: об освобождении крестьян, изменении судопроизводства, свободе книгопечатания; а 15-го числа сами объявили, что у вас председательствовать будет некто Шрамченко, который держит в руках всю иерархию, все перевернул вверх дном».

Я. «Как жаль, что доносчики, может быть, в надежде получить большой гонорар, за неимением материала, сочиняют и клевещут на людей, которые, к сожалению, ничем не ограждены от их гнусных вторжений в самый кружок благонамеренный».

Князь Гагарин. «Правительство своими агентами ограждает общество от распространения в нем вредных идей. Вот что правительственный агент говорит, между прочим, об вашем участии в прениях и прочее.»—И Гагарин, прочитав о вечере 1 апреля, беседу Петрашевского о по-

именованных выше трех вопросах, о моих замечаниях на выводы Петрашевского, спрашивает меня: «кто вас уполномочил обсуждать публично, потому что это было в присутствии большого общества, вопросы, которые, ежели и могут подлежать обсуждению, то по высочайшему повелению высшими государственными чинами?».

Я. «Небольшой кружок знакомых, при которых шла беседа о предметах, вами названных, близких чувству каждого человека, мало-мальски любящего свою родину, чувствующего ее больные места, я не могу считать преступным, тем более, что вопрос не сходил с теоретической точки, и, что касается меня, то я, соглашаясь в несомненной полезности всех этих улучшений, высказал только свое мнение относительно порядка, в каком было бы удобнее осуществить их, если бы и правительство признало полезным их, в чем никто из нас не сомневался, и вопрос только был во времени».

Считаю необходимым сделать однажды то общее замечание, что, восстановляя в своей памяти устные вопросы и ответы, равно письменные объяснения по некоторым предметам, писанные в каземате (без оставления копий), и показания, писанные в присутствии комиссии, также словесные объяснения на разные замечания г.г. членов, спустя почти тридцать лет, не могу передать с фотографическою точностью, ни в порядке, в котором переходили от одного предмета к другому, ни самого текста речей как моих, так вопрошателей и возражателей; но могу поручиться, что сущность сохранена неуклонно везде, а в некоторых случаях воспроизведены и объяснения слово в слово.

Кроме того, продолжительных допросов в комиссии по главным предметам обвинения с чтением отрывков из доноса было два, и два же раза поручалось мне писать в каземате объяснения, для чего давали бумагу по счету листов, которая и должна быть сдана в том же количестве. Кажется, раза два пришлось в комиссии писать ответы на вопросные пункты, составленные заблаговременно, и еще несколько раз бывали объяснения в комиссии.

При первом же допросе князь Гагарин предложил мне разъяснить, каким образом я в самый день приезда попал к Петрашевскому. Я рассказал, как это изложено выше, с объяснением, что, имея карету на целый день, не зная, куда девать вечер, так как в семейные знакомые дома не приходилось же ехать с визитом вечером в страстную пят-

ницу, я и отправился к Петрашевскому, полагая, ежели у него и никого нет, то, может быть, он сам дома.

Князь Долгорукий, не поняв моего объяснения (как не понимал он весьма многого из самых простых вещей), с улыбкой возразил: «Так вы потому и поехали к Петрашевскому с визитом, что это была страстная пятница?». Я серьезно посмотрел на него и сказал: «Ежели ваше сиятельство не поняли, так смеяться-то не об чем».

Князь Гагарин объяснил ему, в чем дело.

При первом же допросе князь Гагарин спросил меня:

— Вы читали Фурье, Прудона и других социалистов, какого вы мнения об их теориях?

Я ответил, что ежели не читал всех сочинений новейших социалистов, то понятие об их учениях имею и нахожу, что теории их увлекательны, как стремящиеся достигнуть всеобщего благоденствия, но все они страдают одним общим недостатком, именно: все построены не на практической, существующей почве, хотя писаны для существующего общества; во всех их человек сочинен вроде ангела, а для ангелов вовсе не нужно таких кодексов и регламентаций. Хотя у Фурье признаются классы и не ангельского типа, но все-таки сочиненные, деланные, а не настоящие; вообще читать эти произведения не бесполезно, как образцы теоретических стремлений идеалистов; воображать же, что они могли бы иметь практическое применение, есть великое заблуждение, что подтверждается опытом.

Затем меня отпустили в свой номер, снабдив несколькими листами бумаги для письменного изложения и объяснений на разные вопросы.

Так как я уже сказал, что не могу с точностью распределить, что писано было мною в первый раз и что написано, когда дали мне бумаги для писания, во второй раз, то прежде, нежели приступлю к воспроизведению писанного мною в 1849 году без разделения, а в мере восстановления в памяти, полагаю удобным договорить в настоящее время, о каких предметах и в каком духе предлагаемы были мне вопросы, сообразно текста доноса.

О вечере, на котором было читано письмо Белинского к Гоголю, меня спрашивали, какое впечатление произвело содержание этого письма на меня и на прочих, и правда ли, что Ястржембский выразился: «о, то так и надобно». Прочитан был донос о разговоре моем с Антонелли по

поводу приглашения его на празднование 16 апреля новоселья его, в меблированные комнаты в доме Штрауха на углу Морской и Гороховой, и будто бы я говорил, что председателем заседания у меня будет некто Шрамченко, который держит в руках всю иерархию и все перевернул вверх дном. Потом отчет (полагаю, отрывки отчета) Антонелли об моем вечере 16 апреля: чего-чего он не наговорил, чтоб представить в самых грязных и вместе с тем красных красках все общество, бывшее у меня; насколько припомню, он выразился, что это сборище людей дышало разбоем и водкою, водкою и разбоем, что это антиподы, выходцы с того света, что вообще заметил отсутствие здравого смысла, и если он делал исключение из этого огульного обвинения, так это в пользу хозяев и тех, которые бывали у Петрашевского, а, между прочим, про одного из хозяев, именно про Белецкого, выразился, что он или кандидат на виселицу, или сорвался с виселицы, что-то в этом роде.

Хотя Гагарин, читая эти отрывки, не называл автора, но я сам назвал Антонелли, как доносчика.

По всем этим предметам, кроме данных уже словесных объяснений, я должен был написать обдумавши. В то время, как помнится, нам не давали еще читать, а потому возможность заняться хотя писанием меня весьма обрадовала; но необходимо было зрело обдумать решение этой задачи, и я пришел к следующим заключениям: излагать свою «profession de foi» было бы, по крайней мере, бесполезно; стараться привести в свою веру г.г. членов комиссии было бы даже смешно; оставалось доказывать всеми разумными доводами свое право на беседу, без особого разрешения, о предметах, которое, по мнению тогдашнего правительства, в лице его агентов, может быть предоставляемо только высшим государственным сановникам, и, наконец, опровержение нелепых измышлений доносчика. Я старался заучивать написанное мною, и память моя долго сохраняла все написанное мною, но теперь уже июль 1877 года, то, естественно, многое испарилось в эти почти три десятка лет, но во многих местах текст моих письменных объяснений воспроизведен и именно начало вступления:

«Истина одна и вечна, но понятия о ней различны: Христос, спаситель мира, распят на кресте за проповедание слова божия, учение о любви к ближнему и равенстве всех перед богом, а ныне более половины населения всего зем-

ного шара исповедует его учение. В настоящее время ученик младших классов гимназии знает, что земля вертится около своей оси и обходит вокруг солнца; а с небольшим три века тому назад, Галилей был приговорен к сожжению на костре за высказание этой истины. Не утруждая внимания г.г. членов комиссии другими примерами, решаюсь высказать, что, по моему личному мнению, следует осторожно относиться и к учениям новейших социалистов, тем более, что все учения их проникнуты кротостью и любовью к ближнему и, как я имел случай объяснять словесно, что слабая сторона всех этих учений та, что они воображают людей лучше, нежели они в действительности, а потому теории эти неприменимы к практике; но нельзя же утверждать, что люди никогда не будут лучше, нежели теперь, и что же может быть преступного в чтении и беседе о воображаемом устройстве такого общества, в котором все люди хороши или, по крайней мере, лучше тех, из которых общество ныне составлено.

«О характере вечеров у Петрашевского и вечера, бывшего у меня, могу сказать, что они действительно резко отличались от так называемых «вечеров» тем, что на них не играли в карты, и, действительно, странно было видеть, как молодые (и даже не совсем молодые) люди, собравшись, не играют в карты, когда мы видим юношей, едва покинувших школьную лавку, охотно принимающих предлагаемую карточку и с важностью заседающих за зеленым столом, теряя деньги, здоровье, время, а главное, отказываясь добровольно от великого дара, данного ему провидением, дара слова, потому что карточные так называемые переговоры можно с успехом заменить условными знаками или марками. Что может быть обиднее для гостя, когда хозяин думает, что его иначе занять нельзя, как составить для него партию, т. е. обратив хотя на время в бессловесное.

«Итак, за неигранием в карты, проводили время в беседе; но по взгляду, высказанному господами членами комиссии, беседа-то и была преступна, потому что была ведена о таких предметах, о которых, не спросясь, нельзя говорить, и такими лицами, которым это не предоставлено.

«Сам сознаю, что не совсем точно выразил смысл комиссии о причинах преступности беседы, но действительно затрудняюсь формулировать положение, для подтверждения которого не умею найти ни одного слова, а против него— тысяча доводов. Неоспоримо, что всякое гражданское об-

щество состоит из слоев, или, точнее выразить, расположено слоями, различающимися правами сословными, имущественными, по своему образованию, положению в иерархическом отношении и проч., и проч. Трудно, почти невозможно перечислить все те оттенки общественного населения, которые при всем своем различии так тесно слиты, что не имеется возможности резко отграничить их, и, кроме того, лица, стоящие по некоторым отношениям в одном разряде, могут в других отношениях принадлежать к совершенно иному слою, и так как у нас не существует каст, то нередок переход из одного общественного сословия в другие. Принимая все это в соображение, кто возьмет на себя смелость разграничить, что такие-то слои имеют право говорить о таких-то предметах, такие о таких-то и т. д., но вот еще вопрос: что принять за масштаб при этом распределении? разве табель о рангах! Но и в этом случае встретится такого рода неудобство—всякий, прошедший низшие классы табели о рангах, под влиянием запрещения беседовать о большинстве предметов интереса общественного, дойдя до высших рангов, дойдет вместе с тем до неспособности не только беседовать, но даже думать о предметах, выходящих из круга их физических потребностей. А потому я не могу признать даже тени преступности в обсуживании предметов, близких сердцу каждого и доступных пониманию. Комиссии также угодно, чтоб я дал объяснение о предметах беседы на вечере у Петрашевского, 1 апреля: об улучшении судопроизводства и судоустройства, о свободе книгопечатания и уничтожении крепостного состояния. Разберу эти предметы по порядку.

«1) Улучшение судопроизводства и судоустройства. Этот предмет меня мало занимал, так как сам я в судах не служил и дел в судах не имел; но знаю, что закон допускает, что могут быть неправильные решения, потому что позволяет переносить дела на апелляцию, и ежели решения разных инстанций бывают не только не сходны, но прямо противоположны, значит одна из инстанций применила законы правильно, другая неправильно. Без сомнения, в высших и высших инстанциях заседают люди с большею и большею опытностью, то не всегда неправильное применение законов можно приписывать неблагонамеренности. Но всякий ли проигравший дело может воспользоваться правом перенести свое дело на апелляцию? Иногда средства его так ограничены, что он не только не может

довести его до столицы, т.-е. до правительствующего сената, но даже до губернских присутственных мест.

«Ужели сочувствие к этому можно считать преступным и сочувствие высказанное в небольшом круге знакомых?

«2) Свобода книгопечатания. Совершенной свободы книгопечатания не существует нигде; даже во Франции, где теперь (1849 года) республика, иногда отбирают нумера газет с почты. Может ли же быть совершенная свобода книгопечатания у нас, в государстве самодержавном? Но излишнее стеснение его не может быть безвредно.

«3) Уничтожение крепостного состояния. Само правительство вело к тому: а) учреждение обязанных крестьян, б) право, данное крестьянам выкупаться на волю в имениях, продаваемых с публичного торга, ежели крестьяне внесут в месячный срок ту сумму, на которой состоялся аукцион; в) право, данное крестьянам, приобретать недвижимую собственность. В этом последнем законе даже сказано: «если существовали подобного рода собственности, купленные крестьянами на имя помещиков, то предоставляется помещикам право передавать эти собственности крестьянам купчими крепостями на бумаге низшей ценности в течение десятилетнего срока».

Кто будет восставать против благодетельности этих мер, ведущих к цели высокой, путем последовательным... Разве было говорено вопреки этих мер?

Переходя к объяснению той части доноса Антонелли, где я будто бы ему сообщил, что Шрамченко держит в руках всю иерархию и все перевернул вверх дном, я, повторив мой разговор с ним, изложенный выше, сказал: Чтоб вывести из этого разговора, что такой-то секретарь консистории держит в руках всю иерархию и все перевернул вверх дном, надобно иметь слишком пылкое воображение, мало опытности, совершенное незнание наших учреждений и совершенное неведение того, что делается в России. Пылкость воображения свойственна ему, господину Антонелли, как итальянцу; неопытен он по юности; что в России консисторий столько, сколько епархий, и каждая из них имеет свой отдельный круг действий и что все это сосредоточивается в святейшем правительствующем синоде; Антонелли мог не знать, как иноверец и чужестранец; что в последнее время не выходило никаких узаконений, которые бы изменяли основания, на которых существует наше духовенство, господин Антонелли мог также не знать, как ино-

верец и чужестранец, не интересующийся следить за ходом узаконений в России, а направляющий свою деятельность на предметы, лично для него более выгодные.

«Итак, г. Толь и г. Антонелли были у меня 16 апреля (и они только двое были во фраках), а на другой день развели мосты, и я, несмотря на все мое желание, не мог к ним попасть в воскресенье 17 апреля. Встретив через несколько дней после того Антонелли, я выразил сожаление, что не мог быть у него вследствие разведения мостов. Антонелли высказал, что вследствие этого вечер у него совершенно не удался. Мне тогда показалось странно, как отсутствие некоторых живущих за Невою могло расстроить целый вечер. Вероятно, готовился, действительно, какой-нибудь бенефис гостям г. Антонелли, расстроенный предварительно отложением вечера с субботы на воскресенье и окончательно разведением мостов: этим только я объясняю себе теперь все негодование, излитое им на меня и всех бывших у меня 16 апреля, разразившись в выражениях: *разбой и водка, водка и разбой, антиподы, выходцы с того света*... где припомнить все эпитеты, которыми так щедро наделил г. Антонелли всех бывших у меня 16 апреля. Но все это слова, порожденные досадою, где же доказательства? Правда, темные краски легче ложатся на светлые ткани, но не наоборот; химия дает нам средства уничтожать цвета на тканях, на руках же красильщика всегда остаются следы его ремесла. И вот г. Антонелли принялся чернить на все стороны, правда, с некоторыми лестными исключениями, но те, которые не подверглись его громоносным эпитетам, что же тем выиграли? Разберем его эпитеты порознь.

«*Разбой и водка, водка и разбой*: чтобы сделать заключение о целом обществе, что оно дышало *разбоем и водкой, водкой и разбоем*, надобно непременно указать хоть на некоторые проявления этого стремления, уже не говорю целого общества, но хотя кого-нибудь, и г. Антонелли при своей наблюдательности верно подметил бы это и при свойственной ему любознательности мог бы тотчас узнать и фамилию высказавшего стремление *к разбою и водке, водке и разбою*; но если он не указывает ни на кого, то обвинение целого общества в наклонности *к разбою и водке, водке и разбою* нелепо и неосновательно потому, что никто не сказал и не сделал ничего неприличного, хотя при закуске и был серви-

рован херес. Антиподы и выходцы с того света, очевидно, поставлено... очевидно, поставлено... право, не знаю—для красоты ли слога или для силы выражения. Я признаюсь по совести, не вижу ни того, ни другого: может быть потому, что не занимаюсь подобного рода изящной словесностью.

«Да, вспомнил еще один из ответов г. Антонелли обо всех бывших у меня 16 апреля, это—что все общество отличалось отсутствием здравого смысла. Чтоб сделать такой отзыв, необходимо участвовать в беседе или, по крайней мере, внимательно к ней прислушиваться. Сколько мне помнится, г. Антонелли не вставал со стула, на который сел по приезде, и почти не принимал участия в беседе; гости же сидели в нескольких комнатах: каким же образом г. Антонелли мог проникнуть не только черепы, но и стены? Следовательно, и этот последний отзыв г. Антонелли я не могу признать хоть сколько-нибудь похожим на справедливый.

«Относительно впечатления, произведенного на меня и прочих слушателей чтением письма Белинского к Гоголю, могу сказать, что на меня лично произвело оно впечатление тяжелое, грустное: видно было, что писано оно в желчном, болезненном расположении духа, но, вспомнив евангельское выражение: «не суди, да не осужден будеши», или, еще вернее,—евангельскую же притчу о блуднице, которую Христос спас, сказав: «пусть первый камень бросит тот, кто себя считает невинным», и первого камня никто не бросил».

В настоящую минуту не припомню более ничего из своих письменных ответов.

Так как при следственной комиссии, где нас допрашивали, была еще подкомиссия под начальством Липранди[1]) для разбора бумаг, забранных у арестованных, и всякое выражение, компрометирующее или даже сомнительное в письмах, дневниках, даже на клочках бумаги, было представляемо в комиссию и было предметом допросов, так следующая заметка в моем дневнике вызвала тщательный допрос.

«(И. П. Д.) глуп, как сало, познаний никаких, воспитывался в Иезуитском коллегиуме и оканчивал свое образование в College royale во Франции, но даже не выучился говорить по-французски (переворот)».

---

[1]) Липранди был членом Голицинской комиссии. Ред.

Вот последнее-то выражение, поставленное в скобках, и вызвало требование от меня объяснений, тем более, что из объяснений моих по предметам, вошедшим в донос, нельзя было вызвать ничего обвинительного против меня; но выражение (переворот) и таинственные буквы (И. П. Д.), по мнению остроумных членов комиссии и подкомиссии, уличали меня в намерении совершить переворот государственный или социальный. Я сказал, что буквы (И. П. Д.) суть заглавные имени, отечества и фамилии господина, занимающего довольно высокий административный пост в Тамбовской губернии, то невыгодная оценка этого лица, сделанная в моем дневнике, вынуждает меня просить не настаивать на требовании назвать это лицо, тем более, что выражение «переворот» не имеет никакого значения политического, а скорее только физический, личный переворот.

Это желание и просьба моя не были уважены, и комиссия потребовала названия лица, значащегося под буквами (И. П. Д.), и объяснения слова переворот. Нечего делать, пришлось сказать, что речь идет о тамбовском вице-губернаторе И. П. Дуб—ом, о котором мне передавали его собственный, будто бы, рассказ, что «он однажды качался на качелях», и вдруг веревки оборвались, он упал торчмя головой в землю и после этого переворота стал дурак-дураком.

Еще выражение моего дневника, вызвавшее сильную бурю и требование объяснения: «что в России, государстве без столицы, важно было бы развитие провинциальных голов».

Пришлось опять доказать, что заметки в дневнике не должны быть предметом допроса, а тем более, ежели заметки не выражают никаких преступных намерений.

Но в моей заметке находили преступность в том, что я, вопреки высочайше признанных Москвы и Петербурга, как столиц, как-будто игнорирую это, вопреки изложенного в учебниках географии, цензурою одобренных, и которые мне, как кончившему курс в Императорской военной академии, должны быть известны.

Я объяснил, что против изложенного в учебниках не спорю и публично своего мнения не проповедую; но заметка моя вызывается и оправдывается при исследовании, подходят ли Москва и С.-Петербург под те понятия, кото-

рые связываются с городами, именуемыми столицами в образованных государствах?

Под именем столицы принято разуметь центр правительственный и общественный, т.-е. место, где находятся высшие учреждения административные, законодательные, судебные, где находится двор, где, как в зеркале, отражается общественное и интеллектуальное развитие разных мест в государстве, и, как зеркало же, отражающее на эти отдаленные места всякий прогресс, который при вышеизложенных условиях получает почин в столице же.

Который же из наших городов, именуемых столицами, удовлетворяет этим условиям? Петербург? в нем резиденция царя, двор, министерства, правительствующий сенат (которого несколько департаментов имеются в Москве и даже в Варшаве), а далее?

Никто не возразит, что Петербург наименее русский город, следовательно, в нем и не отражается развитие провинций; затем, так как власти административная, законодательная, судебная сосредоточиваются в особе государя императора, то, с выездом его величества, хотя бы для смотра войск, не остается в Петербурге ничего, кроме канцелярий, никакой законной власти не имущих, напрасно громко называемых министерствами.

Москва? Да, ведь, ее справедливо называют большая деревня, там происходит коронация по вступлении государей на царство, да разве это обязательно и не может подлежать изменению по воле государя, затем не остается никакого признака, присущего столице. Скажут пожалуй: «ее дворец?» Да дворцы имеются и в Царском Селе, в Петергофе и в Гатчине, сверх того, многие из станционных домов на шоссейных дорогах называются дворцами, не говоря уже о тех городах и местечках, где бывают сборы войск, там везде почти понастроены дворцы.

Следовательно, по моему мнению, и высказанному только в дневнике, Москва также не заслуживает титула столицы.

Вспомнил еще один из предметов, выкопанных подкомиссией, вызвавших допрос: в одном из писем ко мне от некоего Михайлова он, между прочим, говорит, что его управляющий всякий вечер вспоминает об адском зажигателе. Это последнее выражение вызвало требование объяснений об зажигателе и в прямом и в переносном смысле: в прямом—не имел ли этот зажигатель какого-либо отноше-

ния к пожарам, свирепствовавшим тогда в разных местах России, а в переносном—не идет ли речь об адском зажигателе пламени бунта.

Я прямо сказал, что *адским зажигателем* тот управляющий называл меня, показывавшего в его присутствии непонятную для него штуку зажигания снега, и я полагаю, что каждый из г.г. членов комиссии знает этот простой фокус, состоящий в том, что в снег надобно положить кусок камфоры и зажечь его.

В этом заключается *альфа и омега* всех обвинений, падавших на меня. Ежели и были, может быть, еще какие-либо мелочные подробности, о которых меня спрашивали, то, вероятно, это были такие пустяки, что не сохранились и не оставили никакого следа в моей памяти.

Спустя некоторое время после письменных и словесных объяснений, я был потребован в комиссию для письменных ответов по вопросным пунктам, составленным предварительно по форме. Я не помню подробного изложения вопросов и ответов, но из вышеизложенного можно видеть, в каком духе могли быть мои ответы. Но не могу не рассказать эпизода, при этом случившегося.

Так как вопросы все-таки выпытывали, нет ли какого-либо злокачественного, неблагонамеренного направления, стремления и проч., то я, наконец, высказал, что из моих откровенных, по совести, объяснений и показаний они (члены комиссии) могут ясно видеть, что ежели считать преступным понимание того, что дурно, и как необходимое последствие этого понимания—желание улучшений, а для усвоения этого надобно только взглянуть внимательно на то или другое учреждение, то, заарестовавши несколько сот людей, далеко не всех заарестовали: по моему мнению, из 70.000.000 населения следовало бы арестовать 69.999.000 и, пожалуй, еще несколько сот, затем остальные несколько сот, неспособных понимать самых простых вещей, стерегли бы прочих. Дубельт на это возразил: «Вы думаете, что вы, молодежь, прогресс, а что мы, старики, выжили из ума?». Я отвечаю, что никак не считаю себя олицетворенным прогрессом, но не отказываюсь от способности отличать белое от черного, что же касается до способностей его превосходительства и прочих, то я не беспокоил себя думать об этом. Ростовцев на это вскричал, заикаясь: «Вместо того, чтоб говорить дерзости, вы должны бы на коленях просить помилования».

Я на это говорю, что могу стоять на коленях только перед женщиною или на молитве перед богом, а в нем я не вижу ни того, ни другого. Ростовцев спрашивает: «А пред государем?». Я отвечаю, что его здесь нет. Ростовцев говорит: «Мы его генерал-адъютанты». Я на это говорю: «Так не перед вами ли стать на колени? Вы, ваше превосходительство, а не я, позволяете себе делать дерзости человеку, который того не заслуживает и находится в состоянии бессилия».

Мне не делали очной ставки ни с кем. Много прошло времени, пока переспросили всех заарестованных, помнится, не менее месяца. Затем начали понемногу освобождать тех, которые ни в чем непричастны; так выпустили брата моего Алексея, Кропотова, Белецкого и еще некоторых: как объяснено мною, из форточки моего каземата видны были все выходящие и уходящие из дома, где помещалась комиссия.

Освобождения прекратились, члены комиссии съезжались уже не каждый вечер; иногда по утрам приезжали князь Гагарин и Ростовцев; как-то раз и меня водили утром, когда были только эти двое, и предлагали мне некоторые дополнительные вопросы. Вождение в комиссию, днем ли это бывало или вечером, было единственным развлечением, без которого скука была неодолимая.

Ежедневные срочные посещения плац-адъютантов в 6 часов утра, в полдень и в 6 часов вечера мало развлекали, хотя я старался сам себя развлекать при этих визитах тем, что рассказывал плац-адъютантам о предметах допроса, смеялся, что сочинили дело, из которого сами сочинившие не знают, как с честью выйти; плац-адъютанты говорили, что им не приказано вступать в беседы с арестованными, кроме случаев каких-либо необходимых заявлений; я возражал им на это, что пусть они и не беседуют со мною, я один буду им рассказывать о деле, чтоб они не воображали, что мы какие-либо лютые заговорщики, а просто Антонелли понадобились деньги, или он действовал, как агент другого лица (тогда я еще не знал, что Иван Петрович Липранди—главный автор всей истории).

Бедные плац-адъютанты, они, не имея права разговаривать и не имея права уйти из каземата, пока не уберут служители в каземате, старались успокоить. Но я, грешный, рассказывая им эти вещи, имел ту заднюю мысль, что они хотя и плац-адъютанты, и к тому же из немцев (один Майдель, весьма благообразный; другой, кажется, Вильбрандт.

Вильбрехт или что-то в этом роде, с большими усами и с предоброй рожею), но все-таки не немые же, как рыбы, и через них могут проникнуть в обращение правдивые рассказы о деле; иначе, при отсутствии гласности и публичности ведения дела, пустят такие нелепые россказни сверху и снизу (как это и было сделано), что не окажется никакой возможности опровергнуть слухи, как бы они нелепы ни были.

Видя, что общие съезды членов комиссии почти прекратились, прекратилось и освобождение, которого, по правде сказать, считал себя вправе ожидать и я, наравне с другими; прекратилось и требование в комиссию для объяснений или дачи показаний... Скука начала гнести неодолимо; я начал терять надежду даже на то, что сошлют куда-нибудь, хотя и не считал себя заслуживающим того, но ссылку предпочел бы гниению в тюрьме. Может быть, это дурное расположение духа или дурная пища, при недостатке моциона и отсутствии вентиляции, но у меня заболели глаза, потом сделался огромный веред на шее, которого след сохраняется и по сие время и который, может быть, отвлек приток крови от глаз.

Все это вместе взятое вынудило меня сделать шаг, который ухудшить положения моего не мог, а ежели дело мое должно поворотить к лучшему, то могло приподнять хоть краешек завесы. Я решил проситься в солдаты.

Однажды я прошу плац-адъютанта, кажется, Майделя, доложить комиссии, что я имею надобность сделать объяснение. В тот же день меня ведут в комиссию, где заседали князь Гагарин и Ростовцев.

На вопрос князя Гагарина, чем еще я имею дополнить свои показания, я отвечаю, что дополнять моих показаний мне нечем, потому что я высказал все, что знал о том, о чем меня спрашивали, но, находясь столько месяцев в заключении и сознавая, что более не могу содействовать даже деятельности комиссии, так как более того, что объяснил по делу, не знаю ничего, обращаюсь к комиссии с покорнейшею просьбою исходатайствовать, как милость, высочайшее разрешение отправить меня рядовым на Кавказ: даже с солдатским ружьем в руках я могу быть полезнее, нежели, как теперь, в каземате.

Князь Гагарин мне говорит: «Не имеете ли вы еще чего-нибудь на совести, чего не высказали при допросах, что

просите себе такого наказания, какого бы вы никак не заслуживали по тем данным, которые об вас имеются в деле?».

После сказанного Гагариным я бы мог, шаркнув ножкой, поблагодарить за сообщение, что мне большой опасности не предстоит, но хотелось позондировать поглубже и, вместе с тем, показать, что просьба моя не была минутной вспышкой нетерпения; а потому я и говорю: «Тем более я смею надеяться, что комиссия уважит мою просьбу, что как я уже имел честь доложить, что прибавить к показаниям ничего не имею, а ваше сиятельство выразились, что обвинений в таких преступлениях против меня не имеется, которые бы влекли разжалованье в рядовые; а я все-таки прошу, как милости, взамен заключения, в котором я содержусь уже несколько месяцев, разжалованья в рядовые.

Гагарин и Ростовцев оба уговаривают меня отступиться от этой мысли, и что, во всяком случае, они двое не имеют полномочия входить с подобным представлением, а ежели я не беру моей просьбы назад, то они доложат комиссии.

Я прошу доложить комиссии.

Кажется, что около двух недель, но уж никак не менее десяти дней, прошло до вызова меня в комиссию, что было днем, но не вечером, как бывало прежде.

Гагарин, обращаясь ко мне, говорит, что мне дано было достаточно времени обдумать просьбу, которую я тогда-то высказал ему и генерал-адъютанту Ростовцеву; в настоящее время, обдумавши все, что было ими мне сообщено, поддерживаю ли я прежнюю просьбу или отказываюсь от нее?

Я говорю, что полагал, что меня вызвали для объявления высочайшего соизволения на мою просьбу, а теперь, к сожалению, вижу, что эти дни прошли для меня бесполезно и дело остается на том же месте, как было две недели назад, и милость, о которой я просил, мне не оказана.

Князь Гагарин. «Ежели вы просите для себя исключения против товарищей ваших по заключению, то почему же полагаете, что это предпочтение должно быть вам оказано пред другими, судьба которых будет обсуживаема комиссиею, и разве вы считаете себя имеющим особые на то перед другими права?»

Гагарин попал «в жилку», как говорится; я, ратовавший за равноправность, буду просить исключения для себя; а вместе с тем, дело разъяснилось достаточно, и мне предоставлялось почетное отступление. Я говорю, что не имел никаких намерений считать себя имеющим право на исклю-

чение, а потому отказываюсь от своего заявления, предоставляя судьбу свою в руки комиссии.

Все без исключения выразили мне свою сатисфакцию (не могу приискать русского слова для выражения того—не то одобрения, не то благоволения...) и с приятной (насколько кто способен) улыбкой высказали, что судьба моя в хороших руках или что-то в таком роде.

Я уже поклонился, чтоб уходить, но вдруг обращаюсь к комиссии, говоря, что у меня теперь есть другая просьба.

— Какая еще?

— У меня заарестованы деньги, на которые мне покупают чай, сахар, сигары, то я прошу разрешения купить мне на эти деньги книг и стеариновых свечей, так как дни теперь короче, спать более семи часов в сутки не могу, а читать при ночнике невозможно.

У всех членов комиссии отлегло, услышав такую простую, легко исполнимую просьбу, а не такую дикую, по их мнению, какова была первая просьба. Без сомнения, мне разрешили все просимое мною, но чтоб список книг предварительно представить чрез плац-адъютанта на усмотрение комиссии.

После рассказанного мною я мог считать свое положение не только не безнадежным, но даже благоприятным, без сомнения, относительно. А все-таки не видать было, когда конец и какой именно. Спустя несколько времени после этого эпизода, были похороны великого князя Михаила Павловича, церемония продолжалась несколько дней: это было значительное развлечение для нас, заключенных. В самый день погребения съезд был огромный, весь двор был уставлен экипажами. Я, да без сомнения и прочие все, чьи окна выходили на этот двор, не отходили от отворенной форточки. Когда началась салютационная пальба при опускании гроба, то лошади стали биться, и многие экипажи позапутались,—опять развлечение. При разъезде пришлось «господам» самим разыскивать свои экипажи, и князю Гагарину пришлось как раз перед моим окном с форточкой, у которой я стоял, дожидаться, пока подадут его коляску. Он меня узнал и, снимая трехуголку, раскланялся; затем пантомимами показывая на землю и на небо, возводя очи горé, и воздыхая, вероятно, хотел высказать, что тело зарыли, а душа вознеслась, или что-либо в таком роде: я тоже отвечал ему мимически возведением очей к небу. Я думаю, презабавно было бы подсмотреть со стороны нашу

мимику. Затем коляску подали, и Гагарин еще несколько раз поклонился мне, снимая шляпу. Это раскланивание еще более убедило меня, что вопрос обо мне скоро должен быть решен и решен не весьма дурно; иначе князь Гагарин стал ли бы раскланиваться с крепостным арестантом, по собственной своей инициативе.

А время идет своим чередом. Заседания комиссии прекратились совершенно. Как-то проскользнуло высказание которого-то из плац-адъютантов, что уже другая комиссия рассматривает или будет рассматривать это дело.

Прекращение занятий комиссии хотя показывало, что дело вступило в новый фазис, но не стало развлечения смотреть, как съезжаются члены, много ли народа водят к допросу.

В один из вечеров в конце сентября после пробития зари слышу окрик: «№ 5!», затем по обыкновению шаги и бряцание при отпирании дверей моего помещения. Вносят мое платье при плац-адъютанте Вильбрехте, на его добродушном лице—вроде радостной улыбки.

Я его спрашиваю: «Что, капитан, меня выпускают, что ли, так надобно и белье свое надевать?». (После того, как нам дали, вместо арестантского платья и белья, холстяное белье и проч. из офицерских госпитальных палат, то при одевании в комиссию я белье не надевал свое.)

— Нет, зачем же, впрочем, как хотите, вас требуют в комиссию.

— Да сегодня и заседания нет, видите ли: там темно?

— В этих окнах, что сюда, холодно, то комиссия занимается в тех задних комнатах.

— Ну, ладно, пойдемте, капитан.

Покинув статью о железных дорогах в Северной Америке, которую я читал перед приходом плац-адъютанта, пошли мы в двухъэтажный дом, куда водили нас для допроса, но везде было темно.

— Видите, капитан, нет никого,—говорю я.

— Верно, они у коменданта; пойдемте туда.

Пошли к почтенному Ивану Александровичу Набокову. Из прихожей вошли мы в комнату, из которой направо отворенная дверь в гостиную, а налево кабинет. В гостиной были гости, и когда доложили Набокову, что меня привели, то я видел, как дамы, сидевшие в гостиной, с любопытством оборотились к двери. Набоков поспешил выйти к нам и тотчас же сделал замечание плац-адъютанту: «Зачем вы через парадную лестницу, я сказал, чтобы через черную».

Затем он пошел со мной в кабинет, взял со стола бумагу и невнятно из нее прочитал, что я свободен от ареста по высочайшему повелению. Я его спрашиваю, когда же кончится рассмотрение дела судебною комиссиею, а он мне говорит: «Вам какое дело?». Я отвечаю, что не считаю себя свободным распорядиться собою до совершенного окончания рассмотрения дела. Он мне на это: «Да вы совершенно свободны». Тут у меня родилась мысль, нет ли еще чего-либо в бумаге, может быть, кроме меня выпускают и других, то не вредно было бы прочитать бумагу самому. Я и говорю с самым наивным тоном, что нехорошо расслышал, как его высокопревосходительство прочитал, и прошу позволения прочитать самому. А он мне на это: «Нет, я сам прочитаю»—и прочитал, насколько он мог, ясно и с расстановкой, что по докладу комиссии о совершенной невинности (тут видно было, что из нескольких фамилий он ищет мою), государь императорь высочайше или всемилостивейше, не припомню, повелеть соизволил поименованных освободить от суда и от ареста. Нечего делать—пришлось удовлетвориться.

Потом он предложил мне дать расписку, что я никому не буду рассказывать ни того, где я был, ни о чем меня расспрашивали, и что я отвечал, и что я всем доволен. (Свежо предание, а верится с трудом.) Я спрашиваю: «Зачем же эта расписка?». Набоков говорит: «А затем, что вас без этой расписки не выпустят». Нечего делать—подписал вынужденную расписку, которую я, подписывая, считал необязательною.

Тогда он, вручив мне шпагу из коллекции разного оружия, хранившегося в его кабинете от арестованных офицеров, спрашивает: «А что, будете теперь читать Фурье?».

— Отчего же не читать?—отвечаю я,—читать только с толком и не увлекаться фантазиями.

— Нет, уж лучше не читайте. Прощайте, очень рад, что вы свободны.

Я спрашиваю, могу ли я сейчас же получить мои вещи (белье, книги) и деньги.

— Нет, уж вы приезжайте завтра и все свое получите, а казенное сдадите.

Не зная, где приклонить голову, потому что, пожалуй, никто из знакомых не пустит к себе, чтобы не быть компрометированным в то время террора, и не зная, в Петербурге ли мой брат Алексей, я выпросил у плац-адъютанта несколько рублей до следующего дня.

III

ОБРЯД СМЕРТНОЙ КАЗНИ НАД ПЕТРАШЕВЦАМИ

ИЗ ЗАПИСОК Н. Н. КАШКИНА [1])

Увлеченный политическим учением Фурье и сблизившись с кружком лиц, группировавшихся около его старшего лицейского однокашника М. В. Буташевича-Петрашевского,—Ахшарумовым, обоими Дебу, Европеусом, Спешневым [2]) и другими,—юный Николай Сергеевич (Кашкин) устраивал и у себя собрания для мирных бесед на социальные темы и однажды сам был на «пятнице» у Петрашевского. Любопытно, что к нему Н. С. Кашкин, по его словам, попал совершенно случайно: бал у графини Протасовой, назначенный на 8 апреля и на который он был приглашен, был, по болезни хозяйки, отменен, и Н. С. Кашкин, вспомнив, что Петрашевский накануне звал его на свою «пятницу», поехал к нему, не зная, как иначе использовать вечер. Эти собрания, за которыми было установлено наблюдение, а также посещение Петрашевского и знакомство с лицами, бывавшими у последнего, послужили поводом к арестованию Н. С. Кашкина в ночь на 23 апреля 1849 г. в квартире его родителей, живших тогда в Петербурге, на Владимирской улице, в доме генеральши Берхман [3]). Присланный к нему жандармский офицер, разбудив его, сказал: «его сиятельство шеф жандармов граф Орлов желает с вами говорить».—

---

[1]) Н. Н. Кашкин. «Родословные разведки». Под ред. Б. Л. Модзалеского, т. 2, ПБ. 1913, стр. 565—573.

[2]) 29 января 1849 г. Н. С. Кашкин, по рекомендации Спешнева и Н. А. Милютина, был избран в действительные члены Русского Географического Общества.

[3]) В том же доме, во дворе, жил тогда Николай Михайлович Орлов (сын Михаила Федоровича и Екатерины Николаевны, рожд. Раевской), который, видя, что у Н. С. Кашкина собирается молодежь, шутя предупреждал его, что на это наверно обратят внимание, так как в окна видно, что гостей у него много, но что они занимаются не игрою в карты, а,—horribile dictu, — чтением и беседой...

Кашкин одел свой виц-мундир и отправился с жандармом, но его привезли не к Орлову, а прямо в III Отделение, откуда в ночь с 23 на 24 апреля он был перевезен, одновременно с другими товарищами, в Петропавловскую крепость. В мае месяце он из Трубецкого каземата был переведен в летний каземат, а в сентябре или в октябре— снова в зимний. В строгом крепостном заключении, в полном одиночестве пробыл он в течение 8 месяцев, мучимый допросами и лишенный даже свиданий с родителями, общение с которыми поддерживалось у него лишь перепискою, разрешенною ему, впрочем, только через два месяца после ареста (в июне), при чем ответы свои, проходившие, конечно, через жандармскую цензуру, он должен был писать на том же листе бумаги, на котором писано было письмо родителей (преимущественно матери); таким образом, у него отнималась даже радость иметь при себе и перечитывать эти дорогие для него письма, исполненные любви и нежной заботливости к юному «государственному преступнику». «За все восемь месяцев предварительного заключения,—по словам Н. С. Кашкина посетившему его корреспонденту «Русского Слова» г. А. Панкратову [1]),—он не получал никаких вестей из внешнего мира, не видал лица родных. Солдат приносил ему пищу, офицер стоял на карауле около его камеры. Ни одного слова тюремщики не сказали с арестантом». «Но вот, однажды,—рассказывает Кашкин,—это было уже на четвертом месяце заключения,—я услыхал сто один выстрел с крепости. Какая-то общерусская радость,—подумал я и обратился к офицеру: Я знаю, что вам нельзя со мной говорить, но теперь, в день всероссийской радости, я прошу вас сказать мне, какая радость в России. Он сначала не соглашался говорить, но я продолжал умолять. Тогда он коротко ответил: «Гёргей положил оружие».— А нам какое до этого дело?—удивился я.—«Да, ведь, к ногам России!»—сказал офицер.—«Как же наше войско попало туда?—«Очень просто: Россия провела венгерскую кампанию». А мы сидели и ничего не знали! Когда нас взяли, ни о какой венгерской кампании и речи не было».

Приговор по этому раздутому в выгодах следователей и из политических соображений «делу», возникшему как раз в эпоху европейского революционного движения, как извест-

[1]) Ниже мы пользуемся некоторыми рассказами Н. С. Кашкина в изложении г. Панкратова, но с поправками, внесенными в это изложение самим Николаем Сергеевичем при личных с нами беседах.

но, отличался неслыханною жестокостью, поразившею даже привыкших ко многому современников. На-ряду с другими 22 товарищами, Николай Сергеевич, как государственный преступник, приговором 19 декабря 1849 года был осужден на смертную казнь через расстреляние. Приговор этот был выслушан им, как и другими осужденными, одетыми уже в саваны, на эшафоте на Семеновском плацу, 22 декабря, вслед за чем объявлено ему было о всемилостивейшей замене смертной казни разжалованием его в рядовые, с лишением дворянства и ссылкою в кавказские линейные батальоны. «Часов в пять утра,—рассказывал Н. С. Кашкин г. Панкратову,—отворилась дверь моего каземата. «Пожалуйте»,—пригласили. Куда повезут,—не сказали. Я надел свой виц-мундир, в котором был арестован. В карету со мной сел солдат, а сзади следовал жандарм верхом. Хотя было раннее утро, но масса народа шла по направлению нашего пути. Случилось так, что меня везли по той улице, на которой была квартира моего отца. Поровнявшись с домом, я взглянул и увидал отца и братьев в окне выступа дома, а около подъезда стояли запряженные сани, в которых сидела мать. Я инстинктивно потянулся, чтобы открыть оконце кареты, но солдат сурово сказал: «Нельзя». Я видел только, что мать поехала за мной. Семеновский плац обступили тысячи народа. Нас поставили кругом на помосте и надели на нас саваны. Аудитор обошел всех приговоренных и каждому прочитал формулу обвинения и наказания. Направо от меня стоял неизвестный мне человек. Аудитор назвал его Плещеевым. Я в первый раз увидал поэта А. Н. Плещеева. Помню, мне аудитор прочел: ...«За участие в преступных замыслах к произведению переворота в общественном быте России, с применением к оному безначалия, за учреждение у себя на квартире для этой цели собраний и произнесение преступных речей против религии и общественного устройства, подвергнуть смертной казни расстрелянием». Когда он отошел от меня к Головинскому, Плещеев обернулся ко мне и спросил: «Так это вы Кашкин? Как вы сюда попали?». Перед тем, как нас арестовали, вышла в свет маленькая книжечка стихов Плещеева, и мы с удовольствием заучивали его прекрасное стихотворение, начинающееся словами: «Вперед, без страха и сомненья». В тоне этого стихотворения я и ответил автору его: «Мы шли под знаменем науки. Так подадим друг другу руки». Потом какой-то простенький священник, откуда-то пригла-

шенный прямо на место казни и не знавший, что мы не будем расстреляны, волнуясь и дрожа, сказал нам проповедь: «Оброцы греха есть смерть,—сказал апостол Павел»,—запомнил я его слова. И затем, говоря трафаретное: «Если раскаетесь, то наследуете жизнь вечную», совал каждому крест для целования, после чего сейчас же троих из нас—Петрашевского, Момбелли и Григорьева—отвели на расстрел. Около меня стояли хорошо знакомые мне лица петербургской высшей администрации; стоял, между прочим, тогдашний обер-полицеймейстер Галахов, со мною лично знакомый. Когда меня только что поставили на плацу, я спросил его: «Тут в толпе моя мать, успокойте ее хоть сколько-нибудь, скажите, что я здоров». А когда повели Петрашевского к расстрелу, я обратился к Галахову: «Кому я могу передать мою последнюю просьбу, дать мне приготовиться к смерти?». Я разумел исповедь и причастие. Генерал сказал мне: «Государь был так милостив, что даровал вам всем жизнь»,—и пожал мне руку. Сказал он эти слова громко,—и мы за минуту до объявления нам воли царя знали радостное ее содержание».—В заметке, написанной самим Н. С. Кашкиным по поводу статьи о Петрашевском С. А. Венгерова, он так рассказывает подробности дня экзекуции (приводим эту заметку целиком, как ценный исторический документ):

«Прочитав только недавно статью С. А. Венгерова в XXIII томе «Энциклопедического Словаря Ф. А. Брокгауза и И. А. Ефрона», изд. 1898 года, я, во имя исторической правды, желал бы внести в нее небольшую поправку. В статье этой сказано: «Петрашевскому, Момбелли и Григорьеву завязали глаза и привязали к столбу... Один Кашкин, которому стоящий возле обер-полицеймейстер Галахов успел шепнуть, что все будут помилованы, знал, что все это—только церемония; остальные прощались с жизнью и готовились к переходу в другой мир». Описание этих тяжелых минут не вполне точно.

«Все мы, проведшие 8 месяцев в одиночном заключении в Петропавловской крепости, были разбужены на рассвете 22 декабря, одеты в собственное платье, отобранное от нас при заключении в крепость, и отвезены в наемных извощичьих каретах на Семеновский плац. С каждым из нас сидел в карете жандарм, и каждая карета была окружена четырьмя конными жандармами. Прибыв на плац, мы были высажены из карет и увидели выстроенный деревянный помост, окруженный решеткой, на несколько ступеней воз-

высившийся над землей и окруженный с трех сторон войсками от всех частей Петербургского гарнизона. Мы были проведены перед фронтом всех этих войск и затем вошли на помост, где плац-адъютантом были расставлены в порядке, определенном приговором генерал-аудиториата, от Петрашевского до Пальма. Моим соседом был Плещеев, с которым мы познакомились, когда аудитор, читая приговор и обращаясь последовательно к каждому из осужденных, произнес наши фамилии. Ниже нас на земле, кругом помоста, стояло несколько генералов и адъютантов. Ближайшим ко мне был, действительно, обер-полицеймейстер генерал Галахов, с которым я был знаком. Священник в черной ризе произнес нам слово, начинавшееся словами: «Оброцы греха есть смерть,—говорит апостол Павел», и взволнованным голосом убеждал нас, что со смертью телесною не все будет для нас кончено, и что при помощи веры и покаяния мы можем наследовать жизнь вечную. Затем он дал нам приложиться ко кресту. После преломления палачем шпаг над головами большинства из дворян, с нас сняли верхнюю собственную нашу теплую одежду и взамен ее надели длинные холщевые саваны с капюшонами и длинными рукавами, в которых мы должны были простоять довольно долго при сильном утреннем морозе. Затем Петрашевский, Момбелли и Григорьев были сведены с помоста и привязаны длинными рукавами к трем столбам, вкопанным впереди трех вырытых ям, и перед ними в некотором расстоянии поставлен был взвод солдат. За спинами осужденных находился существовавший в то время на Семеновском плацу земляной вал. Солдатам было скомандовано заряжать,—и на глаза трех привязанных к столбам надвинуты были капюшоны саванов. Конечно, в это время все осужденные прониклись убеждением, что казнь состоится, и тогда я не шопотом, а громко обратился к стоявшему около помоста на земле генералу Галахову на французском языке с просьбой указать мне, к кому мы могли бы еще обратиться для исходатайствования разрешения исполнить перед смертью христианский долг, на что генерал, так же громко, ответил мне, что государь был так милостив, что даровал всем жизнь: «Даже и тем»,—добавил он, указывая на привязанных к столбам. Все стоявшие близ меня услышали сказанное и шепнуть мне эти слова генерал Галахов не мог, ввиду разделявшего нас расстояния. Вскоре затем, по данному сигналу, отвязали от столбов Петрашевского,

Момбелли и Григорьева, ввели их обратно на помост, и аудитор, снова обращаясь последовательно к каждому из осужденных, прочел новый, окончательный приговор. Тогда был снова вызван палач, Петрашевского посадили среди всех нас и заковали в ножные кандалы, после чего он был одет в казенный тулуп, валенки и шапку с наушниками, посажен в сани и прямо с места отправлен с фельдъегерем в Сибирь. Рассказывали, что, когда его везли, кто-то из толпы, стоявшей позади войск, снял с себя шубу и бросил ему в сани. Все мы, остальные, были снова, с жандармами, отвезены в Петропавловскую крепость и оттуда поодиночке, каждый с фельдъегерем, отправлены к местам назначения: половина в тот же вечер, а другая—в следующий вечер. Воспоминание о печальной церемонии произнесения над нами приговора 22 декабря 1849 года так живо сохранилось в моей памяти, что я счел долгом сделать это небольшое дополнение для восстановления истинной картины события».

В тот же день вечером 22 декабря, по особому всеподданнейшему прошению Екатерины Ивановны Кашкиной, ей и ее мужу впервые было разрешено свидеться с сыном в крепости в течение утра 23 декабря [1])...

Отправленный на Кавказ уже в тот же день, т.-е. в канун рождественского сочельника, вечером молодой, еще несовершеннолетний рядовой через Калугу (откуда он тщетно, через известного ему буфетчика гостиницы, пытался послать весточку о себе родителям) прибыл в Ставрополь, а отсюда после нового года, через станицу Невинномысскую, отправлен был 14 января 1850 года в укрепление Надеждинское; прожив в крепости в течение всего 1850 года и свидевшись с матерью, приехавшею на Минеральные воды летом 1850 года, он с 3 февраля по 25 октября 1851 г. находился в экспедиции под начальством генерала Евдокимова за рекой Лабу, Псефир и Фарс, будучи вскоре после выступления в поход 10 мая прикомандирован ко 2-му линейному батальону, и получив за отличие, оказанное в делах против горцев уже в феврале этого года,

---

[1]) Жестокость приговора по отношению, в частности, к Н. С. Кашкину, без сомнения, следует приписать еще тому обстоятельству, что он был сыном лица, замешанного в дело декабристов и даже пострадавшего по нему ссылкою в Архангельск. Имя С. Н. Кашкина было записано в особый «Алфавит», всегда находившийся на столе имп. Николая, и было, конечно, хорошо памятно последнему.

знак отличия военного ордена св. Георгия (за № 89218), а за отличие в деле с горцами 23 января 1852 г. при р. Пшекоде произведен был (23 октября) в унтер-офицеры. Летом 1853 г., заболев лихорадкою, Н. С. ездил лечиться в Железноводск, где познакомился с юнкером графом Л. Н. Толстым, с которым сошелся «на ты» и с которым до самой смерти великого писателя сохранил добрые отношения. Наконец, поправившись и приняв участие в кампании, он отличился в деле 22—23 октября 1853 г. при разорении аула Хауден-Ходля, за что и произведен был 14 мая 1855 года в прапорщики, после чего прикомандирован был к штабу войск на кавказской линии и в Черномории и поселился поэтому в Ставрополе, при начальнике штаба генерале Капгере, при коем он был «докладчиком». Таким образом, Николай Сергеевич путем неимоверных, в течение 5½ лет трудов, постоянных лишений, подвергая жизнь непрестанным опасностям, добился некоторого улучшения своего положения и мог отдохнуть от перенесенных испытаний.

Новый 1856 год принес с собою Николаю Сергеевичу высочайшее помилование (25 января), хотя и без возвращения ему потомственного дворянства, а в конце года (3 декабря) он получил отпуск на 4 месяца, которым и воспользовался для приезда в том же месяце в Москву. Здесь Н. С. отдался, со всем пылом молодости, светским развлечениям, которых так долго был лишен. В обществе он снова встретился с графом Л. Н. Толстым. «Я помню,— рассказывал он г. А. Панкратову [1]),—мы часто с ним бывали на балах. Ему очень нравилась баронесса Елизавета Ивановна Менгден, красивая, молодая, интересная женщина, а мне—Нелли Молчанова, рожд. Волконская. Наши дамы уезжали с балов обычно до ужина, мы их провожали, а затем отправлялись ужинать к Дюссо. Это бывало часто. Толстой в «Декабристах» описывает именно тот кабинет у Дюссо, в котором мы любили ужинать. Уже значительно позже, в одном письме к Толстому я, между прочим, спрашивал его: «Когда мы теперь увидимся?». А он отвечал, что для него «естественно давать это rendez-vous там, чем где-нибудь у Dussaux».

———

[1]) «Русское Слово», 1910 г., № 302; мы передаем здесь этот рассказ также с некоторыми исправлениями, сделанными самим Н. С. Кашкиным.

ИЗ ЗАПИСОК БАРОНА М. А. КОРФА [1])

Теперь я буду продолжать и окончу рассказ, начатый об открытом у нас в 1849 году заговоре.

Кроме следственной комиссии, в описанном мною составе, учреждена была еще особая приготовительная комиссия, под председательством статс-секретаря князя Голицына, для разбора захваченных у обвиненных бумаг, которых оказалось чрезвычайно большое количество. Следственная комиссия открыла свои заседания 26 апреля, в самой крепости. Манифеста или другого гласного акта об ее учреждении и вообще о всем этом событии не последовало.

Результаты исследования вскоре обнаружили, что дело отнюдь не имело ни такой важности, ни такого развития, какие вначале придали ему городские слухи, обыкновенно все преувеличивающие. Всех замешанных было около 50 человек, и во главе их стоял 28-летний чиновник министерства иностранных дел, Петрашевский, сын отрешенного от должности петербургского штадт-физика и бывший воспитанник Царскосельского лицея, человек полоумный, уже давно признанный таким между своими товарищами, но, может быть, оттого именно и чрезвычайно дерзкий. Цель замысла была — изменить общественное наше устройство по образцу западных понятий, приготовив сперва к тому умы посредством распространения коммунистических и социальных сочинений, разных разглашений, речей и порицания всего существующего, предметов и лиц. Всех участников комиссия разделила на три разряда: главных виновников, ближайших к ним и таких, которых можно бы совсем освободить. В целом списке, в противоположность заговору 1825 года, не встречалось ни одного значащего имени, ни одного лица с известностью в каком-нибудь роде [2]): учители, мелкие чиновники, молодые люди, большею частью мало ведомых фамилий. Покушений или приготовления к бунту в настоящем с достоверностью открыто не было, и все представляло более вид безумия, нежели преступления. Впрочем, заговор имел свои разветвления и в Москве, и даже в Сибири, где скитался отставной подпол-

---

[1]) Из записок барона М. А. Корфа. «Русск. Стар.», 1900, май, стр. 278—280

[2]) Кроме только успевшего приобрести себе некоторую известность своими повестями отставного инженера-поручика Достоевского.

ковник Черносвитов, заподозренный в намерении возмутить Урал, а оттуда распространить мятеж и далее на восток. Действия комиссии продолжались почти пять месяцев, и окончательный доклад ее, подписанный 17 сентября, представлен был без всякого с ее стороны заключения, которого от нее и не требовалось. Члены называли это дело— заговором идей, чем и объясняли трудность дальнейших раскрытий, ибо, если можно обнаруживать факты, то как же уличать в мыслях, когда они не осуществились еще никаким проявлением, никаким переходом в действие?

Этим комическим преступникам государь не рассудил сделать чести, явленной злоумышленникам 1825 года, т.-е. учредить для постановления приговора о них верховный уголовный суд, а вместо того, приказал составить нечто новое—суд смешанный: из трех генерал-адъютантов и трех сенаторов, под председательством генерал-адъютанта же, бывшего оренбургского генерал-губернатора, Василия Алексеевича Перовского. Приговор этой, как она была названа, военно-судной комиссии поступил в генерал-аудиториат, который, руководствуясь полевым уголовным уложением, приговорил 21 подсудимого к смертной казни.

Все в Петербурге знали, что приговор генерал-аудиториата представлен был государю 19 декабря, и все с печальным, иные, вероятно, и с тревожным любопытством ожидали решения рокового вопроса. Дело не замедлилось. Государь сложил тяготевшее на великом его сердце бремя скорее даже, чем можно было предвидеть. Он не определил ни одной смертной казни и, вместо того, велел: прочитав подсудимым приговор и совершив над ними все обряды, предшествующие смертной казни, объявить, что его величество дарует им жизнь и затем подвергнуть их разным другим наказаниям.

Уже 22 декабря появилась о сем, равно как и о всем ходе и обстоятельствах дела, статья в «Русском Инвалиде», в форме, впрочем, не манифеста или указа, а простого объявления.

В этот же день приговор был приведен и в действительное исполнение, при многочисленном стечении народа, хотя помянутое объявление и не могло еще везде огласиться. В 8 часов утра преступников вывезли из крепости. Все они были рассажены порознь в извощичьих возках, и при каждом сидело по рядовому внутренней стражи, а по обе стороны возков и впереди поезда ехали жандармы верхами.

На Семеновском плаце, перед самым гласисом, возвышалась нарочно устроенная платформа и на ней три столба. Лицевая сторона была оставлена открытою, а с трех других ее окружали по одному батальону л.-гв. Московского и л.-гв. Егерского и эскадрон л.-гв. Конногренадерского полков, т.-е. тех, к которым принадлежали заговорщики военного звания. На плаце находились: командир гвардейской пехоты Сумароков, военный генерал-губернатор, обер-полицеймейстер и оба городские коменданта. Преступников, по прибытии их туда, высадили из возков, провели вдоль всего фронта и поставили на платформу, спиною к гласису (валу), после чего прочитан был приговор генерал-аудиториата в первоначальном его виде, т.-е. без смягчавшего его высочайшего повеления. Тут многих из зрителей тронули слезы, покатившиеся по бледному лицу 20-летнего Кашкина (также из воспитанников лицея), имевшего престарелого отца. Священник, выйдя вперед, произнес осужденным последнее увещание и, поставя их на колени, дал каждому приложиться ко кресту. Тогда начались прочие обряды, предшествующие расстрелянию. Палач стал ломать над их головами шпаги, и когда всех одели в белые рубашки с колпаками, комендант повел первых трех с правого фланга: Петрашевского, Момбелли и Спешнева [1]) к столбам, к которым их и привязали. Петрашевский сорвал с себя колпак, говоря, что не боится смерти и может смотреть ей прямо в глаза. Начальствующий войсками скомандовал «к заряду», и они приступили к исполнению команды. Вдруг прискакал фельдъегерь, и раздался отбой. Привязанных к столбам отвязали и привели на прежнее место, чтобы всем вместе прочесть царскую сентенцию. Кашкин и Пальм, в порыве безмерной радости, бросились на колени и стали молиться, последний при громких восклицаниях: «Добрый царь, да здравствует наш царь!»,— Петрашевскому, осужденному к ссылке в каторжную работу в рудниках без срока, тотчас же начали надевать кандалы; но как, по неловкости палача, эта операция замедлилась, то Петрашевский сам заковал себе руки и ноги, испросив позволения обнять сперва Момбелли и Спешнева. Закованного, его посадили в заложенные тройкою сани и, в сопровождении жандарма, прямо отправили к окончательному месту назначения. Прочих повезли в Ордонанс-Гауз, для отсылки впоследствии.

---

[1]) Григорьева. Ред.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Д. Д. АХШАРУМОВА [1])

Посмотрев кругом, я увидел знакомую мне местность— нас привезли на Семеновскую площадь. Она была покрыта свежевыпавшим снегом и окружена войском, стоявшим в карэ. На валу вдали стояли толпы народа и смотрели на нас; была тишина, утро ясного зимнего дня, и солнце, только что взошедшее, большим, красным шаром блистало на горизонте сквозь туман сгущенных облаков.

Солнца не видал я 8 месяцев, и представшая глазам моим чудесная картина зимы и объявший меня со всех сторон воздух произвели на меня опьяняющее действие. Я ощущал неописанное благосостояние и несколько секунд забыл обо всем. Из этого забвенья в созерцании природы выведен я был прикосновением посторонней руки: кто-то взял меня бесцеремонно за локоть, с желанием подвинуть вперед, и указав направление, сказал мне: «Вон туда ступайте!». Я подвинулся вперед, меня сопровождал солдат, сидевший со мною в карете. При этом я увидел, что стою в глубоком снегу, утонув в него всею ступнею; я почувствовал, что меня обнимает холод. Мы были взяты 22 апреля в весенних платьях и так в них и вывезены 22 декабря на площадь.

Направившись вперед по снегу, я увидел налево от себя, среди площади, воздвигнутую постройку—подмостки, помнится, квадратной формы, величиною в 3—4 сажени, со входною лестницею, и все обтянуто было черным трауром—наш эшафот. Тут же увидел я кучку товарищей, столпившихся вместе и протягивающих друг другу руки и приветствующих один другого после столь насильственной злополучной разлуки. Когда я взглянул на лица их, то был поражен страшною переменой; там стояли: Петрашевский, Львов, Филиппов, Спешнев и некоторые другие. Лица их были худые, замученные, бледные, вытянутые, у некоторых обросшие бородой и волосами. Особенно поразило меня лицо Спешнева: он отличался от всех замечательною красотою, силою и цветущим здоровьем. Исчезли красота и цветущий вид; лицо его из округленного сделалось продолговатым; оно было болезненно, желто-бледно, щеки похудалые, глаза как бы ввалились и под ними большая

---

[1]) Д. Д. Ахшарумов. «Из моих воспоминаний», стр. 103—113.

синева; длинные волосы и выросшая большая борода окружали лицо.

Петрашевский, тоже сильно изменившийся, стоял нахмурившись,—он был обросший большой шевелюрой и густою, слившеюся с бакенбардами, бородою: «должно быть, всем было одинаково хорошо»,—думал я. Все эти впечатления были минутные; кареты все еще подъезжали, и оттуда один за другим выходили заключенные в крепости. Вот Плещеев, Ханыков, Кашкин, Европеус... все исхудалые, замученные, а вот и милый мой Ипполит Дебу,—увидев меня, бросился ко мне в объятия: «Ахшарумов! и ты здесь!»— Мы же всегда вместе,—ответил я. Мы обнялись с особенным чувством кратковременного свидания перед неизвестной разлукой. Вдруг все наши приветствия и разговоры прерваны были громким голосом подъехавшего к нам на площади генерала, как видно, распоряжавшегося всем, увековечившего себя в памяти всех нас... следующими словами:

«Теперь нечего прощаться! Становите их»,—закричал он. Он не понял, что мы были только под впечатлением свидания и еще не успели помыслить о предстоящей нам смертной казни; многие же из нас были связаны искреннею дружбою, некоторые родством—как двое братьев Дебу. Вслед за его громким криком явился перед нами какой-то чиновник со списком в руках и, читая, стал вызывать нас, каждого по фамилии.

Первым поставлен был Петрашевский, за ним Спешнев [1]), потом Момбелли и затем шли все остальные—всех нас было 23 человека (я поставлен был по ряду восьмым). После того подошел священник с крестом в руке и, став перед нами, сказал: «Сегодня вы услышите справедливое решение вашего дела,—последуйте за мною!». Нас повели на эшафот, но не прямо на него, а обходом, вдоль рядов войск, сомкнутых в карэ. Такой обход, как я узнал после, назначен был для назидания войска, и именно Московского полка, так как между нами были офицеры, служившие в этом полку—Момбелли, Львов... Священник, с крестом в руке, выступал впереди, за ним мы все шли один за другим по глубокому снегу. В карэ стояли, казалось мне, несколько

---

[1]) Ахшарумов мало знал Григорьева, и, естественно, в его поздних воспоминаниях слабое впечатление вытеснилось более сильным; сам он говорит, что поражен был видом Спешнева. Ред.

полков, потому обход наш по всем 4 рядам его был довольно продолжительный. Передо мною шагал высокий ростом Павел Николаевич Филиппов, впоследствии умерший от раны, полученной им при штурме Карса в 1854 г., сзади меня шел Константин Дебу. Последними в этой процессии были: Кашкин, Европеус и Пальм. Нас интересовало всех, что будет с нами далее. Вскоре внимание наше обратилось на серые столбы, врытые с одной стороны эшафота; их было, сколько мне помнится, много... Мы шли, переговариваясь: «Что с нами будут делать?—Для чего ведут нас по снегу?—Для чего столбы у эшафота? Привязывать будут, военный суд,—казнь расстрелянием. Неизвестно, что будет,—вероятно, всех на каторгу»...

Такого рода мнения высказывались громко то спереди, то сзади от меня, и мы медленно пробирались по снежному пути и подошли к эшафоту. Войдя на него, мы столпились все вместе и опять обменялись несколькими словами. С нами вместе взошли и нас сопровождавшие солдаты и разместились за нами. Затем распоряжались офицер и чиновник со списком в руках. Начались вновь выкликивание и расстановка, при чем порядок был несколько изменен. Нас поставили двумя рядами перпендикулярно к городскому валу. Один ряд, меньший, начинавшийся Петрашевским, был поставлен с левого фаса эшафота, там были: Петрашевский, Спешнев, Момбелли, Львов, Дуров, Григорьев, Толь, Ястржембский, Достоевский...

Другой ряд начинался кем не помню, но вторым стоял Филиппов, потом я, подле меня Дебу старший, за ним его брат Ипполит, затем Плещеев, Тимковский, Ханыков, Головинский, Кашкин, Европеус и Пальм. Всех нас было 23 человека, но я не могу вспомнить остальных... [1]). Когда мы были уже расставлены в означенном порядке, войскам скомандовано было «на-караул», и этот ружейный прием, исполненный одновременно несколькими полками, раздался по всей площади свойственным ему ударным звуком. Затем скомандовано было нам: «шапки долой!»—но мы к этому не были подготовлены, и почти никто не исполнил команды, тогда повторено было несколько раз: «снять шапки, будут конфирмацию читать» и с запоздавших приказано было стащить шапку сзади стоявшему солдату. Нам всем было хо-

---

[1]) Было всего 21 чел. (за исключением Черносвитова и Катенева, не присутствовавших на казни). Ред.

лодно, и шапки на нас были хотя и весенние, но все же закрывали голову. После того, чиновник в мундире стал читать изложение вины каждого в отдельности, становясь против каждого из нас. Всего невозможно было уловить, что читалось,—читалось скоро и невнятно, да и притом же мы все содрогались от холода. Когда дошла очередь до меня, то слова, произнесенные мною в память Фурье, «о разрушении всех столиц и городов» занимали видное место в вине моей.

Чтение это продолжалось добрых полчаса, мы все страшно зябли. Я надел шапку и завертывался в холодную шинель, но вскоре это было замечено, и шапка с меня была сдернута рукою стоявшего за мною солдата. По изложении вины каждого, конфирмация оканчивалась словами: «Полевой уголовный суд приговорил всех к смертной казни—расстрелянием, и 19 сего декабря государь император собственноручно написал: «Быть по сему».

Мы все стояли в изумлении; чиновник сошел с эшафота. Затем нам поданы были белые балахоны и колпаки, саваны, и солдаты, стоявшие сзади нас, одевали нас в предсмертное одеяние. Когда мы все уже были в саванах, кто-то сказал: «Каковы мы в этих одеяниях!».

Взошел на эшафот священник,—тот же самый, который нас вел,—с евангелием и крестом, и за ним принесен и поставлен был аналой. Поместившись между нами на противоположном входу конце, он обратился к нам с следующими словами: «Братья! Пред смертью надо покаяться... Кающемуся спаситель прощает грехи... Я призываю вас к исповеди»...

Никто из нас не отозвался на призыв священника,—мы стояли молча, священник смотрел на всех нас и повторно призывал нас к исповеди. Тогда один из нас—Тимковский—подошел к нему и, пошептавшись с ним, поцеловал евангелие и возвратился на свое место. Священник, посмотрев еще на нас и видя, что более никто не обнаруживает желания исповедаться, подошел к Петрашевскому с крестом и обратился к нему с увещанием, на что Петрашевский ответил ему несколькими словами. Что было сказано им, осталось неизвестным: слова Петрашевского слышали только священник и весьма немногие, близ его стоявшие, а даже, может быть, только один сосед его Спешнев. Священник ничего не ответил, но поднес к устам его крест, и Петрашевский поцеловал крест. После того он, молча, обошел

с крестом всех нас и все приложились к кресту. Затем священник, окончив дело это, стоял среди нас как бы в раздумьи. Тогда раздался голос генерала, сидевшего на коне возле эшафота: «Батюшка! Вы исполнили все, вам больше здесь нечего делать!»...

Священник ушел, и сейчас же взошли несколько человек солдат к Петрашевскому, Спешневу и Момбелли, взяли их за руки и свели с эшафота, они подвели их к серым столбам и стали привязывать каждого к отдельному столбу веревками. Разговоров при этом не было слышно. Осужденные не оказывали сопротивления. Им затянули руки позади столбов и затем обвязали веревки поясом. Потом отдано было приказание: «колпаки надвинуть на глаза», после чего колпаки опущены были на лица привязанных товарищей наших. Раздалась команда: «Клац» и вслед затем группа солдат—их было человек 16, стоявших у самого эшафота,—по команде направила ружья к прицелу на Петрашевского, Спешнева и Момбелли.... Момент этот был, по истине, ужасен. Видеть приготовление к расстрелянию, и притом людей, близких по товарищеским отношениям, видеть уже наставленные на них, почти в упор, ружейные стволы и ожидать—вот прольется кровь и они упадут мертвые, было ужасно, отвратительно, страшно... Сердце замерло в ожидании, и страшный момент этот продолжался с полминуты. При этом не было мысли о том, что и мне предстоит то же самое, но все внимание было поглощено наступающею кровавою картиною. Возмущенное состояние мое возросло еще более, когда я услышал барабанный бой, значение которого я тогда еще, как не служивший в военной службе, не понимал. «Вот конец всему!»... Но вслед затем, увидел я, что ружья, прицеленные, вдруг все были подняты стволами вверх. От сердца отлегло сразу, как бы свалился тесно сдавивший его камень! Затем стали отвязывать привязанных Петрашевского, Спешнева и Момбелли и привели снова на прежние места их на эшафоте. Приехал какой-то экипаж, оттуда вышел офицер—флигель-адъютант—и привез какую-то бумагу, поданную немедленно к прочтению. В ней возвещалось нам дарование государем императором жизни и, взамен смертной казни, каждому, по виновности, особое наказание.

Конфирмация эта была напечатана в одном из декабрьских номеров «Русского Инвалида» 1849 года, вероятно, в следующий день 23 декабря, потому распространяться

об этом считаю лишним, но упомяну вкратце. Сколько мне помнится, Петрашевский ссылался в каторжную работу на всю жизнь, Спешнев—на 20 лет [1]), и затем следовали градации в нисходящем, по степени виновности, порядке. Я был присужден к ссылке в арестантские роты военного ведомства на 4 года, а по отбытии срока—рядовым в Кавказский отдельный корпус. Братья Дебу ссылались тоже в арестантские роты, а по отбытии срока—в военно-рабочие роты. Кашкин и Европеус назначались прямо рядовыми в Кавказский корпус, а Пальм переводился тем же чином в армию. По окончании чтения этой бумаги с нас сняли саваны и колпаки.

Затем взошли на эшафот какие-то люди, вроде палачей, одетые в старые цветные кафтаны,—их было двое,—и, став позади ряда, начинавшегося Петрашевским, ломали шпаги над головами поставленных на колени ссылаемых в Сибирь, каковое действие, совершенно безразличное для всех, только продержало нас, и так уже продрогших, лишние $^1/_4$ часа на морозе. После этого нам дали каждому арестантскую шапку, овчинные, грязной шерсти, тулупы и такие же сапоги. Тулупы, каковы бы они ни были, нами были поспешно надеты, как спасение от холода, а сапоги велено было самим держать в руках.

После всего этого на середину эшафота принесли кандалы и, бросив эту тяжелую массу железа на досчатый пол эшафота, взяли Петрашевского и, выведя его на середину, двое, повидимому, кузнецы, надели на ноги его железные кольца и стали молотком заклепывать гвозди. Петрашевский сначала стоял спокойно, а потом выхватил тяжелый молоток у одного из них и, сев на пол, стал заколачивать сам на себе кандалы. Что побудило его накладывать самому на себя руки, что хотел он выразить тем— трудно сказать, но мы были все в болезненном настроении или экзальтации.

Между тем, подъехала к эшафоту кибитка, запряженная курьерской тройкой, с фельдъегерем и жандармом, и Петрашевскому было предложено сесть в нее, но он, посмотрев на поданный экипаж, сказал: «я еще не окончил все дела!».

— Какие у вас еще дела?—спросил его, как бы с удивлением, генерал, подъехавший к самому эшафоту.

— Я хочу проститься с моими товарищами!—отвечал Петрашевский.

[1]) На 10 лет. Ред.

— Это вы можете сделать,—последовал великодушный ответ. (Можно полагать, что и у него сердце было не каменное, и он по своему разумению исполнял выпавшую на его долю трудную служебную обязанность, но под конец уже и его сердцу было нелегко.)

Петрашевский в первый раз ступил в кандалах; с непривычки ноги его едва передвигались. Он подошел к Спешневу, сказал ему несколько слов и обнял его, потом подошел к Момбелли и также простился с ним, поцеловав и сказав что-то. Он подходил по порядку, как мы стояли, к каждому из нас и каждого поцеловал, молча или сказав что-нибудь на прощание. Подойдя ко мне, он, обнимая меня, сказал: «Прощайте, Ахшарумов, более уже мы не увидимся!». На что я ответил ему со слезами: «А может быть, и увидимся еще!». Только на эшафоте впервые полюбил я его!

Простившись со всеми, он поклонился еще раз всем нам и, сойдя с эшафота, с трудом передвигая непривычные еще к кандалам ноги, с помощью жандарма и солдата сошел с лестницы и сел в кибитку; с ним рядом поместился фельдъегерь и вместе с ямщиком жандарм с саблею и пистолетом у пояса; тройка сильных лошадей повернула шагом и затем, выбравшись медленно из кружка столпившихся людей и за ними стоявших экипажей и повернув на Московскую дорогу, исчезла из наших глаз.

Слова его сбылись,—мы не увиделись более; я еще живу, но его доля была жесточе моей и его уж нет на свете!

. . . .

Пораженные всем, что происходило на наших глазах, по отъезде Петрашевского, стояли мы еще на своих местах, закутавшись в шубы, отдававшие противным запахом. Дело было кончено. Двое или трое из начальствующих лиц взошли на эшафот и возвестили нам, повидимому, с участием, о том, что мы не уедем прямо с площади, но еще прежде отъезда возвратимся на свои места в крепость, и, вероятно, позволят нам проститься с родными. Тогда мы все перемешались и стали говорить один с другим...

Впечатление, произведенное на нас всем пережитым нами в эти часы совершения обряда смертной казни и затем объявления заменяющих ее различных ссылок, было столь же разнообразно, как и характеры наши. Старший Дебу стоял в глубоком унынии и ни с кем не говорил; Ипполит Дебу, когда я подошел к нему, сказал: «лучше бы уж расстреляли!».

Что касается до меня, то я чувствовал себя вполне удовлетворенным как тем, что просьба моя о прощении, меня столь после мучившая, не была уважена, так и тем, что я выпущен, наконец, из одиночного заключения, жалел только, что назначен был в арестантские роты куда-то неизвестно, а не в далекую Сибирь, куда интересовало меня дальнее, весьма любопытное путешествие. Сожаление мое оправдалось впоследствии горькою действительностью: сосланным в Сибирь в общество государственных преступников, в страну, где уже привыкли к обращению с ними, было гораздо лучше, чем попавшим в грубые невежественные арестантские роты, в общество воров и убийц и при начальстве, всего боящемся.

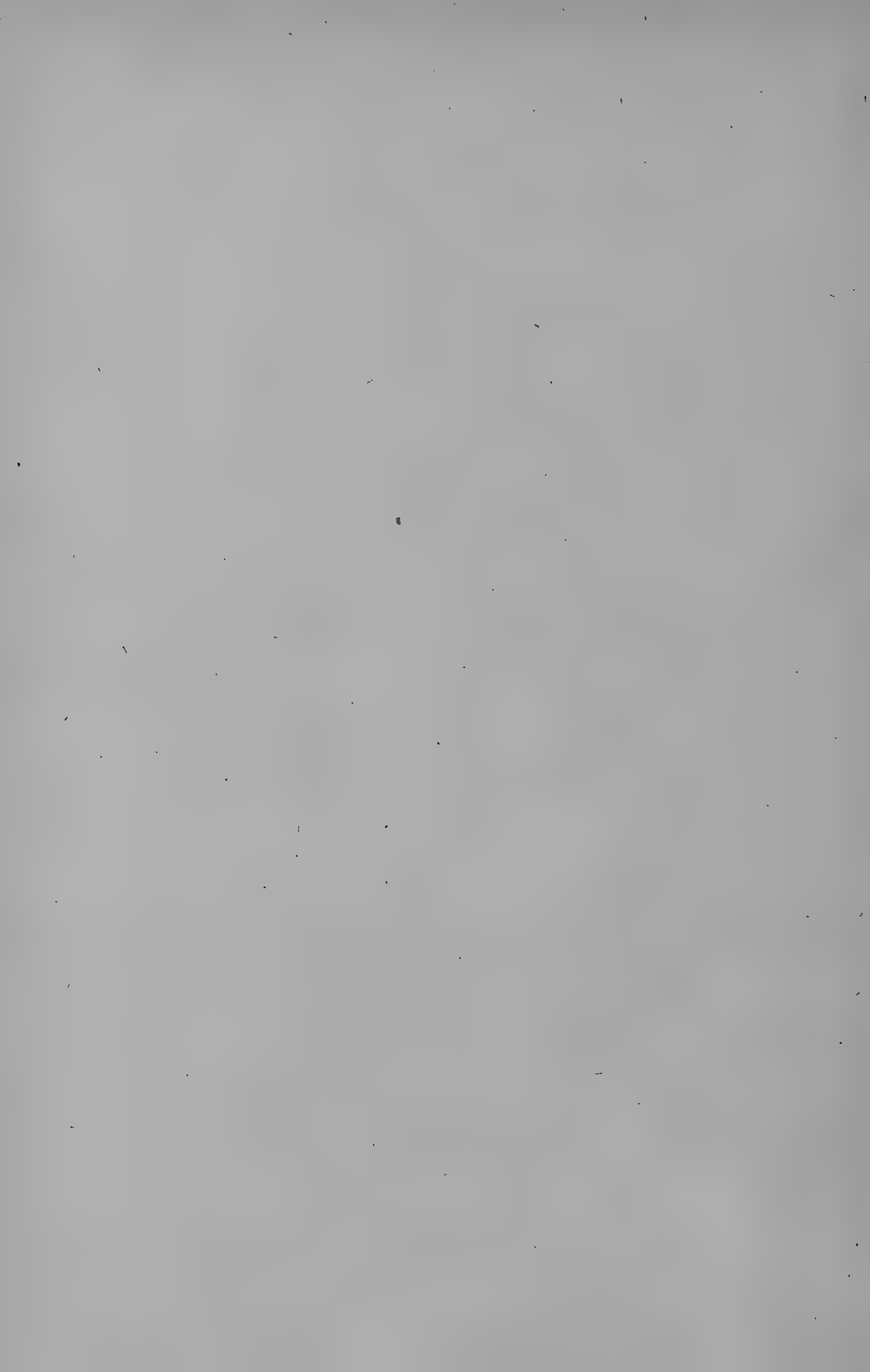
Я был все-таки счастлив тем, что тюрьма миновала, что я сослан в работы и буду жить не один, а в обществе каких бы то ни было, но людей, загнанных, несчастных, к которым я подходил по моему расположению духа.

Другие товарищи на эшафоте выражали тоже свои взгляды, но ни у кого не было слезы на глазах, кроме одного из нас, стоявшего последним по виновности, избавленного от всякого наказания,—я говорю о Пальме. Он стоял у самой лестницы, смотрел на всех нас и слезы, обильные слезы текли из глаз его; приближавшимся же к нему, сходившим товарищам, он говорил: «Да хранит вас бог!».

Стали подъезжать кареты и мы, ошеломленные всем происшедшим, не прощаясь один с другим, садились и уезжали по одному. В это время один из нас, стоя у схода с эшафота в ожидании экипажа, закричал: «Подавай карету!».—Дождавшись своего экипажа, я сел в него. Стекла были заперты, конные жандармы с обнаженными саблями точно так же окружали наш быстрый возвратный поезд, в котором недоставало одной кареты—Михаила Васильевича Петрашевского!

IV

ПЕТРАШЕВЦЫ В СИБИРИ



М. В. БУТАШЕВИЧ-ПЕТРАШЕВСКИЙ В СИБИРИ [1])

I.

Когда амнистия 1856 года заменила петрашевцам каторгу поселением, Петрашевский был приписан к Оекской волости, Иркутской губернии. Место его водворения находилось в 35 верстах от Иркутска. Ему, как и некоторым его товарищам, тогда же разрешено было поселиться в Иркутске, что он и сделал в 1858 году. Вместе с ним переселились сюда два других его товарища: Н. А. Спешнев и Ф. Н. Львов. Оба последние вскоре после этого были прощены и вернулись в Россию, где Спешнев безвыездно поселился в своей деревне, кажется, Новогородской губернии, и там немного спустя времени умер. Львов впоследствии стал известен как один из учредителей Технического общества в Петербурге и, сделавшись постоянным секретарем его, отдал всю остальную свою жизнь на организацию и служение этому обществу. Участь самого Петрашевского была гораздо печальнее, потому что каторга не могла сломить его упорной натуры и заставить его с меньшею горячностью относиться к убеждениям своей юности. Сначала он служил по найму в одном присутственном месте и считался в числе людей, близких к тогдашнему иркутскому генерал-губернатору Н. Н. Муравьеву - Амурскому. Ветеран сибирской областной печати, М. В. Загоскин передавал мне о жизни Петрашевского следующее:

«Как и где покойный провел годы каторги,—об этом Петрашевский не говаривал. В Иркутске они жили всегда втроем: Петрашевский, Н. А. Спешнев и Ф. Н. Львов. Я познакомился с ними вскоре по издании первых нумеров

---

1) В. Арефьев, «Русская Старина», 1902, январь, стр. 177—186.

«Иркутских Губернских Ведомостей», редактором которых первое время был Спешнев. Когда я принес к Спешневу свою первую статью, все они меня приняли хорошо. Вскоре они поселились около меня на Большой улице, и здесь мы видались часто. Муравьев был тогда в угаре либерализма и приблизил их к себе. После нескольких моих статей в «Губ. Вед.», Муравьев пожелал познакомиться со мной,—и мы (не помню, со Спешневым или Петрашевским) отправились к генерал-губернатору. У Муравьева в кабинете целый угол был завален заграничными изданиями о России, и он тут же предложил пользоваться этими книгами всем нам. Вскоре он поехал на Амур и Спешнева взял с собою в правители путевой канцелярии, а мне предложил взять на себя редактирование «Губернских Ведомостей». В эти «Ведомости» Петрашевский ничего не писал [1]), а писал Львов (о минеральных ключах и т. п.). Тогда же у нас с Петрашевским и И. С. Сельским (член Совета и правитель дел отдела Географического общества) завелась речь об издании частного органа. По возвращении Муравьева с торжеств по случаю Айгунского договора, он был готов все сделать, и в 1859 г. пошло ходатайство о разрешении издавать частную газету «Амур». На издание газеты дали средства трое молодых людей, купеческих детей: Ст. Ст. Попов, Ив. Ив. Пиленков и Андр. Андр. Белоголовый, брат известного доктора-литератора.

«Весной в 1859 г. в Иркутске большого шуму наделала дуэль между двумя чиновниками особых поручений при генерал-губернаторе—Беклемишевым и Неклюдовым, закончившаяся смертью последнего. Местное общество, враждебно относившееся к генерал-губернаторской партии, к которой принадлежал Беклемишев, открыто стало говорить, что это была не дуэль, а простое убийство, так как при ней не были соблюдены некоторые правила, установленные обычаем, и будто бы секунданты Неклюдова не были выбраны им самим, а навязаны ему противником. Общественное мнение прямо требовало строгого следствия и суда над виновником. История этой дуэли была описана Н. А. Белоголовым (судя по посмертным сочинениям последнего) в приложении к «Коло-

---

[1]) Вопреки этому сообщению, Вс. И. Вагин, знаток истории сибирской областной печати, считает Петрашевского сотрудником «Ирк. Губ. Вед.» того времени. Он даже называет одну его крупную статью «Об Амурской компании», направленную, кажется, против введения откупов в Амурском крае и напечатанную в «Губ. Вед.» за 1857 г.

колу» Герцена (№ 2, «Под суд»). Не совсем беспристрастное опровержение этой статьи, напечатанное по просьбе М. А. Бакунина, появилось в том же журнале зимой 1860—1861 г. Генерал-губернатор, очень любивший Беклемишева, страшно раздражался всеми этими толками и пересудами и, дав волю своей обычной горячности, начал рвать и метать. Этим он еще более осложнил дело. О горячности его в данном случае можно судить, например, по следующему: узнавши, что особенно оживленные разговоры о дуэли ведутся в частной библиотеке Шестунова, он распорядился немедленно закрыть ее, а самого Шестунова выслал административным порядком за Байкал.

«Петрашевский,—рассказывает М. В. Загоскин в письме к пишущему настоящие строки,—принял горячее участие в волнении, произведенном в городе этим событием, а равно и в похоронах убитого Неклюдова. Примкнув к оппозиции, он громко говорил о неправильностях, сопровождавших дуэль. Обо всем этом донесено было Муравьеву на Амур, и мы все (молодежь—учители гимназии и более молодые из чиновников главного управления) представлены были, как участники городских волнений. А и все-то волнения состояли в том, что на похороны Неклюдова собралась масса народа (была Пасха) и молчаливо проводила покойника до могилы. В «Губ. Вед.» Львов поместил статейку о дуэли, с выражением сожаления о «молодых людях—любимцах Муравьева», вместо дела занимавшихся взаимными дрязгами. По возвращении с Амура, Муравьев уже не приглашал к себе ни Петрашевского, ни Львова. Меня, как будущего редактора «Амура», он позвал особо, накричал, как подобает николаевскому генералу, но затем смирился и просил только в новой газете «не марать Амура», т. е. его амурских распоряжений. С тех пор до своего выезда из Сибири он остался более или менее благосклонным и к «Амуру», и ко мне. За Муравьева остался в Иркутске Корсаков и вскоре распорядился выслать Петрашевского в Минусинск. Сделано это было так, что мы даже не узнали в свое время об его отправке».

Н. А. Белоголовый в своих воспоминаниях о декабристах упоминает мимоходом и о Петрашевском и говорит, что он был выслан из Иркутска за то, что в деле о дуэли примкнул к оппозиции и резко порицал сопровождавшие дуэль неправильности. В. И. Вагин в письме ко мне объясняет высылку Петрашевского тою же причиною, приба-

вляя, что вообще «он не стеснялся в выражении своих мнений о местных событиях». Впрочем, г. Вагин не знал Петрашевского лично, так как его не было в Иркутске во время пребывания здесь последнего, и потому он говорит о Петрашевском лишь со слов других. «Амур», в возникновении которого принимал Петрашевский деятельное участие, просуществовал недолго, по крайней мере, при своей первоначальной редакции. Редакция газеты, как рассказывает В. И. Вагин, была обставлена очень серьезно. «Местное обозрение принял на себя Петрашевский, общее внутреннее—М. П. Шестунов (он же управлял и конторой издания), иностранное—П. А. Горбунов, бывший воспитатель Трубецких, человек весьма образованный и страстный политик. Кроме того, ближайшим сотрудником газеты был Ф. Н. Львов, впоследствии секретарь Технического общества. Граф Муравьев-Амурский сочувственно отнесся к новому изданию; начальник его штаба, Кукель, и бывший посланник в Китае, г. Бютцов, обещались быть сотрудниками газеты и действительно доставили ей несколько сообщений. Цензорами газеты были генерал-губернаторы—сначала Муравьев, а потом Корсаков. Прежние связи г. Загоскина по редакции «Губернских Ведомостей» дали ему возможность с самого начала привлечь в «Амур» несколько дельных корреспондентов. Затем явились и новые корреспонденты и сотрудники... «Амур» печатался в довольно порядочной местной военной типографии и на очень порядочной бумаге.

«Муравьев, повидимому, вполне доверял редакции газеты, так что подписывал цензурные листы не читая. Но это только повидимому, потому что стоило появиться не совсем благосклонной заметке об Амурском крае и о любимцах графа—разной лицейской молодежи,—как на авторов и редактора сыпались уже угрозы. Еще за напечатание в «Губернских Ведомостях» статьи по поводу дуэли между Беклемишевым и Неклюдовым редактору сделано было замечание. Бывали выговоры и за заметки в «Амуре». Один чиновник за такую заметку был даже лишен места в Благовещенске. Со вступлением в должность генерал-губернатора Корсакова дела газеты пошли хуже. Случалось, что целые нумера надо было перепечатывать вновь. Вместо того, приходилось печатать то, что, по мнению редакции, противоречило ее воззрениям. Известно, какое сильное впечатление производили статьи Дмитрия Завалишина, раскрывавшие закулисную сторону занятия Амура. Статьи эти страшно бесили Н. Н. Му-

равьева и его преемника Корсакова. Последний поручил одному из своих приближенных написать опровержение на них. Это опровержение разрослось в несколько печатных листов. Оно было прислано в редакцию «Амура» с собственноручной запиской, в которой приказывалось «напечатать!» его в ближайшем номере. Пришлось разбирать набранный уже номер газеты, печатать опровержение и задержать выход номера. Распоряжение о напечатании его было явным вмешательством во внутренние дела совершенно частного издания и покушением влиять на его направление, вопреки мнениям редакции, которые были гораздо более солидарны с мнениями Завалишина, чем автора опровержения. Издатели оскорбились таким вмешательством и решили закрыть газету. Редактор М. В. Загоскин доложил об этом М. С. Корсакову.

— Газета должна существовать,—сказал Корсаков.

«Г. Загоскин возразил, что, за отказом издателей и по малочисленности подписчиков, газета не будет окупать издержек, и потому существование ее немыслимо. Корсаков обещал помочь газете, лишь бы она не прекращалась. И действительно, газете было ассигновано пособие из амурских сумм (заглавие ее тут пришлось очень кстати) по 800 руб. в год. Таким образом «Амур» сделался субсидируемой газетой. Это, однакож, не изменило ее направления. Самолюбию Корсакова и Муравьева было приятно, что в их крае издается газета, да еще и либеральная. Но объем газеты сильно уменьшился. Вместо двух больших листов стал выходить только один маленький. Все прежние члены редакции отстали от газеты, и весь труд редакции остался на одном Загоскине».

Всего «Амур» просуществовал около двух лет и закрылся в апреле 1862 года. О значении его для края можно судить по тому уже, что, благодаря его разоблачениям, в короткое время было смещено 20 заседателей и 8 исправников [1]).

Участие в «Амуре» Петрашевского было незначительно. По словам редактора газеты М. В. Загоскина, он «написал 2—3 передовых статьи, но таких длинных, что их нельзя было поместить в одном нумере, а пришлось разбить на

---

[1]) И. И. П-в. «Михаил Васильевич Загоскин», юбилейная статья в «Вост Обозр.» за 1898 г.

части. Вообще Петрашевский, как сотрудник газеты, оказался неудобным,—говорит Загоскин в цитированном выше письме;—писал он многословно и противоцензурно, стараясь задеть людей близких к генерал-губернатору. О делах общественных вовсе не писал, да и мало интересовался ими. Он вел бесконечный процесс о своем осуждении, якобы незаконном. Прошение его на 35 листах все читали. Оно переполнено было юридическими тонкостями, доказывавшими, что при судебном разбирательстве его дела нарушены были все законные правила. Прошение начиналось так: «Мнимого поселенца Оекской волости, потомственного дворянина М. В. Петрашевского—прошение». Какой был ближайший повод высылки Петрашевского,—не знаю, вероятно, хождение его по всем знакомым и толки о муравьевских делах.

«Кроме того, он занимался адвокатурой. Помню, он потребовал у суда восстановить по одному делу «суд по форме». Я был на этом суде: выступили Петрашевский и его соперник и, став у дверей суда, читали по тетрадям взаимные доводы,—выходило даже смешно... Зрителем был один я. А Петрашевский видел в этой шутке прототип гласного суда.

«Больше всего повредило Петрашевскому то, что в начавшемся следствии о дуэли и в суде над дуэлистами он тоже принял горячее участие. И он и судья, присудивший дуэлистов к каторжной работе, сами отданы были под суд, и один из судей даже зарезался...

«Спешнева Муравьев увез с собою в Петербург, даже не испросив ему разрешения. Вообще Спешнев из всех их был самый развитой, многознающий и выдержанный человек.

«О фурьеризме и коммунизме мало говорилось в их среде. Высказывались иногда воспоминания о товарищах по делу, но ничего интересного в них не было. Помню отзыв Петрашевского о Достоевском, которого он считал весьма слабым по убеждениям и по характеру. С Бакуниным они все трое не сходились, так как Бакунин поместил в «Амуре» 2—3 статьи и исчез, надув Муравьева и Корсакова».

Не сходился, кажется, Петрашевский и с декабристами. По крайней мере, Н. А. Белоголовый в своих воспоминаниях о декабристе А. В. Поджио говорит, что последний не мог сблизиться с Петрашевским. Объясняет он это тем, что Поджио был чистокровный либерал, тогда как политические стремления Петрашевского шли гораздо дальше.

II

О дальнейшей судьбе Петрашевского сведения находятся в моем распоряжении крайне неполные и отрывочные. Сначала он жил в Минусинске, затем был переведен в село Шушу, Минусинского округа.

Шуша—село глухое, лежащее в стороне от тракта. Но и здесь, по словам Н. А. Белоголового, Петрашевский не угомонился. Сойдясь с своими новыми односельцами, он сделался их адвокатом и от их имени стал осаждать местные власти беспрестанными прошениями на разные утеснения и неправды. Прошения эти доводились до сведения гр. Муравьева и постоянно поддерживали его раздражение. Один старожил передавал мне, со слов самого Петрашевского, что в Шуше изгнанник подвергался даже наказанию розгами.

Вскоре мы видим Петрашевского уже переведенным в село Бельское, Енисейского уезда. Этот перевод тоже являлся наказанием за недоразумения с начальством. Бельское и в настоящее время производит самое угнетающее впечатление на всякого культурного человека, случайно попавшего сюда. Оно представляет сотню жалких домишек, в беспорядке разбросанных по двум оврагам, вблизи небольшой, заросшей травою речки. Тайга точно кольцом охватила село, придвинулась к самым дворам и тянется во все стороны почти сплошь на сотни и тысячи верст. Летом от нее по селу кишит страшная мошка, и медведи нередко задирают скотину под самым селом; волки зимою не боятся даже заходить в село. Население живет довольно бедно, почти наполовину состоит из ссыльно-поселенцев. Никаких промыслов жители не знают и живут почти исключительно земледелием, при чем собственного хлеба им хватает на содержание далеко не каждый год. Селений поблизости нет вовсе. В культурном отношении—это и теперь почти непочатый угол. Несмотря на то, что школа существует здесь уже несколько десятков лет, грамотных крестьян почти нет. Иные совсем уже забыли все, чему учились в школе, другие—близки к этому. Это, конечно, вполне естественно, потому что книг в селе никаких нет, покупать их не на что, да и негде, читать некогда. Ближе гор. Енисейска, отстоящего от Бельского на 100 верст (версты «Екатерининские» семисотсаженные), негде купить не только печатного листка бумаги, но даже пузырька чернил. В Енисейске же и ближай-

шая почтово-телеграфная контора. Если таково культурное положение села в настоящее время, то можно представить, каково оно было в 60-х г.г., когда здесь жил Петрашевский. Старуха «Конюриха», у которой квартировал и в доме которой умер Петрашевский, рассказывает, что в Бельском все его боялись, думали, что он знается с чортом. Заключение это сделали из того, что он в церковь не ходил, попов не любил и вообще жил нелюдимом.

Чтобы яснее представить себе тягость положения Петрашевского, нужно добавить, что некультурность населения не сопровождается здесь теми симпатичными первобытными нравами, которыми у нас принято наделять захолустья деревни. Ссылка и разгул золотопромышленников и приисковых рабочих не обошли заброшенных среди лесов сел и способствовали здесь, как и везде в Сибири, развитию жажды к наживе и развращению нравов. Вместе с тем суровая природа и угрюмая обстановка содействовали здесь сильному развитию несимпатичных черт сибиряка: угрюмости, нелюдимости, эгоизма и бесчувственности. Нет сомнения, что Петрашевскому не раз приходилось наталкиваться на эти туземные черты характера. Один местный крестьянин рассказывал мне, что однажды ребятишки своими насмешками и передразниваниями довели Петрашевского до слез и затем чуть не до слез же тронул его этот крестьянин, заступившийся за него перед ребятишками.

В селе Бельском Петрашевский провел года два. Енисейский врач А. И. Вицын, близко знавший Петрашевского в этот период его жизни, рассказывал мне, что Петрашевский был прислан сюда «за сопротивление властям». Немногие помнят Петрашевского в Бельском, и из рассказов этих немногих очень немногое можно почерпнуть для его характеристики. О наружности Петрашевского в это время рассказывают следующее. Он был высокого роста, с лохматой русой головой, длинной бородой и удивительно проницательными голубыми глазами, в которые было смотреть страшно. Крестьянам врезалось еще в память, что он носил на руках длинные ногти. Жил Петрашевский в простой крестьянской избе, которая сохранилась до сих пор. Не было у него здесь ни родных, ни товарищей, ни мало-мальски близких знакомых. Крестьяне его недолюбливали за его нелюдимость, но смотрели на него как на очень важное лицо, потому что он очень независимо держал себя по отношению к местным властям и постоянно враждовал с ними. Ходили к нему толь-

ко бедные крестьяне; он писал им разные прошения и жалобы, помогал советами и лечил их. Рассказывают, что он посылал в газеты какие-то статьи, отправляя их на почту потихоньку от волостного начальства, при оказиях в город. С городским начальством Петрашевский был в большой вражде, выводил, по рассказам старожилов, на свежую воду все их грехи, писал на них жалобы и этим навлек на себя их общую ненависть. Однажды он ездил в Енисейск из-за каких-то столкновений с начальством. Возвратился оттуда бодрым и здоровым, поужинал, а на утро его нашли в постели мертвым. Народная молва приписала его скоропостижную смерть отравлению, которое будто бы было произведено в городе по подкупу начальства, ненавидевшего покойного. В селе сохранилась целая легенда об этом отравлении. На самом деле Петрашевский умер от апоплексии мозга, как это было установлено вскрытием. Анатомировавший его врач А. И. Вицын рассказывал мне, что у покойного оказался необыкновенно большой и замечательно хорошо развитый мозг.

По справкам в Благовещенской церкви с. Бельского оказалось следующее: в 1867 году в третьей части (книги) об умерших, под № 4 муж. п., записан «политический преступник Михаил Васильевич Буташевич-Петрашевский, умерший скоропостижно». Днем его смерти значится 7 декабря 1866 года[1]), а днем погребения—12 февраля 1867 г. Таким образом покойный ждал погребения более двух месяцев, находясь все это время в местном «холоднике». Хоронили Петрашевского на средства волостного правления, и ни одна душа не проводила его до кладбища, кроме могильщиков. Как человек умерший без покаяния, он был зарыт вне кладбища.

Без церковного пенья, без ладана,
Без всего, чем могила крепка...

Лет пятнадцать стояла могила Петрашевского совершенно одинокой, всеми забытой, не отмеченной даже простым камнем. Рядом с нею в таком же забросе находилась другая могила местной учительницы Киселевой, окончившей жизнь самоубийством. Наконец, нашлись добрые люди, «скитальцы с западной страны», как выразился польский поэт, воспевший эти две могилы. Они подновили эти могилы, насыпали

---

1) В донесении енисейского жанд. полковника III Отделению днем смерти Петрашевского показано 6 декабря. Ред.

над ними бугры земли и поставили над могилой Петрашевского деревянный столб, а над могилой Киселевой—крест. И тот и другой были сделаны ими собственноручно. В день поправки могил они устроили даже товарищеский вечер в память покойных и впоследствии часто приходили на эти могилы. Но прошло несколько лет, эти случайные люди рассеялись, и опять остались могилы совершенно заброшенными, опять некому стало притти сюда и вспомянуть покойных.

Я посетил эти могилы зимою прошлого года. Кладбище находится на задах села, почти около самого леса. Это небольшое и бедное кладбище. Нет на нем ни одного памятника, деревянные кресты на могилах по большей части поломаны: заплот полуразрушен и около него растут кой-где молодые елки и березки. С трудом, чуть не по пояс увязая в снегу, добрался я до уголка, где похоронены отверженные, но могил их не мог найти. Я еще думал, что крест и столб, о которых мне рассказывали, свалились, но это оказалось верным лишь наполовину. Во второе посещение я нашел обе эти могилы. Креста на могиле Киселевой действительно уже не было, но старый почерневший столб на могиле Петрашевского еще стоял. Незаметно приютился он перед небольшою елкою, прячась в ее зеленых ветвях. Нет на нем никакой надписи, да, повидимому, и раньше не было. Только несколько дробин торчали в нем: кто-то, видимо, стрелял в цель. Ничего отсюда не видно, кроме угрюмой тайги, да покосившегося «холодника» с выбитыми окнами и полуразрушенной крышей. Это тот «холодник», который давал Петрашевскому последний приют в течение более чем двух месяцев. Даже села не видно с могилы Петрашевского: оно скрывается за кладбищем.

Через несколько дней я побывал и в бывшей квартире Петрашевского. Она находилась всего через дом от моей собственной, и я еще раньше не раз обращал внимание на эту большую, дряхлую и страшно покосившуюся избу-пятистенку с заколоченными окнами. Она давно уже пустовала. Старуха, которой изба эта принадлежала и у которой квартировал Петрашевский, уехала в Енисейск, продавши избу местному крестьянину. Квартирантов у последнего почему-то долго не находилось, и лишь за несколько дней до моего посещения ту половину, где когда-то жил Петрашевский, занял какой-то пьяница-поселенец с семьей. С трудом взобрался я по оледеневшим ступенькам крыльца в темные сени, загроможденные дровами и разным хламом, и кое-как

нащупал дверь в избу. Хозяина не было дома,—он где-то другой уже день пьянствовал, хозяйка с ребятишками сидела без огня, хотя было уже темно. При моем приходе зажгли лампу, и я затеял разговор, чтобы выгадать время и успеть осмотреть комнату. Это была обыкновенная крестьянская изба, довольно просторная, хотя и не особенно высокая. Все здесь было страшно грязно, бедно и неуютно. Никаких украшений на стенах, никакой мебели, кроме деревянного диванчика да стола. Около половины избы занимала большая русская печь и «куть», отделенный деревянною раскрашенною «казенкою», или перегородкою. В этом-то «куте», в углу, занятом теперь кухонною посудою и лоханью с помоями, и умер Петрашевский.

ВСТРЕЧА С ПЕТРАШЕВСКИМ В ИРКУТСКЕ В 1858 Г. [1]

27 октября. Вчера все еще продолжалось представление служащих в институте дам и мужчин.

Между посетителями явился и известный Петрашевский, бывший во главе заговорщиков в 1849 году.

Грустное впечатление произвел он на меня. Мы его знали, еще когда он учился, в его молодости, свободным, веселым, беззаботным; видели также за несколько дней до ареста, когда он был тоже весел, подготовляясь к исполнению безумного замысла, а теперь встретили в Иркутске изгнанником, лишенным всех прав, после нескольких лет, проведенных в Нерчинском заводе. Он обрюзг ужасно: длинная черная борода, почти лысая голова, неполон, но что называется «trapu», все это придает ему какой-то странный вид. В молодости он был очень недурен, но теперь у него сделалось какое-то простое лицо. Что значит несчастие!..

В Петербурге нам советовали не принимать его; но как отказать человеку, который уж десять лет страдает за задуманное преступление. Он виноват—слов нет, виноват страшно; но господь прощает грешников, и нынешний добрейший государь позволил ему жить на свободе в Иркутске, а стало быть разрешено ему являться и в обществе [2]). Как же отказать человеку в таком положении...

[1]) Записки старой смолянки В. П. Быковой (1858—1878), ч. 2-я, П. 1899, стр. 26—28, 34—35.

[2]) Многие в Иркутске его не принимали за несдержанность, дурные манеры и озлобленную горячность при малейшем ему противоречии.

Когда доложили о нем, Нута, напуганная в Петербурге, сильно колебалась: принять ли его или отказать, и лишь узнавши, что он принят здешним губернатором, и выслушав мое горячее поучение о милосердии к заблудшему, приказала «просить».

Неприятное впечатление произвел он на меня: говорил о городских сплетнях, о том, кого нужно здесь бояться, и проч. и проч. тому подобное. Тон его речи был тяжелый, самоуверенный и озлобленный... Одно лишь мне понравилось в Петрашевском: как только вошел он, первыми его словами были самые тщательные расспросы о матери, о сестрах; из наших сообщений о них, казалось, он не проронил ни слова...

У Р—й мы в воскресенье обедали, но не понимаю, для чего пригласила она вместе с нами графа и трех изгнанников: Спешнева, Львова и Петрашевского.

Они все трое здесь приняты ею, видимо, очень хорошо. Странно мне, петербургской жительнице, было видеть этих людей. Чувство боязни, негодования, досады и в то же время жалости являлось во мне... Я вглядывалась в них пристально. Петрашевский и Львов были на вид очень веселы, смеялись, толковали и врали разную чушь, как-будто бы над головою их никогда не проходили страшные события; как-будто бы не высидели они 9 месяцев в крепости, не были приговорены к смертной казни и не стояли у столба против солдат с заряжёнными ружьями... Все это, казалось мне, должно было бы оставить на них неизгладимые следы!.. Впрочем, на Спешневе и видна печать несчастия: он молчалив, задумчив; улыбки не видно на этом прекрасном лице, уже покрытом преждевременной сединой и морщинами; ему теперь около 40 лет. Он среднего роста, тонок; продолговатое бледное лицо, правильные черты, черные длинные волосы и постоянно задумчивый вид придают какую-то внешнюю прелесть этому изгнаннику. Жаль его и хотелось бы утешить, исцелить его и довести до раскаяния; хотелось бы по сердцу поговорить с ним, чтобы обратить к богу эту з а б л у д ш у ю д у ш у... Но они все трое ни во что не веруют. Грустно видеть их, и мне всегда жаль п о д о б н ы х л ю д е й: их взор, как неверующих, ни на минуту не отрывается от земли, и нет им отрады вне тесной, чувственной жизни. На небе они не ищут ничего...

Львов и Спешнев были и на вечере у графа. Спешнев на

вид—le type du comme il faut, не изменял себе, молчал и там, как везде. Львов, напротив, болтал без умолку, извивался между молодежью и с увлечением полькировал. Он и меня старался убедить в своем злобном безверии. Львов—опасный человек: очень умен, много читал и страшный материалист. По уму он мне нравится.

Отрицают самообольщенно эти господа чистейшие и высокие наслаждения жизни, но что же они могли бы дать взамен отнятых благ? Чем вознаградят они потерю святых и подкрепляющих нас верований? На это ни один из них не ответил.

ВСТРЕЧА М. И. МИХАЙЛОВА С ПЕТРАШЕВСКИМ И ЛЬВОВЫМ [1])

Та же дорога с ухабами и метелями потянулась до Красноярска. Здесь я решился пробыть подольше, чтобы видеться с Петрашевским. Он, как ты знаешь из «Колокола», попал в немилость у Муравьева, за то, что говорил против скверной истории Беклемишева и—не помню, как зовут его жертву. Петрашевского выслали из Иркутска, а Беклемишев вместо того, чтобы попасть в соседство ко мне, в каторгу, назначен, как я видел в последних газетах, вице-губернатором в Саратов. Муравьевское начало не умерло с ним: для замазки разных щелей и трещин своего ломового управления, он посадил на свое место невежду и глупца Корсакова, своего родню и креатуру, быстро выскочившего в генералы, разве по способности своей скакать тысячи верст на курьерских для безгласного и точного исполнения самодержавных повелений своего патрона.

В Красноярск приехал я по утру 7 февраля. Станция находится там при гостинице. Толстый, улыбающийся немец Иван Иваныч вышел встречать меня и объявил, что меня давно уже ожидают и многие желали бы со мной видеться. Первым вопросом моим было, здесь ли Петрашевский. Немец отвечал утвердительно и обещал немедленно послать известить его.

Не успел я вполне разоблачиться от дорожных шуб и шарфов, как у меня оказалось уже четверо гостей. Один

[1]) М. И. Михайлов. «Записки 1861—1862». Изд. «Былое», П. 1922 стр. 134—139 и 144—146.

был местный казначей, офицер, брат известного мне по имени издателя какого-то маленького журнала—«Вазы», или «Северного цветка»; трое остальных были проезжие в Петербург, офицеры же с Амура. Из них особенно заинтересовал меня моряк, капитан-лейтенант С(ухомлин). С его парохода или фрегата бежал Бакунин. Корсаков, получивший сильную головомойку из Петербурга за этот побег, вздумал было задержать С(ухомлина) в Иркутске, пока не кончится следствие. Но С(ухомлин) ехал с семьей, по требованию своего начальства, и не мог терять ни времени, ни денег на праздное житье в корсаковской столице. Пришлось ограничиться вопросными пунктами и отпустить капитана дальше. Да и какое тут следствие, когда у Бакунина был открытый лист для проезда, куда он хочет, за подписью того же Корсакова? Умеренные прогрессисты в Иркутске находили, что Бакунин поступил нехорошо, изменив честному слову, которое он дал Корсакову, что не убежит. Я в этом случае не совсем согласен с умеренными прогрессистами и—если бы считал полезным для себя—поступил бы на месте Бакунина точь-в-точь так.

Скоро пришел ко мне и Петрашевский. Не знаю почему, я воображал его человеком совсем иной наружности, чем каким увидел. Портрета его мне не случалось видеть; говоря о нем с некоторыми из тех, кто был сослан по его делу, я как-то не спрашивал о его наружности,—и он представлялся мне высоким, худым, с резкими и строгими чертами лица, да вдобавок еще блондином. Я не могу понять, почему составилось у меня такое о нем представление. Разве, не на основании ли читанных мною в «Колоколе» официальных бумаг его, наполненных юридическими тонкостями, к которым был я всегда так холоден, пока теперешнее мое дело не показало мне, что я поступал нерасчетливо, пренебрегая знакомством с дичью, именуемою законами Российской империи. Впрочем, едва ли мое представление о Петрашевском составилось не раньше. Я увидел совершенную противоположность тому, что ожидал.

Петрашевский не высок; он среднего роста и не худой, а очень полный. Походка его напомнила мне отчасти походку Герцена, и в самой фигуре его есть с ним сходство. Черты лица его довольно правильны, мягки и приятны. Большие черные глаза, очень выпуклые, обличают в нем сразу говоруна, и он, действительно, говорит много и хорошо; но, вероятно, именно потому, что много и хорошо,

речь его полна противоречий. На голове у него осталось уже мало волос—перед весь голый, и только сзади низко опускаются на воротник сюртука их поредевшие черные пряди. Большая, что называется, апостольская борода, напротив, еще очень густа; по ней длинными белыми нитками прошла уже седина. Одет он был во все черное. И сюртук, и жилет, и панталоны—все было очень потерто и замаслено и обличало не совсем-то блестящие его обстоятельства. Оно так и было действительно, как я слышал впоследствии.

Видевшись с ним всего один день, я не могу, разумеется, сказать о нем многого; но общее впечатление было для меня приятное. Я нашел только, что местные интересы, в которых Петрашевский принимал участие (разумеется, только словом), в последнее время своей ссылки, разные иркутские интриги и дела, как-будто заслонили от него интересы более широкие и общие. То, что для человека нового представляется не более, как местными провинциальными дрязгами, для него, при постоянном столкновении с здешними властями, приняло слишком большие размеры и заставило как-будто отчасти забыть о том, что сердиться следует на причины, производящие дурные явления, а не на самые явления.

Слушая Петрашевского, я, признаюсь, не раз подумал, что было бы очень грустно, если бы тесный круг местных интересов успел со временем втянуть и меня в свои границы. Повторяю, все эти интересы входят лишь как ничтожная доля в ту общую систему нашего управления и нашей жизни, против которой одной борьба не бесплодна. То же сужение понятий от долгой жизни в ограниченной и жалкой среде проявил и товарищ Петрашевского, Львов, в своих «Выдержках из воспоминаний ссыльно-каторжного», вторая часть которых дошла ко мне лишь недавно. Меня просто возмутило то́ место, где он говорит о действии ссылки на политических преступников. Надо слишком и поверхностно и мелко всматриваться в окружающую жизнь, чтобы дойти до таких ограниченных взглядов. Ты статью Львова, конечно, читала, и, вероятно, помнишь это место. На него нельзя не обратить особенного внимания в статье именно бывшего «политического преступника». Рассуждать об исправлении зла «последовательными реформами при помощи служебной или открытой общественной деятельности», толковать о развитии гражданского чувства, откладывая в долгий ящик «последовательных реформ» (иначе «медленного про-

гресса») «благие учреждения», которые одни создают граждан,—все это мог говорить другой Львов, автор знаменитой комедии с добродетельным становым приставом, или не менее знаменитый герой соллогубовского «Чиновника»; но слышать эти речи от «ссыльно-каторжного» Львова не только досадно, но и тяжело и грустно. Если бы еще он говорил об этом изменении во взглядах «политических преступников», как о развращающем влиянии житья в ссылке,—а то ведь это, по его мнению, хорошая сторона ее, хорошее и благое влияние. Кстати замечу, что вся вторая статья Львова (первой я не помню) показывает, что он совершенно не знаком даже с общим характером мест и людей, посреди которых привелось ему прожить так долго, или не умел всмотреться в смысл окружавших его явлений и только наблюдал их внешнюю сторону. Можно, пожалуй, было бы извинить жалкую ничтожность этой статьи недостатком таланта, но ведь в ней нет д е л а, а уж это не зависит от таланта. Я заговорил о статье Львова именно потому, что нечто вроде того не совсем веселого чувства, которое испытал я, читая ее, проходило иногда по моим нервам и при разговоре с Петрашевским. Нет, что ни толкуй, а горе и лишения ссылки взяли таки свое, печать их осталась, и, мне кажется, первое, о чем должен постоянно думать и стараться всякий сосланный за политические убеждения, это—вырваться отсюда и окунуться в поток более широкой жизни.

Львов говорит об уме «охлажденном и опытом, и зрелостью возраста», как о шаге вперед от горячего и страстного энтузиазма молодости. Да ведь это просто притупившиеся от слишком сильных потрясений нервы. Не желал бы я себе такой зрелости, хотя, может быть, уже и теперь для нового подрастающего племени я—человек отживающий. Как на одно из важных противоядий нашей провинциальной малярии, смотрю я на свою возможность уходить от пошлости наших житейских отношений в чисто умственную деятельность,—и я считаю себя счастливым, что могу заниматься литературным трудом.

Я никогда не работал так много, как теперь в эти два-три месяца, как поселился в Казаковском золотом промысле, и как бы ни ничтожны были плоды этой работы, я уверен—они полезнее и для общества, и для моего личного достоинства так называемой «борьбы» с местными обстоятельствами. Эта борьба сильно граничит с тем, что на более простом языке называется дрязгами, кляузами, сплетнями и мало ли

еще чем. Вот почему я особенно доволен, что не остался в Иркутске, а попал сюда в глушь. Замечательно, что только те из политических преступников, бывших здесь, оставили по себе действительно полезное влияние, которые действовали словом, брались за воспитание или вообще старались проводить в сознание молодых людей основные начала нравственности и гражданских обязанностей человека. А те, что вступали в ряды местных «борцов», от пропаганды обращались к делу, только низводили и свои лучшие стремления, и свое личное достоинство к тому уровню, где они теряли всякое высшее значение, а потому и влияние, да и сами деятели мало-по-малу начинали мельчать и все более суживать свои нравственные интересы. Да и какая тут борьба для человека, поставленного своим положением политического преступника вне всякой общепризнанной деятельности, когда и в сфере-то более широкой у нас «удел разумной жизни,—как выразился Добролюбов,—для блага родины страдать по пустякам».

То, что я наговорил, было предметом нашего довольно продолжительного спора с Петрашевским. Я только из его слов узнал о всех неприятных столкновениях, которые рискую испытать, оставаясь в Иркутске. Если бы я не слыхал этого предупреждения о тамошних полицейских надзорах, о шпионстве, подпечатывании писем, о доносах, то достаточно было мне пробыть в Иркутске два-три дня, чтобы не хотеть оставаться там даже при согласии на то местного начальства. Только живя в совершенной дали от общества (как теперь и делает Львов), можно еще там сделать сносною свою жизнь. То, что именуется на иркутском наречии политическими неприятностями, есть не что иное, как мелкие сплетни, раздражающие человека хуже, чем «по пустякам».

Петрашевский советовал мне ехать в Нерчинский округ, где менее будет для меня стеснений, и, для подтверждения его слов, повидаться в Иркутске со Львовым. Я сделал бы последнее и так, но, чтобы увидеться с ним поскорее, взял у Петрашевского записку. Он обедал у меня в этот день; вечером располагал я уехать, но это не удалось. Один из моих жандармов, Николаев, отпросился у меня к каким-то своим знакомым и воротился домой пьян, как стелька. Я остался ночевать.

После обеда Петрашевский уходил на час домой и потом опять пришел, и на этот раз не один, а с тремя молодыми людьми, которых отрекомендовал мне, и при них, и заочно,

как лучших из здешней молодежи. Признаюсь, грустно мне было за Петрашевского, когда эти лучшие представители молодого поколения города Красноярска сидели у меня с ним вечером. Это были, может быть, и даже вероятно, очень добрые молодые люди, но...

И тут я узнал о существовании секретного циркулярного предписания министра внутренних дел к губернаторам, от 2 декабря, не выдавать литератору Николаю Чернышевскому заграничный паспорт. Это известие поставило меня втупик; я решительно не знал, как объяснить его, и отчасти усомнился в его верности; но молодой человек, от которого я слышал об этом, прислал мне на следующее утро и номер, и дату предписания, с подтверждением, что дело идет именно о литераторе Николае Чернышевском.

Петрашевский пришел проводить меня, и я отправился из Красноярска часов в одиннадцать утра.

— До свиданья—в парламенте!—сказал мне на прощанье Петрашевский.

«Блажен, кто верует, тепло ему на свете»,—думал я не раз, когда припоминал об этом прощании.

. . . .

В pendant к святым Кирику и Улите, я могу сообщить тебе, что память святого Федора Тирона празднуется православною церковью 15 февраля. Это драгоценное сведение получил я от моего тобольского спутника Берникова, который явился ко мне утром этого числа, как именинник, с огромным кренделем.

Я был очень доволен его приходом не ради кренделя, а ради того, что мог побранить его за неисполнение моего поручения—отнести записку Петрашевского к Львову. Я предполагал, что она не доставлена, потому что от Львова не доходило ко мне, что называется, ни слуху, ни духу. Берников уверял меня, что товарищ его Николаев ходил к Львову, но не застал его дома. О записке же он ничего не знал и обещал прямо от меня пойти к нему еще раз и в тот же день дать мне знать.

Действительно, он был у Львова и в этот же вечер принес мне от него такую записку:

«Я порывался три раза к вам, но меня не пускают. Если можно будет, постараюсь на первой станции с вами свидеться. С высшими властями я не в ладах. Просить их—это значит отдать себя под присмотр и помешать себе видеться с вами. В Нерчинских заводах вас ожидают, и вы будете

назначены к брату на промысел; это мне известно наверно. На первое время, я думаю, вам лучше будет там, нежели в Иркутском солеваренном заводе, потому что здесь скорее могут повредить вам доносы».

Предостережение Львова было совершенно справедливо. Это я мог понять и из разговора с другими, достойными веры лицами, посещавшими меня. Повидимому, поведение Петрашевского и Львова в деле знаменитой (для Иркутска) дуэли, поведение совершенно справедливое, потом бегство Бакунина возбудили в глазах здешнего правительства недоверие вообще к людям в таком положении, как они, отразившееся и на мне. Корсаков мог оставить меня в солеваренном заводе, но не хотел этого. Мне сказывали, что за одним праздничным обедом влиятельные лица прямо толковали, что, оставив меня в Иркутске (чего, собственно, я и сам не хотел), наживешь только неприятности.

— Он-де будет драпироваться здесь в свое политическое преступление, захочет играть роль в обществе, составит себе партию и проч. в этом роде. Гораздо вернее было, по-моему, тоже переданное мне мнение здешнего архиерея или архимандрита, что меня покарал бог за то, что я «хотел снять узду с женщин».

Надо было постараться увидеться с Львовым. На сухого и дрянного смотрителя в этом отношении нечего было возлагать надежду: он берег меня, как цепная собака. Раз он вздумал не пускать ко мне даже таких посетителей, которые были уже у меня, и даже с запиской полицеймейстера. Я услыхал громкие и крупные переговоры в сенях и вышел туда. Тут смотрителю нечего уж было делать, и он впустил гостей.

Я придумал поступить вот как. Поручил смотрителю спросить у полицеймейстера позволения погулять. Это позволение было мне дано, хотя я мог выйти не иначе, как в сопровождении казака во всей форме, чтобы всякий мог видеть, что это прогуливается арестант. Молодого доктора, который заезжал ко мне каждое утро, я попросил побывать у Львова и передать ему, что если он хочет увидеться со мной, то выходил бы часа в три навстречу мне. Далеко уйти от острога я не мог, но мы могли поговорить на мосту по дороге в город.

Это удалось, как нельзя лучше. Я пошел в сопровождении казака и, только что вступил на мост, увидал издали небольшого господина в шинели и фуражке, который держал в руке белый носовой платок, видимо, желая дать этим

знать мне, что он меня ожидает. Не правда ли, это таинственное свидание в Иркутске больше чем смешно после тех свиданий в Петербурге, которые были позволены мне официально?

Когда мы сошлись и раскланялись, казак оказался настолько деликатен, что перешел от нас на другой тротуар моста. Мы пошли со Львовым дальше к городу, потом назад.

Мне приходится сделать по поводу свидания со Львовым такое же почти замечание, как и по поводу свидания с Петрашевским. Прежде всего о наружности: я опять-таки воображал и его не таким. Мне почему-то казалось, что он должен походить на Плещеева; но это оказался маленький, худенький человек, не с особенно приятным лицом, исчерченным глубокими морщинами. Все это не обличает во мне лафатеровских способностей. Представляя себе Петрашевского и Львова по тому, что было писано ими, я думал, что Львов должен быть для меня симпатичнее Петрашевского. Вышло совсем наоборот. Львов мне вовсе не понравился. Я говорю, конечно, о первом впечатлении, которое потом, может быть, изменилось бы. Ведь я пробыл с ним не более как полчаса. Мне не понравилась в нем какая-то искусственность фразы, выражения, в которых проглядывало что-то вроде фатовства. Я заметил и на нем, что он придает преувеличенные размеры своим враждебным отношениям к здешним властям. Вообще, местные интересы и его вовлекли в свой узкий круг, едва ли с пользой для его общего развития. Я опять-таки скажу, что, становясь в оппозицию действиям Муравьева, они поступали честно и хорошо; но эта оппозиция принимает в их глазах совсем не те размеры и не то значение, какие представляет на самом деле.

Львов передал мне также несколько сведений об ожидающей меня в Нерчинских заводах жизни и значительно уменьшил мои опасения. Разговор у нас шел довольно отрывочный; мы не могли в такой короткий срок ни поспорить, ни поговорить о чем-нибудь серьезно.

Когда мы вернулись к концу моста, бывшему как раз против новых ворот нового тюремного замка, нас увидал оттуда караульный офицер и поспешно подошел. К счастью, это был хороший знакомый Львова и не сделал никакой придирки.

Больше уже мне не удалось видеться со Львовым. И это свидание устроилось лишь за три дня до моего отъезда из Иркутска.

О СМЕРТИ ПЕТРАШЕВСКОГО [1])

5 января 1867 г. я прибыл в Енисейск и 6-го вечером видел двух молодых людей, приехавших из села Бельского с похорон Петрашевского; Бельское лежит по староачинскому тракту, в 100 верстах от Енисейска, и похороны совершились 4 января... Смерть Петрашевского последовала 7 декабря 1866 г. [2]).

В 1857 г. он находился в Иркутске и там, по наделавшей много шуму дуэли чиновника Беклемишева с другим чиновником Неклюдовым, указал, при осмотре трупа, на направление пули, якобы невозможное при дуэли. Это очень не понравилось тогдашним властям в Иркутске, и потому его привлекли к ответу и заключили в тюремный замок; оттуда, несмотря на заступничество архиерея, отправили в Усолье, а потом в Минусинский округ, под надзор полиции, с запрещением въезда в город.

Страдая болезнью сердца, Петрашевский неоднократно просил дозволения приехать в город, хотя на время, для медицинского совета с окружным врачом.

Между тем, заседатель поместил его на особенной квартире, с которой он не должен был отнюдь отлучаться. Квартира эта состояла из отдельной избушки, которая, к несчастью, не была проморожена предыдущею зимою.

Одну из многих египетских казней в Сибири составляют насекомые — тараканы. Это не европейские тараканы (Blotta orientalis), темнобурые, большие и тяжелые, а прусаки (Bl. germanica), зеленоватые, малые и проворные. Крестьяне, чтобы избавиться от них, хотя на время, в самые жестокие морозы, градусов в 40, выселяются из своих изб куда-нибудь по соседству, отворяют двери, выставляют окна и наваливают на пол груды снегу. Это называется вымораживанием, без которого насекомые до того размножаются, что ни потолка, ни стен, ни стола, ни полатей, ни нар совсем бывает не видно; а пол весь застилается мягким ковром скинутых тараканами при линянии кожиц и лопнув-

---

[1]) М. Маркс. «М. В. Буташевич-Петрашевский».—«7 декабря 1866 г.». «Русская Старина», 1889, май, стр. 475—476.

[2]) По свидетельству В. Арефьева днем погребения Петрашевского в церковной книге значится 12 февраля. Возможно, что эта запись сделана позднее, что не менее вероятно, чем лежание трупа 2 месяца без погребения. Ред.

ших яичных мешечков. В такой избе съестного ничего держать нельзя. Все будет съедено в несколько часов. Даже промоченные сапоги и с подошвами уничтожаются быстро, а о заползании под белье, в нос, в глаза, уши и рот и об укусах их и говорить нечего. В такой квартире должен был жить Петрашевский.

Приехал в деревню исправник и, наглядно убедившись в справедливости его жалобы на тараканов и на заседателя, предавшего его им на съедение, дозволил перебраться на другую квартиру и отрапортовал о том г. губернатоу Замятнину, брату министра юстиции. Сейчас же последовало перемещение Петрашевского в Енисейский округ, в село Бельское, с запрещением въезда в город. Через Енисейск провезли его ночью... В Бельском же он и умер.

Окружный врач А. И. Вицын приезжал из города вскрывать труп Петрашевского, как скоропостижно умершего. Смерть была последствием повреждения клапанов сердца. Врач был поражен, как редкостью, величиною вскрытого мозга, весившего несравненно более пяти фунтов [1]).

В 1882 году на могиле Петрашевского поставлен временно деревянный крест [2]).

Gravis fuit vita, levis sit ei terra!

ПИСЬМО Ф. М. ДОСТОЕВСКОГО К БРАТУ [3])

Наконец-то, кажется, я могу поговорить с тобою попространнее и повернее. Но, прежде, чем напишу строчку, спрошу тебя: скажи ты мне ради господа бога, почему ты мне до сих пор не написал ни одной строчки? И мог ли я ожидать этого? Веришь ли, что в уединенном, замкнутом положении моем я несколько раз впадал в настоящее отчаяние, думая, что тебя нет и на свете, и тогда по целым ночам раздумывал, что было бы с твоими детьми, и клял мою долю, что не могу быть им полезным. Другой раз, когда я узнавал наверное, что ты жив, меня брала даже злоба (но это было в болезненные часы, которых у меня было много), и я горько упрекал тебя. Но потом и это проходило; я извинял тебя, старался приискать все

[1]) Очевидно, ошибка автора. Ред.

[2]) Проживавшим в Бельском г. Никитою Всеволожским.

[3]) «Русская Старина», 1885, IX, стр. 511—520, (22 февр. 1854 г. из Омска).

оправдания, успокаивался на лучших, и ни разу не потерял в тебя веры: я знаю, что ты меня любишь и хорошо обо мне вспоминаешь. Я писал тебе письмо через наш штаб. До тебя оно должно было дойти наверное, я ждал от тебя ответа и не получил. Да неужели же тебе запретили? Ведь, это разрешено, и здесь все политические получают по нескольку писем в год. Дуров получал несколько раз, и много раз на запросы начальства о письмах разрешение писать их подтверждалось. Кажется, я отгадал настоящую причину твоего молчания. Ты, по неподвижности своей, не ходил просить полицию, или если ходил, то успокоился после первого отрицательного ответа, может быть, от такого человека, который и дела-то не знал хорошенько. Ты мне доставил этим много и эгоистического горя. Вот,—подумал я,— если он и о письме не может выхлопотать, будет же он хлопотать о чем-нибудь важнее для меня! Пиши и отвечай скорее, а прежде всего пиши официально, не ожидая случая, и пиши подробнее и пространнее. Я теперь от вас всех ломоть отрезанный,—и хотел было прирасти, да не могу. Les absents ont toujours tort. Неужели и между нами это должно случиться? Но не беспокойся, я в тебя верю.

Вот уже неделя, как я вышел из каторги. Это письмо посылается тебе в глубочайшем секрете, и о нем никому ни пол-слова. Впрочем, я пошлю тебе письмо и официальное через штаб Сибирского корпуса. На официальное отвечай немедленно, а на это—при первом удобном случае. Впрочем, и в официальном ты должен изложить самым подробным образом все главное о себе за все эти 4 года. Что же касается до меня, то я бы рад был послать тебе целые томы. Но так как и на это письмо едва имею время, то и напишу главнейшее.

Что главнейшее? И что, именно, в последнее время было для меня главное? Как подумаешь, так и выйдет, что ничего не упишу я тебе в этом письме. Ну, как передать тебе мою голову, понятия, все, что я прожил, в чем убедился и на чем остановился во все это время? Я не берусь за это. Такой труд решительно невозможен. Я ни одного дела не люблю делать вполовину, а сказать что-нибудь— ровнешенько ничего не значит. Впрочем, главная реляция перед тобой: читай и выжимай, что хочешь. Я обязан это сделать и потому принимаюсь за воспоминания.

Помнишь ли, как мы расстались с тобой, милый мой, дорогой, возлюбленный мой? Только что ты оставил меня...

нас повели троих — Дурова, Ястржембского и меня — заковывать. Ровно в 12 часов, т.-е. ровно в Рождество (1849 г.), я первый раз надел кандалы. В них было фунтов 10, и ходить чрезвычайно неудобно. Затем нас посадили в открытые сани, каждого особо, с жандармом, и на 4 санях, фельдъегерь впереди, мы отправились из Петербурга. У меня было тяжело на сердце и как-то смутно, неопределенно от многих разнообразных ощущений. Сердце жило какой-то суетой, и потому ныло и тосковало глухо. Но свежий воздух оживлял меня, и так как обыкновенно перед каждым новым шагом в жизни чувствуешь какую-то живость и бодрость, то я, в сущности, был очень спокоен и пристально глядел на Петербург, проезжая мимо празднично - освещенных домов и прощаясь с каждым домом в особенности. Нас провезли мимо твоей квартиры, и у Краевского было большое освещение. Ты сказал мне, что у него елка, что дети с Эмилией Федоровной отправились к нему, и вот у этого дома мне стало жестоко грустно. Я как-будто простился с детенками. Жаль их мне было, и потом уже годы спустя, как много раз я вспоминал о них чуть не со слезами на глазах. Нас везли на Ярославль, и потому к утру, после трех или четырех станций, мы остановились чем свет в Шлиссельбурге, в трактире. Мы налегли на чай, как будто целую неделю не ели. После 8 месяцев заключения мы так проголодались на 60 верстах зимней езды, что любо вспомнить.

Мне было весело, Дуров болтал без умолку, а Ястржембскому виделись какие-то необыкновенные страхи в будущем. Все мы приглядывались и пробовали нашего фельдъегеря. Оказалось, что это был славный старик, добрый и человеколюбивый до нас, как только можно представить, человек бывалый, бывший во всей Европе—с депешами. Дорогой он нам сделал много добра. Его зовут Кузьма Прокофьич Прокофьев. Между прочим, он нас пересадил в закрытые сани, что нам было очень полезно, потому что морозы были ужасные.

Другой день был праздничный, ямщики садились к нам в армяках серо-немецкого сукна с алыми кушаками, на улицах деревень ни души. Был чудеснейший зимний день. Нас везли пустырем по Петербургской, Новгородской, Ярославской и т. д.: городишки редкие, не важные. Но мы выехали в праздничную пору, и потому везде было что есть и пить. Мы мерзли ужасно. Одеты мы были тепло, но просидеть, например, часов 10, не выходя из кибитки, и

сделать 5—6 станков было почти невыносимо. Я промерзал до сердца, и едва мог отогреться потом в теплых комнатах. Но чудно: дорога поправила меня совершенно. В Пермской губернии мы выдержали одну ночь в сорок градусов. Этого тебе не рекомендую. Довольно неприятно. Грустная была минута переезда через Урал. Лошади и кибитки завязли в сугробах. Была мятель. Мы вышли из повозок, это было ночью, и стоя ожидали, покамест вытащат повозки. Кругом снег, мятель; граница Европы, впереди Сибирь и таинственная судьба в ней, назади все прошедшее—грустно было, и меня прошибли слезы. По всей дороге на нас выбегали смотреть целыми деревнями, и, несмотря на наши кандалы, на станциях брали с нас втридорога. Один Кузьма Прокофьич взял чуть ли не половину наших расходов на свой счет, взял насильно, и, таким образом, мы... заплатили только по 15 руб. серебром каждый за трату в дороге.

12 января (1850 г.) мы приехали в Тобольск и после представления начальству и обыска, где у нас отобрали все наши деньги, были отведены, я, Дуров и Ястржембский, в особую коморку; прочие же, Спешнев и другие, приехавшие раньше нас, сидели в другом отделении, и мы все время почти не видались друг с другом.

Хотелось бы мне подробнее поговорить о нашем шестидневном пребывании в Тобольске и о впечатлении, которое оно на меня оставило. Но здесь не место. Скажу только, что участие и живейшая симпатия почти целым счастием наградили нас. Ссыльные старого времени (т.-е. не они, а жены их) заботились о нас, как о родне. Что за чудные души, испытанные 25-летним горем и самоотвержением. Мы видели их мельком, ибо нас держали строго. Но они присылали нам пищу, одежду, утешали и ободряли нас. Я, поехавши налегке, не взявши даже своего платья, раскаялся в этом... [1]).

...Мне даже прислали платья. Наконец, мы выехали и через три дня приехали в Омск.

Еще в Тобольске я узнал о будущем непосредственном начальстве нашем. Комендант был человек очень порядочный, но плац-майор Кривцов—каналья, каких мало, мелкий варвар, сутяга, пьяница,—все, что только можно представить отвратительного. Началось с того, что он нас обоих, меня и Дурова, обругал дураками за наше дело и обещался при

[1]) Далее в «Русск. Стар.» письмо напечатано с пропуском нескольких слов

первом удобном проступке наказывать нас телесно. Он уже года два был плац-майором и делал ужаснейшие несправедливости. Через 2 года он попал под суд. Меня бог от него избавил. Он наезжал всегда пьяный (трезвым я его не видал), придирался к трезвому арестанту и драл его под предлогом, что тот пьян, как стелька. Другой раз, при посещении ночью,—за то, что человек спит не на правом боку, за то, что вскрикивает или бредит ночью, за все, что только влезет в его пьяную голову. Вот с таким-то человеком надо было безвредно прожить, и этот-то человек писал рапорты и подавал аттестации о нас каждый месяц в Петербург.

С каторжным народом я познакомился еще в Тобольске и здесь в Омске расположился прожить с ним четыре года. Это народ грубый, раздраженный и озлобленный. Ненависть к дворянам превосходит у них все пределы, и потому нас, дворян, встретили они враждебно и с злобною радостью о нашем горе. Они бы нас съели, если б им дали. Впрочем, посуди, велика ли была защита, когда приходилось жить, пить, есть и спать с этими людьми несколько лет и когда даже некогда жаловаться за бесчисленностью всевозможных оскорблений.

— Вы, дворяне, железные носы, нас заклевали. Прежде господином был, народ мучил, а теперь хуже последнего, наш брат стал.

Вот тема, которая разыгрывалась 4 года. 150 врагов не могли устать в преследовании, это было им любо, развлечение, занятие, и если только чем спасались от горя, так это равнодушием, нравственным превосходством, которого они не могли не понимать и уважали, и неподклонимостью их воле. Они всегда сознавали, что мы выше их. Понятия о нашем преступлении они не имели. Мы об этом молчали сами, и потому друг друга не понимали, так что нам пришлось выдержать все мщение и преследование, которым они живут и дышат к дворянскому сословию. Жить нам было очень худо. Военная каторга тяжеле гражданской.

Все четыре года я прожил безвыходно в остроге, за стенами и выходил только на работу. Работа доставалась тяжелая, конечно, не всегда, и я, случалось, выбивался из сил, в ненастье, в мокроту, слякоть или зимою в нестерпимую стужу. Раз я провел часа четыре за экстренной работой, когда ртуть замерзла и было, может быть, градусов

40 мороза. Я ознобил себе ногу. Жили мы в куче, все вместе, в одной казарме. Вообрази себе старое, ветхое деревянное здание, которое давно уже положено сломать и которое уже не может служить. Летом духота нестерпимая, зимою холод невыносимый. Все полы прогнили. Пол грязен на вершок, можно скользить и падать. Маленькие окна заиндевели так, что в целый день почти нельзя читать. На стеклах на вершок льду. С потолков капель—все сквозное. Нас—как сельди в боченке. Затопят шестью поленами печку, тепла нет (в комнате лед едва оттаивал), а угар нестерпимый,—и вот вся зима. Тут же в казарме арестанты моют белье и всю маленькую казарму заплескают водою, поворотиться негде. Выйти за нуждой уже нельзя с сумерек до рассвета, ибо казармы запираются, и ставится в сенях ушат, и потому духота нестерпимая. Все каторжане в... как свиньи и говорят, что нельзя не делать свинства, дескать, живой человек. Спали мы на голых нарах, позволялась одна подушка. Укрывались коротенькими полушубками, и ноги всегда всю ночь голые. Всю ночь дрогнешь. Блох, вшей и тараканов четвериками. Зимою мы одеты (были) в полушубках, часто сквернейших, которые почти не греют, а на ногах сапоги с короткими голяшками,—изволь ходить по морозу.

Есть давали нам хлеб и щи, в которых полагалось $1/4$ фунта говядины на человека; но говядину кладут рубленую, и я ее никогда не видал. По праздникам каша совсем почти без масла. В пост капуста с водой и почти ничего больше. Я расстроил желудок нестерпимо и был несколько раз болен.

Суди, можно ли было жить без денег, и если бы не было денег, я бы непременно помер, и никто, никакой арестант такой жизни не вынес бы. Но всякий что-нибудь работает, продает и имеет копейку. Я пил чай и ел иногда свой кусок говядины, и это меня спасло. Не курить табаку тоже нельзя было, ибо можно было задохнуться в такой духоте. Все это делалось украдкой.

Я часто лежал больной в госпитале. От расстройства нервов у меня случилась падучая, но, впрочем, бывает редко. Еще есть у меня ревматизмы в ногах. Кроме этого, я чувствую себя довольно здорово. Прибавь ко всем этим приятностям почти невозможность иметь книгу, что достанешь, то читать украдкой, вечную вражду и ссору кругом себя, брань, крик, шум, гам, всегда под конвоем, никогда

один, и это четыре года без перемены,—право, можно простить, если скажешь, что было худо. Кроме того, всегда висящая на носу ответственность, кандалы и полное стеснение духа—вот образ моего житья-бытья.

Что сделалось с моей душой, с моими верованиями, с моим умом и сердцем в эти четыре года—не скажу тебе. Долго рассказывать. Но вечное сосредоточение в самом себе, куда я убегал от горькой действительности, принесло свои плоды. У меня теперь много потребностей и надежд таких, о которых я и не думал. Но это все загадки, и потому мимо. Одно: не забудь меня и помогай мне. Мне нужно книг и денег. Присылай, ради христа.

Омск—гадкий городишка. Деревьев почти нет. Летом зной и ветер с песком, зимой—буран. Природы я не видал. Городишка грязный, военный и развратный в высшей степени. Я говорю про черный народ. Если б не нашел здесь людей, я бы погиб совершенно. К. И. И—в был мне как брат родной [1]). Он сделал для меня все, что мог. Я должен ему деньги. Если он будет в Петербурге, благодари его. Я должен ему рублей 25 серебром. Но чем заплатить за это радушие, всегдашнюю готовность исполнить всякую просьбу, внимание и заботливость, как о родном брате, и не один он! Брат, на свете очень много благородных людей.

Я уже писал, что твое молчание иногда меня мучило. Спасибо за присылку денег. С первым же письмом (хотя бы и официальным, ибо не знаю еще, могу ли тебе передавать теперь известия),—с первым же письмом пиши мне подробнее обо всех твоих обстоятельствах, об Эмилии Федоровне, детях, обо всех родных и знакомых, о московских, кто жив, кто умер, о твоей торговле; напиши, на какой капитал ты стал торговать, выгодно ли, есть ли у тебя что-нибудь и, наконец, можешь ли ты мне помогать деньгами и сколько ты в состоянии мне присылать ежегодно. Но денег не посылай в официальном письме, разве если я не найду тебе другого адреса. Покамест пересылай от Михаила Петровича (понимаешь?). Но у меня еще есть деньги; зато книг нет. Если можешь, пришли мне журналы на этот год, хотя бы «Отечеств. Записок». Но вот что необходимо: мне надо (крайне нужно) историков древних

---

[1]) Константин Иванович Иванов, ныне генерал-лейтенант, один из добрейших, весьма уважаемых лиц. Он женат на О. И. Анненковой, дочери декабриста И. А. Анненкова. Прим. ред. «Русская Старина».

(во французском переводе) и новых [1]), экономистов и отцов церкви. Выбирай дешевейшие и компактные издания. Пришли немедленно. Я командирован в Семипалатинск, почти в киргизскую степь; адрес я тебе вышлю. Во всяком случае, вот он: в Семипалатинск, Сибирского линейного полка, № 7 батальона, рядовому. Это официальный адрес. На этот присылай письма. Но для книг я вышлю другой. А покамест пиши от Михаила Петровича. Знай только, что самая первая книга, которая мне нужна, это—немецкий лексикон.

Не знаю, что ждет меня в Семипалатинске. Я довольно равнодушен к этой службе. Но вот к чему неравнодушен: хлопочи за меня, проси кого-нибудь. Нельзя ли мне через год, через два на Кавказ,—все-таки Россия! Это мое пламенное желание, прости ради христа! Брат, не забывай меня! Вот я пишу к тебе и распоряжаюсь всем, даже состоянием твоим. Но у меня вера в тебя не погасла. Ты мой брат и любил меня. Мне нужно денег. Мне надо жить, брат. Не бесплодно пройдут эти годы. Мне нужно денег и книг. Что истратишь на меня — не пропадет. Ты не ограбишь своих детей, если дашь мне. Если только буду жив, то им с лихвой возвращу. Ведь, позволят же мне печатать лет через шесть, а может, и раньше. Ведь, много может перемениться, а я теперь вздора не напишу. Услышишь обо мне.

Мы увидимся, брат, очень скоро. Я верю в это, как в дважды два. На душе моей ясно. Вся будущность моя и все, что я сделаю, у меня как перед глазами. Я доволен своею жизнью. Одного только можно опасаться: людей и произвола. Попадешь к начальнику, который не взлюбит (такие есть), придерется и погубит или загубит службой, а я так слабосилен, что, конечно, не в состоянии нести всю тягость солдатства. «Там все люди простые»,—говорят мне в ободрение. Да простого-то человека я боюсь более, чем сложного. Впрочем, люди — везде люди. И в каторге между разбойниками я в четыре года отличил, наконец, людей. Поверишь ли, есть характеры глубокие, сильные, прекрасные, и как весело было под грубой корой отыскать золото. И не один, не два, а несколько. Иных нельзя не уважать, другие решительно прекрасны. Я учил одного молодого черкеса (присланного в каторгу за разбой) русскому языку и грамоте. Какою же благодарностью окружил он меня. Другой каторжный заплакал,

---

[1]) Vico, Гизо, Тьери, Тьера, Ранке и т. д., и т. д.

расставаясь со мной. Я ему давал денег, да много ли? Но за это благодарность его была беспредельна. А между тем характер мой испортился; я был с ними капризен, нетерпелив. Они уважали состояние моего духа и переносили все безропотно. A propos: сколько я вынес из каторги народных типов, характеров! Я сжился с ними и потому, кажется, знаю их порядочно. Сколько историй бродяг и разбойников и, вообще, всего черного, горемычного быта. На целые томы достанет. Что за чудный народ! Вообще, время для меня не потеряно. Если я узнал не Россию, так народ русский хорошо и так хорошо, как, может быть, немногие знают его. Ну, это мое маленькое самолюбие! Надеюсь, простительно.

Брат. Пиши мне непременно о всех главных обстоятельствах твоей жизни. Адресуй в Семипалатинск официально и—неофициально, как уже знаешь. Пиши обо всех наших знакомых петербургских, пиши о литературе (поболее частностей) и, наконец, о московских. Что брат Коля? Что (и это главное), что сестрица Сашенька? Жив ли дядя? Что брат Андрей? К тетке я пишу через сестрицу Верочку по случаю. Письмо это втайне. Ради бога, это письмо мое держи втайне и даже сожги: не компрометируй людей. Не забудь же меня книгами, любезный друг. Главное—историков, экономистов, «Отечеств. Записки», отцов церкви и историю церкви. Перешли в разное время, но пересылай немедленно. Я распоряжаюсь в твоем кармане, как в своем, но это оттого, что я не знаю твоих денежных обстоятельств. Напиши мне об этих обстоятельствах что-нибудь точное, чтоб я имел понятие. Но знай, брат, что книги—это жизнь, пища моя, моя будущность. Не оставь же меня, ради господа бога. Пожалуйста! Спроси разрешения, можно ли будет тебе послать мне книг официально. Впрочем, осторожнее. Если можно официально, то высылай. Если же нет, то через брата Константина Ивановича, на его же имя; мне перешлют. Впрочем, Константин Иванович будет сам в Петербурге и в этом году; он тебе все расскажет. Что за семейство у него! Какая жена! Это молодая дама, дочь декабриста Анненкова. Что за сердце, что за душа, и сколько они вытерпели!

Я постараюсь тебе найти другой адрес из Семипалатинска, куда я отправлюсь через неделю. Я еще немного нездоров и потому на некоторое время задержан. Пришли мне коран, «Critique de la raison pure» Канта и если как-

нибудь в состоянии мне переслать неофициально, то пришли непременно Гегеля, в особенности Гегелеву «Историю философии». С этим вся моя будущность соединена! Но, ради бога, старайся и проси о моем переводе на Кавказ, да наведайся у людей знающих, можно ли мне будет печатать и как об этом просить. Я попрошу года через два или три. Вот до тех-то пор корми меня, пожалуйста. Без денег меня задавит солдатство. Смотри же!

Не поможет ли мне хоть чем-нибудь другая родня, хоть на первый раз? В таком случае пусть деньги дают тебе, а ты уж мне пересылай. Впрочем, я в письмах к Верочке и тетке у них не прошу. Догадаются сами, если сердце велит.

Филиппов, уезжая в Севастополь, подарил мне 25 р. сер. Он оставил их у коменданта Набокова, так что я и не знал. Он думал, что у меня не будет денег. Добрая душа! Все наши ссыльные живут помаленьку. Толь кончил каторгу; он в Томске и живет порядочно. Ястржембский в Таре кончает. Спешнев в Иркутской губернии, приобрел всеобщую любовь и уважение. Чудная судьба этого человека! Где и как он ни явится, люди самые непосредственные, самые непроходимые окружают его тотчас же благоговением и уважением. Петрашевский по-прежнему без здравого смысла. Момбелли и Львов здоровы, а Григорьев, бедный, совсем помешался и в больнице. А что-то у вас? Видишься ли ты с m-me Плещеевой? Что сын? От проходящих арестантов я слышал, что он в Орской крепости и живет, а Головинский давно на Кавказе. Как ты с литературой и в литературе? Пишешь ли что-нибудь? Что Краевский и в каких вы отношениях? Островский мне не нравится, Писемского я совсем не читал, от Дружинина тошнит. Евгения Тур привела меня в восторг. Крестовский [1]) тоже нравится.

Много бы хотелось мне написать тебе; но времени так прошло много, что я даже в затруднении с этим письмом. Но, ведь, не может же быть, чтобы мы много оба изменились друг к другу. Расцелуй детей. Помнят ли они дядю Федю? Всем знакомым поклон; но письмо это в глубоком секрете. Прощай, прощай, дорогой мой! Услышишь обо мне и, может быть, увидишь меня. Да, увидимся же непременно! Прощай. Прочти хорошенько все, что я тебе пишу. Пиши

---

[1]) Псевдоним Хвощинской, в замужестве Заиончковской. Ред.

ко мне чаще (хотя официально). Обнимаю тебя и всех твоих бессчетно раз.

Твой *Достоевский*.

P. S. Получил ли ты мою «Детскую сказку», которую я написал в Равелине [1]). Если у тебя, то не распоряжайся и не показывай ее никому. Кто такой Чернов, написавший «Двойник» в 1850 году?

До свидания!

Твой *Достоевский*.

ДОСТОЕВСКИЙ И ДУРОВ НА КАТОРГЕ [2])

Самою тяжелою службою в это время для молодежи была караульная, в особенности при наряде ее за офицеров в крепостной острог. Это—тот знаменитый острог, который описал Ф. М. Достоевский в «Записках из Мертвого Дома»; в нем содержались в то время из числа петрашевцев двое: Федор Михайлович Достоевский и Сергей Федорович Дуров. Была ли с ними знакома молодежь в Петербурге, неизвестно, но во время заключения их в остроге она принимала в судьбе их самое горячее участие и делала для них все, что только могла.

Крайне печальное зрелище представляли из себя тогда эти когда-то блестящие петрашевцы. Одетые в общий арестантский наряд, состоявший из серой пополам с черным куртки с желтым на спине тузом и таковой же мягкой без козырька фуражки—летом и полушубка с наушниками и рукавицами—зимой, закованные в кандалы и громыхающие ими при каждом движении, по внешности они ничем не отличались от прочих арестантов. Только одно, это—ничем и никогда нестирающиеся следы воспитания и образования, выделяло их из массы заключенников. Ф. М. Достоевский имел вид крепкого, приземистого, коренастого рабочего, хорошо выправленного и поставленного военной дисциплиной. Но

[1]) Первоначальная редакция «Маленького героя». Ред.

[2]) П. К. Мартьянов. «В переломе века». «Ист. В». 1895, № 11 стр. 447—453.

В октябре 1849 г. гардемарины М. Коссаговский, Ал. Лихарев, С. Левшин, А. Калугин, кн. М. Хованский, П. Брылкин и бар. В. фон-Гелессен были за протест против начальства разжалованы в рядовые с назначением 1-го в Оренбургские, остальных в Сибирские лин. бат., сроком первые пять на 2, последние два на 4 года. Ред.

сознанье безысходной, тяжкой своей доли как-будто окаменяло его. Он был неповоротлив, малоподвижен и молчалив. Его бледное, испитое, землистое лицо, испещренное темно-красными пятнами, никогда не оживлялось улыбкой, а рот открывался только для отрывистых и коротких ответов по делу или по службе. Шапку он нахлобучивал на лоб до самых бровей, взгляд имел угрюмый, сосредоточенный, неприятный, голову склонял наперед и глаза опускал в землю. Каторга его не любила, но признавала нравственный его авторитет; мрачно, не без ненависти к превосходству, смотрела она на него и молча сторонилась. Видя это, он сам сторонился от всех и только в весьма редких случаях, когда ему было тяжело или невыносимо грустно, он вступал в разговор с некоторыми из арестантов. С. Ф. Дуров, напротив, и под двухцветной курткой с тузом на спине казался баричем. Высокого роста, статный и красивый, он держал голову высоко, его большие, черные на выкате глаза, несмотря на их близорукость, смотрели ласково и уста как бы улыбались всякому. Шапку он носил с заломом на затылке и имел вид весельчака даже в минуты тяжелых невзгод. С каждым арестантом он обходился ласково, и арестанты любили его. Но он был изнурен болезнью и зачастую едва мог ходить. Его ноги тряслись и с трудом носили хилое, расслабленное тело. Несмотря на это, он не падал духом, старался казаться веселым и заглушал боли тела остроумными шутками и смехом...

От караула при остроге требовали по тому времени большого внимания, энергии и бдительности. Он должен был не только сопровождать арестантов на работы, но и следить за ними во время их нахождения в остроге. Утренняя и вечерняя поверка личного состава, наблюдение за чистотой и порядком в казармах, за недопущением проноса вина, табаку, карт и других запрещенных предметов, за тишиной и спокойствием среди заключенных, нечаянные осмотры у них и обыски и т. п.—делали службу начальника караула весьма тяжелой и ответственной. Но «морячки» с особенным удовольствием шли по наряду за офицеров в караул при остроге, так как они имели возможность быть на виду у начальства и, вместе с тем, облегчать, хотя несколько, тяжелую участь возбуждавших всеобщее сожаление заточников. Сверх наряда арестантов на работы по крепости и в ее окрестностях, несколько арестантов назначалось еще и для работ при остроге. Эти последние арестанты

находились в распоряжении караула и оставлялись до посылки куда нужно или в кордегардии, или в своих камерах. При таких условиях «морячки» всегда могли для работ при остроге оставлять тех заключенных, кого они хотели. Обыкновенно известна была очередь смены караулов; так, например, караул от 4-го батальона, с Левшиным за начальника, должен был на другой день смениться караулом от 5-го батальона, с князем Хованским за начальника, который, в свою очередь, имел быть сменен караулом от 6-го батальона, с Брылкиным за начальника. Желавший оставить кого-либо из арестантов для работ при остроге писал о том накануне записку начальнику караула, которого он должен был на утро сменить, и тот оставлял просимого арестанта в остроге. Таким образом, Ф. М. Достоевский и С. Ф. Дуров часто оставлялись для работ при остроге и, по смене старого караула, требовались новым начальником в кордегардию и находились некоторое время в комнате караульного офицера, где им сообщались новости дня, передавались от сердобольных людей пожертвования и дозволялось чтение приносимых молодежью книг и получаемых от родственников или сотоварищей писем из Петербурга. Время вызова сообразовалось с часами, когда посещений начальства не ожидалось; но на всякий случай в кордегардии всегда находился наготове назначенный для сопровождения их на работы конвойный. Генералам Бориславскому, как заведывавшему всеми работами арестантов, и де Граве, как коменданту крепости, было даже сообщено об этом в частном разговоре доктором Троицким, но они только посмеялись, посоветовав ему передать юношам, чтобы они все-таки были осторожными.

Характер Ф. М. Достоевского, по рассказам одного из «морячков», был вообще несимпатичен, он смотрел волком в западне; не говоря уже об арестантах, которых он вообще чуждался и с которыми ни в какие человеческие соприкосновения не входил, ему тяжелы казались и гуманные отношения лиц, интересовавшихся его участью и старавшихся по возможности быть ему полезными. Всегда насупленный и нахмуренный, он сторонился вообще людей, предпочитая в шуме и гаме арестантской камеры оставаться одиноким, делясь с кем-нибудь словом, как какой-нибудь драгоценностью, только по надобности. Будучи вызван «морячками» в офицерскую комнату, он держался с ними более чем сдержанно, на приглашение присесть и отдохнуть часто отказывался и уступал только настоятельной просьбе, от-

вечал на вопросы неохотно, а в интимные разговоры и сердечные излияния почти никогда не пускался. Всякое изъявление сочувствия принимал недоверчиво, как-будто подозревал скрытую в том неблагоприятную для него цель. Он отказывался даже от чтения приносимых молодежью книг и только раза два заинтересовался «Давидом Копперфильдом» да «Замогильными записками Пикквикского клуба» Диккенса, в переводе Введенского, и брал их в госпиталь для прочтения. Доктор Троицкий объяснял его нелюдимость и мнительность болезненным состоянием его организма, подвергавшегося, как известно, эпилептическим припадкам, и расшатанностью всей нервной системы, хотя на вид он казался здоровым, бодрым и крепким и на все работы ходил наравне с другими. По мнению же «морячка», нелюдимость его происходила из боязни, чтобы какие-нибудь отношения к людям или нелегальные поблажки не сделались известными начальству и не отягчили бы, вследствие того, его положения. С. Ф. Дуров, напротив, вызывал к себе всеобщее сочувствие. Несмотря на крайне болезненный и изнуренный вид, он всем интересовался, любил входить в соприкосновение с интересовавшею его общею, внеострожною, людскою жизнью и был сердечно благодарен за всякое посильное облегчение или материальную помощь. Говорил он обо всем охотно, даже вступал в споры и мог увлекать своим живым и горячим словом слушателя. В нем чувствовалась правдивая, искренне убежденная и энергичная натура, которую не могло сломить несчастие, и за это он пользовался большей, чем Ф. М. Достоевский, симпатиею. Бывали, однако, случаи, когда его какое-нибудь слово выбивало из колеи, горячность овладевала им и он увлекался до самозабвения. Стоило, например, употребить при нем, хотя бы невзначай, в разговоре имя его родственника, генерала (впоследствии графа) Якова Ивановича Ростовцева,—и он забывал всякую меру сдержанности и впадал по отношению к нему даже в несправедливость. Чтение любил, но с особенною жадностью бросался на французские романы, как, например, «Королева Марго», «Графиня Монсоро» и «Граф Монтекристо»—А. Дюма, «Парижские тайны» и «Вечный жид»—Е. Сю, «Сын дьявола»—Поля Феваля и др. Он выпрашивал эти романы, проглатывал их в несколько вечеров и приходил просить других [1]). Но

[1]) Он не дожидался вызова, но, в случае надобности, возвращаясь с работ и узнав, что в карауле стоит кто-нибудь из «морячков», заходил сам в кордегардию с конвойным.

просьбу его не всегда можно было исполнить, так как богатством книг Омск не щеголял.

Поражало «морячков» в характере этих двух петрашевцев то, что они ненавидели друг друга всею силою души, никогда не сходились вместе и в течение всего времени нахождения в Омском остроге не обменялись между собою ни единым словом. Вызванные вместе для беседы в офицерскую комнату, они оба сидели, насупившись, в разных углах и даже на вопросы юношей отвечали односложными: «да» или «нет», так что их стали вызывать не иначе, как по одиночке. С. Ф. Дуров на сделанный ему по сему предмету вопрос отвечал, что ни один из них не начнет говорить первым, так как острожная жизнь сделала их врагами. В «Записках из Мертвого Дома» Ф. М. Достоевский распространяется обо всех наиболее замечательных арестантах, бывших вместе с ним в остроге, замаскировывая только некоторых под начальными буквами их фамилий; но С. Ф. Дурова ни полным именем, ни под инициалами фамилии нигде,—как-будто его в остроге не было,—не упоминает. В тех же случаях, когда решительно нельзя было умолчать о нем, он отзывался так: «Нас, т.-е. меня и другого ссыльного из дворян, с которым я вместе вступил в каторгу, напугали»... или: «Я с ужасом смотрел на одного из моих товарищей (из дворян), как он гас в остроге, как свечка. Вошел он в него вместе со мною, еще молодой, красивый, добрый, а вышел полуразрушенный, седой, без ног, с одышкой»... Большое участие в петрашевцах принимал старший доктор госпиталя Троицкий. Он иногда сообщал им через «морячков», что они теперь могут (тот или другой) притти в госпиталь на передышку, и они отправлялись и вылеживали там по нескольку недель, получая хороший сытный стол, чай, вино и другие предметы, частью с госпитальной, частью с докторской кухни. «Записки из Мертвого Дома», как рассказывал одному из юношей И. И. Троицкий, начал писать Достоевский в госпитале, с его разрешения, так как арестантам никаких письменных принадлежностей, без разрешения начальства, иметь было нельзя, а первые главы их долгое время находились на хранении у старшего госпитального фельдшера. Покровительствовал петрашевцам и генерал Бориславский, через адъютанта своего управления, подпоручика Иванова [1]).

[1]) Константин Иванович Иванов, впоследствии служивший в главном инженерном управлении, был женат на дочери декабриста Анненкова и старался сделать для Достоевского все, что только мог.

Он разрешил назначать их на самые легкие работы (кроме тех случаев, когда они, как, например, Достоевский, сами хотели итти на работы вместе с прочими арестантами, в особенности в начале прибытия на каторгу) и в крепости, и вне оной, к числу которых относились: малярные работы, верчение колес, обжигание алебастра, отгребание снега и проч. Федору Михайловичу даже было позволено ходить в канцелярию инженерного управления для письменных занятий, от которых его велено было, впрочем, скоро уволить, по докладу полковника Мартена корпусному командиру о несоответствии подобных занятий для людей, сосланных в каторжные работы за политические преступления. Не малую услугу оказал Ф. М. Достоевскому также и один из «морячков». Оставленный однажды для работ в остроге, он находился в своей казарме и лежал на нарах. Вдруг приехал плац-майор Кривцов—этот, описанный в «Записках из Мертвого Дома», зверь в образе человека.

— Что это такое?!—закричал он, увидя Федора Михайловича на нарах.—Почему он не на работе?

— Болен, ваше высокоблагородие,—отвечал находившийся в карауле за начальника «морячок», сопровождавший плац-майора в камеры острога,—с ним был припадок падучей болезни.

— Вздор!.. Я знаю, что вы потакаете им!.. В кордегардию его!.. Розог!..

Пока стащили с нар и отвели в кордегардию действительно вдруг заболевшего со страху петрашевца, караульный начальник послал к коменданту ефрейтора с докладом о случившемся. Генерал де Граве тотчас приехал и остановил приготовления к экзекуции, а плац-майору Кривцову сделал публичный выговор и строго подтвердил, чтобы больных арестантов отнюдь не подвергать наказаниям.

ВСТРЕЧА С С. Ф. ДУРОВЫМ [1])

Это было весной 1857 г. в Омске. Сергей Федорович Дуров, один из петрашевцев, содержавшийся в Омском военном остроге, получив свободу, остался в Омске на зиму, чтобы дождаться теплого времени; летом он хотел уехать в Россию; в остроге он нажил мучительный ревматизм и

[1]) Г. Потанин. «На славном посту». Литературный сборник, посвященный Н. К. Михайловскому, стр. 255, 259—265.

не решался даже с началом весны тронуться в путь: поджидал еще более теплых дней. В это-то время меня познакомил с ним мой товарищ по школьной жизни, киргизский султан Чокан Валиханов, и вот по каким побуждениям.

Я был в это время казачьим офицером. Прослужив несколько лет в полку на Иртыше и на Алтае, я был вызван в Омск для службы в войсковом казачьем правлении. Мой однокашник Чокан Валиханов—мы вместе учились в омском кадетском корпусе—нередко заезжал ко мне по вечерам, и мы много спорили по поводу тогдашних направлений в журналистике; во многих пунктах наши взгляды не сходились, мы горячились, сердились друг на друга и на самих себя и расходились очень раздраженными. Что мы теперь расходились во мнениях, хотя на школьной скамье наши мнения были одинаковы, это было понятно. По выходе из кадетского корпуса я уехал из Омска и провел несколько лет в глухих казачьих станицах в тысяче верст от Омска, умственного центра Западной Сибири, тогда как мой друг Чокан в это время жил в этом умственном центре, принадлежал к свите генерал-губернатора (он был его личным адъютантом) и вращался в лучшем обществе. Пока я жил в захолустном Алтае, кончилась Севастопольская кампания, ослабли цензурные тиски, появились новые веяния и мечты; Чокан постепенно усваивал новые идеи, приносимые книжками журналов, и когда я вернулся в Омск, это был преобразованный человек, а я остался при тех взглядах, с какими вышел из кадетского корпуса.

...Однажды Чокан предложил мне поехать к одному своему знакомому. Он говорил мне про него, что это—человек с таким многосторонним образованием и с такой изящной душой, какого я еще не видывал; что он бывает в доме К—ых, и это там любимый гость, а это был дом, в котором собиралась лучшая омская молодежь. Через несколько дней Чокан снова явился ко мне, и мы поехали к Дурову.

Дуров жил на Мокром: так называется часть города Омска, расположенная в треугольнике между берегом реки Оми, горой и площадью; дом, в котором квартировал Дуров, выходил на площадь; этот ряд домов, когда-то бывший казовой линией Мокрого, теперь заслонен новыми каменными постройками. Мы подъехали к дому Дурова, когда было еще светло, около часу оставалось до сумерек. Когда мы вошли в комнату, к нам вышел человек среднего роста с

сутулой спиной, с черными волосами и черными глазами; глаза болезненно блестели; иногда от него доносилось затхлое дыхание, как от чахоточного. Дуров занимал две комнаты; одна побольше была вместо залы, в другой были его спальня и кабинет; два окна большой комнаты, выходившие на площадь, были почему-то закрыты ставнями, так что комната освещалась только одним окном, выходившим на двор.

Дуров позвал слугу, чтобы распорядиться о чае, и, когда тот пришел, Дуров начал с братским участием расспрашивать его о какой-то болезни, приключившейся с ним, что ему сказал доктор, и купил ли он лекарство, и потом попросил его поставить самовар: «Поставьте, пожалуйста, самовар!». Это обращение со слугою на вы было для меня неожиданностью; я почувствовал, что очутился в какой-то новой для меня сфере.

Чокан не остался у Дурова пить чай; ему куда-то было нужно спешить. Он наскоро передал ему городские новости, рассказал, как он вчера был дежурным в доме генерал-губернатора, как генерал в пух и прах распек какого-то чиновника и в заключение приказал Чокану отвести этого чиновника на гауптвахту, и, когда они вдвоем подходили к гауптвахте, как два чиновника, ранее посаженные под арест, сидевшие на веранде и игравшие в шашки, завидев идущих, радостно закричали: «Ведут, ведут!» (—Да это страничка из Диккенса!—вставил Дуров); простился, сказал, что он меня может оставить одного, и уехал. Мы остались с Дуровым вдвоем. Чокан уже сказал ему, что я подал в отставку и собираюсь поехать в Петербург, чтобы поступить в университет; Дуров поинтересовался узнать, какие были такие особые обстоятельства в моей жизни, что из меня не вышел обыкновенный казачий офицер, задающий киргизам вперед товар и потом собирающий долги баранами. Я рассказал ему, что детство мое было исключительное, что я попал в семью одного полковника, который, хотя служил в казаках, но был из России, родом немец; жена его была образованная дама; я жил в этой семье на одних правах с другими детьми этой дамы; мы вместе учились; мать семейства по вечерам собирала нас вокруг себя и заставляла читать рассказы из детских журналов. Из этой семьи я поступил в кадетский корпус, как я теперь думал, уже облагороженным казаченком; словом, я приписывал этой даме выдающееся влияние в моей жизни, Тут произошло то, чего я никак не

ожидал; Дуров был растроган моим рассказом, хотя он был сух, как протокол. Он назвал мою благодетельницу святой женщиной, припомнил других таких женщин, которых он сам знал, и так живо представил себе доброжелательную женскую натуру, о которой я рассказывал ему, с таким теплым участием стал просить еще об ней рассказать, что у меня невольно вырвался вопрос: «Вы ее знали?».—«Нет»,—ответил он, и я отчего-то сконфузился.

Пламенная речь Дурова перешла потом на другую женщину. К. И. К—на была мать большого семейства и жила с своим мужем в Омске. Это было чисто сибирское семейство; тем драгоценнее был этот факт. Дуров несколько раз назвал ее святою женщиной; в ее гостиной он находил радушный прием; он ценил это, потому что во всех других омских домах его чурались, как опасного человека. Может быть, потому он и к моему рассказу так горячо отнесся, что нашел некоторое сходство в моих отношениях к моей благодетельнице со своими к К. И. К—ой. В одном случае женской рукой обласкан осиротевший казаченок, в другом—изгнанник из интеллигентного общества, униженный и оскорбленный.

Меня подкупила эта восприимчивость Дурова к чужому чувству, способность быстро проникаться чужим душевным состоянием. Я в первый раз видел перед собою человека, экзальтированного гуманными идеями.

Я не помню, спросил ли он меня, зачем я хочу учиться, и какое употребление сделаю из знаний, которые надеюсь приобрести, но я уверен, что он не приписал мне меркантильных расчетов, потому что отнесся к моему намерению с полным сочувствием. С подъемом духа, который начинает охватывать Россию, говорил Дуров, жаждущие знания стали появляться в такой среде, в таких захолустьях, откуда прежде этого нельзя было бы ожидать. Дуров говорил, что эти ростки новой силы, выходящие из русской земли на смену погибших поколений, радуют его и укрепляют в нем веру в русский народ, но он опасался за прочность движения и спрашивал: это оживление русского общества не временное ли только? Молодежь увлечется, ринется вперед, а жизнь возьмет да и прихлопнет ее. Он не доверял совершавшемуся в русской жизни и думал, что тут скрывается западня. А между тем, он считал своей святой обязанностью уважать всякое стремление к знанию. Он мне рассказал, что к нему иногда заходит господин, помешанный на отыскании рег-

petuum mobile. Математические выкладки этого господина были безнадежны, но Дуров с удовольствием наблюдал в этом человеке бескорыстную преданность идее, настойчивость и твердость, с которою он переносил неудачи. Дуров, как будто, прежде всего спешил почтить подвиг труда, а потом уже результаты труда.

В половине вечера я был уже очарован беседой Дурова. Мне было очень приятно, что всему, чему я сочувствовал, сочувствовал и он, но я не мог с тем же уменьем защитить свои вкусы, тогда как он подробно излагал мотивы своих симпатий.

Потом разговор зашел о сибирских властях, о предмете, меня сильно интересовавшем. Генерал-губернатором Западной Сибири был тогда Гасфорд, не раз изображавшийся в «Искре» под именем Оксенкопфа. О нем рассказывали целую кучу анекдотов,—как он хотел поставить себе монумент в Березове в память посещения им этого города, как начал строить вооруженные казармы в Омске, из которого в тридцать лет не доскачешь ни до какой неприятельской границы, как он составлял проект религии, промежуточной между православием и мусульманством, и хотел представить этот проект на высочайшее усмотрение. В крае царило бесшабашное взяточничество и казнокрадство; мы, маленькие люди, стоявшие внизу, снизу все это хорошо видели и знали, а наивный генерал имел смелость думать, что он всюду видит и что у него все обстоит благополучно.

Я уже был порядочно заражен антипатиями к тогдашней администрации Западной Сибири или, вернее, к гасфордовской клике, и мне было приятно слушать Дурова, когда он не стеснялся в сильных выражениях, перебирая ее грехи и преступления. Мне понравилось также, что Дуров выдвигал право молодости. Только что произошел случай: один генерал раскричался публично на подчиненного молодого человека; тот обиделся и что-то ответил; генералу ответ показался дерзостью, он раскричался пуще прежнего и начал поучать юношу, что если у старого человека сорвется с языка неуместное оскорбительное слово, то ему это позволительно, ввиду его седин и его заслуг, а что молодого человека его молодость обязывает обуздывать себя в разговоре со старшими, и повышение голоса для молодого человека непростительно. Совершенно наоборот, неправда ли?—спрашивал меня Дуров. От человека, дожившего до седин, кажется, скорее бы надо требовать умения управлять

своими страстями и языком, чем от молодого человека. Я тогда еще не понимал, что дело в системе управления, а не в отдельных личностях. Мне представлялось, что разные бездарные и нечестные личности случайно залезли в сибирский край, и что вся сила в них. Ирония над краем заключалась в том, что стоящим внизу, в толпе, отлично было видно, кто где ворует, что все воруют и берут взятки, а генерал, сидящий наверху, думает, что он водворил в крае закон и что толпа благоденствует, благословляет его и хочет ставить ему памятник. И никто не соберется рассказать ему, как смешно это самообольщение толпе, стоящей внизу; и я тоже не решаюсь выступить, потому что рядом со мною есть люди, более меня образованные, более знающие, но они не выступают, и мне не хочется быть выскочкой. Я терялся в догадках о средствах для борьбы и надумывал только одну идею: нужно, чтобы явился свой сибирский Гоголь. Дуров, однако, развенчал мою идею. Смех, сказал он, слабое, недействительное средство: смех примиряет со злом. Портреты Ноздрева, генерала Бетрищева, Сквозника-Дмухановского забавляют нас, а не удручают. Скучно, взглянешь на эту русскую галлерею, расхохочешься и повеселеешь. Нужен не смех, а прямое указание зла.

От сибирской администрации разговор перешел к внутренней политике только что окончившегося тридцатилетия, которое, как я сказал, казалось мне самой славной страницей русской истории.

Конечно, Дуров был иного мнения о значении этого тридцатилетия. Он говорил с воодушевлением, как-будто торопился. Мне запомнилась одна манера из его речи. Когда он задумывался, как бы построить красивую фразу, то, чтобы выиграть время, он повторял по нескольку раз первое слово фразы; например, если это было вставочное предложение, начинавшееся с местоимения «который», то он быстро повторял: который, который, который, пока не находил приличную фразу. Мне пришлось выслушать горячий протест человека, раздавленного режимом только что минувшего тридцатилетия, и я понял, что та же лавина раздавила бы и меня, если б ее движение не остановилось. Я не знаю, как бы я отнесся к этому развенчанию славной страницы, если бы оно пришлось в самом начале нашей беседы с Дуровым, но теперь, в конце вечера, я легко перешел в другую веру, потому что между моей старой симпатией и ее отрицанием стоял апостол прогресса, к которому

я теперь чувствовал сердечное влечение. Со мной совершился переворот. Я ушел от Дурова тем, до чего меня хотел довести мой друг Чокан. Собственно, это не был переворот; мое идейное содержание было уже сформировано в приблизительном духе; чего-то немногого недоставало, чтобы переменить кличку. Это—как с детскими кубиками: вот сложена из них картина—индейский магараджа и его свита едут на слонах, украшенных коврами и перьями; тропический пейзаж; но кубики перемешаны,—только полминуты времени, и дружеской рукой они приведены в новый порядок; кубики те же самые, но лежат другими боками кверху, и картина уже другая: Афины, Акрополь и Пантеон.

Больше я Дурова не видал; он уехал в Россию. Впоследствии, когда я был уже в Петербурге, я слышал от Чокана, что Дуров поехал лечиться от ревматизма за границу и застрелился где-то в южной Германии или в Швейцарии.

В начале семидесятых годов я узнал, что Пальм, тоже петрашевец, вывел Дурова в своем романе «Алексей Слободин» под именем Рудковского. Когда я прочитал относящиеся страницы в романе, я был огорчен тем изображением, в каком явился мой апостол под пером Пальма. Правда, портрет Дурова и у Пальма написан в сочувственном тоне; и он говорит о способности Дурова действовать своими речами на слушателя даже и тогда, когда последний оказывался богаче знаниями оратора; это Пальм объясняет тем, что Дуров (Рудковский) был одарен чутким пониманием ближайшей истины, «которая стояла на очереди». Но все-таки портрет вышел бледным; вместо интересного проповедника, тут описан либеральный департаментский чиновник. Речи, вставленные в уста Дурова (Рудковского), не зажигательны; главное, нет протестующей дуровской души. Я, конечно, не пишу художественную критику,—я рассказываю только, как мои субъективные ожидания не оправдались. Пальм часто выводит Рудковского даже при гостях в халате, что ему иногда придавало комический вид. Какая досада! Халат остался, а чувства дуровские, душевная экспрессия, которая, как мне казалось, прежде всего бросилась бы в глаза, если б Дуров был одет даже и в рубище, не сохранились в памяти друга-романиста.

Может быть, Пальм и ближе к действительности, чем я; он дольше его знал и притом мог судить об нем, как наблю-

датель более зрелого возраста. Но тот ореол, в котором мне представился Дуров, я и теперь не могу выкинуть из своей головы. Может быть, я не более как ребенок, которому морщинистое, слезливое и беззубое лицо его седой бабушки кажется самым милым лицом в мире; взрослый человек, в которого впоследствии превратился этот ребенок, мог бы и сам убедиться, в какой степени он обманывался, но бабушка умерла во время его детства, и он остался на всю жизнь с детским о ней представлением.

Пальмовский Дуров не тот, которого я слышал в Омске. Тот образ этого человека, который отпечатался в моей памяти после личного свидания, с годами порядочно выцвел, но не вытеснен портретом, написанным Пальмом.

Для нас фетиш дикаря—простой обрубок дерева или тряпка, а для дикаря это—личность, с которою связаны события его личной и семейной жизни, и нелегко ему расстаться с этим семейным другом. Может быть, Дуров—мой фетиш, но вернее, я думаю, Пальм был не в состоянии одухотворить своего героя до уровня действительности.

Н. А. МОМБЕЛЛИ [1])

Умное и доброе выражение лица у вошедшего в комнату офицера, его слегка курносый нос, высокий, крутой лоб, полоса только на затылке кудрявых, коротко подстриженных седых волос, — все это, в общем, напомнило мне голову Сократа.

Подойдя к столу, за которым я сидел, упомянутый офицер попросил налить ему стакан чаю и назвал свою фамилию и звание. Неожиданность открытия, что передо мною Николай Александрович Момбелли, меня в то время крайне озадачила, но затем, придя в себя, я с низким поклоном предложил Н. А. Момбелли присесть к столу и распорядиться чаем по его усмотрению. Мое замешательство, конечно, не ускользнуло от наблюдательности Н. А. Момбелли, почему он и попросил меня откровенно высказаться, не признал ли я его за офицера, выслужившегося из нижних чинов, поступивших на службу по рекрутскому набору. Получив от меня утвердительный ответ, даже с некоторыми

1) М. П. Хитрово. «Воспоминания об одном из петрашевцев». «Русская мысль», 1909, № 7, стр. 90—94, 97—100.

разъяснениями, Н. А. Момбелли сказал: «Пожалуй, вы правы, мне нет еще и сорока лет, а я уже кажусь почти дряхлым стариком; что прикажете делать, жизнь исковеркала, да и провести на каторге несколько лет—дело тоже не легкое, хотя признаю себя еще и теперь годным для усиленной работы, ибо сила и энергия меня пока не оставили». «Действительно, чин прапорщика, чин мизерный, — пояснил Н. А. Момбелли,—и не только вас, но и другого, при моем внешнем виде, мог бы ввести в заблуждение, но что я только прапорщик, в этом виноваты не кавказские власти, так как наместник Кавказа, князь Александр Иванович Барятинский, в 1859 году ходатайствовал о возвращении мне моего гвардейского чина, то-есть поручика, с переименованием в армейские капитаны, да видно старые грехи не так-то скоро забываются».

В разговоре за чаем, когда я, коснувшись деятельности Николая Александровича, как члена тайного общества Буташевича-Петрашевского, высказал, между прочим, и мое удивление по поводу его решимости вступить снова на государственную службу, то Н. А. Момбелли, крепко пожав мою руку, как бы в ответ на мои соображения, с улыбкою заметил: «Будем жить в одном месте, часто видеться, и когда-нибудь я вам выясню причины, побудившие меня не отказаться от настоящей моей должности, а теперь прошу, однако, верить, что мои убеждения не изменились, и я попрежнему остаюсь поклонником свободы и равенства и твердо верю в непобедимость прогресса, но жизненная практика и наблюдательность вынудили меня, однако, до некоторой степени изменить мои крайние воззрения в социальном отношении, конечно, только по отношению к России, ввиду еще некультурности ее населения». «Впрочем,—добавил Н. А. Момбелли,—освобождение крестьян, от крепостной зависимости—есть первый и серьезный шаг по пути прогресса, и я убежден, да, думаю, и убеждены многие, что в царствование императора Александра II, благодаря решимости государя, в России даже будет установлено конституционное государственное устройство,—со всеми прерогативами парламентаризма» [1]).

. . . .

[1]) Встреча моя на почтовой станции крепости «Грозной» с Н. А. Момбелли и мой разговор с ним взят из моего дневника и изложен с буквальною точностью, так как все происшедшее записано в дневник без всяких прибавлений.

Для дополнения обрисовки наружности Н. А. Момбелли могу еще прибавить, что он был высокого роста, крепко сложен, немного сутуловат, а в его русых бакенбардах, усах и бороде было много проседи; кроме того, Н. А. Момбелли носил очки-конвекс.

. . . .

Когда я коснулся до личности Н. А. Момбелли, то капитан А. С. Якимовский заметил, что Николай Александрович Момбелли за свои убеждения и полезную деятельность может быть причислен к ходячей добродетели, но без ходульности, хотя, однако, достаточно с ним близко познакомиться, чтобы подчиниться его нравственному влиянию. Впрочем,—добавил капитан А. С. Якимовский,—все хорошо знающие Н. А. Момбелли его глубоко уважают и искренно расположены к нему.

С 1862 по 1864 год, во время моего пребывания в укреплении Темир-Хан-Шуре, мне приходилось очень часто видеться с Н. А. Момбелли и настолько с ним сблизиться, что вышеприведенное капитана А. С. Якимовского о нем сообщение могу дополнить еще тем, что Н. А. Момбелли имел характер мягкий, уступчивый и крайне редко проявлял раздражительность. Кроме того, Н. А. Момбелли никогда и никому не навязывал своих убеждений и выработанных им правил для жизни, а, между тем, его мнение, как отличавшееся гуманностью и вполне гармонирующее с общественными интересами, принималось почти всеми беспрекословно. Горцы Нагорного Дагестана искренно уважали и любили Н. А. Момбелли, называя его даже своим «якши-кунаком»[1]); да и было за что, так как, благодаря стараниям и неутомимой деятельности Н. А. Момбелли, положение горцев в экономическом и нравственном отношениях не только было значительно улучшено, но и зависимость их от окружных начальников вполне урегулирована. Несомненно также, что Н. А. Момбелли по своему образованию стоял значительно выше лиц, его окружавших. Зная французский, немецкий и английский языки, Н. А. Момбелли мог пользоваться иностранною литературою в подлиннике, а потому и в его библиотеке, по количеству книг и их качеству довольно солидной, можно было найти немало сочинений, философских и других, на иностранных языках; такие кни-

---

1) «Якши-кунак» равносильно выражению «добрый товарищ».

ги Н. А. Момбелли приобретал из-за границы непосредственно. Что же касается до органов периодической печати, запрещенных, нелегальных, как-то: «Полярной Звезды»—Герцена, «Колокола», «Набата», «Земли и Воли» и других, то такая литература доставлялась Н. А. Момбелли путем контрабандным, через посредство еврея Моисея Шмульского, при чем все эти запрещенные издания Н. А. Момбелли передавал в военный клуб, но только на время и не более как на две недели. Впрочем, на Кавказе и в особенности в Закавказье в шестидесятых годах со стороны правительственной власти почти не принималось репрессивных мер против распространения в обществе запрещенных сочинений. Несмотря на свое не совсем крепкое здоровье, Н. А. Момбелли был страстным охотником и в особенности любил охоту на зверя, для чего раз в месяц и отправлялся из укрепления Темир-Хан-Шуры в горы, на охоту в компании с такими же страстными охотниками, как и он, или даже один, в сопровождении только приближенного к нему горца. Если Н. А. Момбелли отправлялся на охоту один и несколько дней не возвращался в укрепление Темир-Хан-Шуру, то такие отлучки невольно возбуждали беспокойство у лиц, его знающих, и настолько, что даже принимались меры к собиранию о нем сведений.

При князе Меликове в Темир-Хан-Шуре жилось легко и приятно. В служебных отношениях не было и тени шаблонного формализма. Князь Леван Иванович Меликов, несмотря на занимаемый им солидный служебный пост, держал себя с подчиненными ему лицами крайне просто, не чувствуя расположения лишь к тем лицам, у коих при сношении с ним проглядывала излишняя осторожность, близкая как бы к подозрительности. Княгиня Александра Макаровна, красивая и умная женщина, была проникнута гуманистическими стремлениями, чем, как она сама признавала, много была обязана Н. А. Момбелли, к которому и сам князь Леван Иванович чувствовал глубокое расположение и полное доверие. Н. А. Момбелли жил в доме одного линейного казака. Дом был небольшой, с палисадником на улицу, и состоял из четырех комнат, с передней, кухней, и построек, расположенных на дворе. Первая комната составляла гостиную, вместе с столовой, вторая—кабинет, третья—спальню, а в четвертой комнате помещалась библиотека, при чем книги были размещены у стен комнаты на полках; мебель во всех комнатах была недорогая, но приличная.

Казенною прислугою Н. А. Момбелли не пользовался, а нанимал для этого горца Ибрагима Ахмедова, которого шутливо называл Ахмед Ивановичем. Ибрагим Ахмедов исполнял обязанности и повара, так как Николай Александрович хотя был и не женатый, но обедал не в военном клубе, а дома, признавая для себя в гигиеническом отношении домашний стол гораздо полезнее. По мнению Н. А. Момбелли, он не держал казенной прислуги потому, что исполнение солдатом обязанностей лакея, повара, а иногда даже и няньки крайне шокирует нижнего чина, который, конечно, призывается на военную службу специально для военно-боевого дела, почему и всякое уклонение от изучения военного искусства невольно ставит солдата в ненормальное положение, так как между денщиком и его начальником-офицером не может уже существовать отношений строго разумных - дисциплинарных.

. . . .

В шестидесятых годах Н. А. Момбелли был строгим конституционалистом, но не республиканцем, хотя и не ограничивал участия населения в государственном управлении одними только делами внутренней политики, расширяя такое участие и на политику внешнюю. Когда же в разговоре с Н. А. Момбелли ему возражали, что русское население еще мало подготовлено к конституционному государственному устройству, то на такие возражения Николай Александрович всегда давал один и тот же ответ, что, по его убеждению, гуманный закон, стремящийся к улучшению экономического и нравственного положения населения, всегда скоро может быть понят, даже дикарями, ибо каждый по природе уже сознает, что свобода лучше стесняющего насилия, а сытость—в широком значении слова—лучше голода.

Вот почему, не зная содержания дневника Н. А. Момбелли, помещенного в сочинении «Петрашевцы», изданном в 1907 году[1]), никто из знающих Н. А. Момбелли в шестидесятых годах не предполагал, чтобы Николай Александрович был когда-то по убеждениям своим крайним социалистом-республиканцем, сам же Николай Александрович никогда и никому о своем дневнике ничего не высказывал.

На основании данных, занесенных в мой дневник, я в настоящее время прихожу к убеждению, что в шестидесятых

---

[1]) Выдержки из дневника Момбелли были в числе приложений к записке Липранди напечатаны в «Полярн. Звезде», кн. VII, 1862 г. и перепечатаны в «О-ве пропаганды 1849 г.», Лейпциг 1875. Ред.

годах Николай Александрович Момбелли был высоконравственным субъектом и что вышеприведенное о нем мнение военного инженера, капитана А. С. Якимовского, что Н. А. Момбелли есть ходячая добродетель, пожалуй, не может быть признано даже преувеличенным.

В среде общества укрепления Темир-Хан-Шуры в шестидесятых годах было немало лиц, отличавшихся безукоризненно-нравственною жизнью, сердечностью и отсутствием пассивности к интересам посторонних лиц; так, между прочим, такими нравственными качествами отличались: полковник Александр Виссарионович Комаров, капитаны—Якимовский и Игнациус, инженер Михайлов и другие, а потому для возбуждения в означенном обществе особо выделяющегося внимания, расположения и уважения, каким пользовался Н. А. Момбелли, недостаточно было одних только нравственных качеств, а необходима была и другая причина, ставящая Н. А. Момбелли в положение лица как бы нравственно-оригинального. Просматривая мой дневник, я в настоящее время пришел к убеждению, что такою причиною была прошедшая жизнь Н. А. Момбелли, в силу чего Николай Александрович, по мнению общества, являлся не преступником, а страдальцем за идеи, полные гуманизма, почему и понесенное им наказание—каторжные работы—не было для него позором. Сам Н. А. Момбелли не любил рисоваться своим прошедшим, и выдающееся к нему особое внимание и уважение общества даже до некоторой степени его стесняло, а если ему приходилось иногда сообщать о перенесенных им страданиях более близким к нему лицам, то всегда по основательному поводу. Таким поводом, между прочим, и была статья о тайном обществе Буташевича-Петрашевского, помещенная в «Полярной Звезде», содержание коей статьи Н. А. Момбелли признавал до крайности преувеличенным. Помню хорошо, что, зайдя 6 февраля 1863 года вечером к Н. А. Момбелли, я застал его читающим громко выдержки из «Полярной Звезды», при чем слушателями его были: горный инженер Порецкий, действ. статский советник Михайловский, инженер путей сообщения Михайлов и военный инженер, капитан Игнациус. Свое чтение Н. А. Момбелли прерывал замечаниями по поводу прочитанного; почему я и решаюсь в настоящей статье передать в подлинности все происшедшее в упомянутый вечер, как оно занесено в мой дневник. Статья, которую Н. А. Момбелли громко читал, обрисовывала незавидное положение членов тай-

ного общества Петрашевского во время нахождения их в 1848 году в Петропавловской крепости; так, между прочим, в статье этой указывалось, что заключенные были помещены в холодные и сырые камеры, пища им давалась крайне дурная, а во время их допросов они подвергались насилиям. Все это Н. А. Момбелли признавал несправедливым, ибо отдельные камеры, в которых были заключены: он, Петрашевский, Спешнев, Григорьев и другие, находились по близости Алексеевского равелина и отличались теплотою и сухостью; пища всем им давалась не арестантская, а по два блюда на обед и по одному блюду на ужин, был разрешен также чай, но на собственные средства; в каждой камере находился стол, два табурета, железный подвесной умывальник и кровать с тюфяком, подушками, простыней и теплым байковым одеялом. Каждый раз вечером в камеру приносилась сальная свечка, а через день каждого из арестованных посещал доктор; во время допросов никаких насилий не было причиняемо, да они были и совершенно излишни, так как виновность заключенных была уже обнаружена документальными данными. Конечно, Герцен в вымышленности сообщений, пояснил Н. А. Момбелли, не виновен, ибо он печатал то, что ему доставляли, а проверить правдивость получаемых сведений лишен был возможности. На вопрос Михайловского, почему он, Момбелли, не опроверг печатно содержание упомянутой статьи, помещенной в журнале «Полярная Звезда», Николай Александрович отвечал, что не сделал этого, да и не сделает потому, что состоит на государственной службе, а стало быть, и всякая с его стороны как бы защита правительства покажется подозрительною. Когда же затем в разговоре Порецкий спросил Н. А. Момбелли, какое впечатление у него осталось после перенесения им каторжных работ и всего того, что ему пришлось испытать, то на вопрос этот Н. А. Момбелли высказал: «Да, крайне тяжелое, ибо во время каторги я был не человеком, а движущейся машиною; каждый день меня приковывали к тачке, с которою я и должен был работать целый день, с небольшим отдыхом для обеда, а кормили каторжников крайне дурно, так как приходилось неизменно есть одну только похлебку с требухой и плохим черным хлебом; спали каторжники почти на голых нарах в общеарестантской палате, отдавая свое тело на съедение всяких паразитов, но, прислушиваясь к страданиям других каторжников, преступников, не-политических, мне, кажется, уда-

лось,—пояснил Н. А. Момбелли,—расширить свое сердце и многих искренно полюбить из несчастных и именно тех, которые стали преступниками не по развращенности своей, а вследствие полного к ним индиферентного отношения общества и постоянно испытываемого ими гнета власти. Когда затем,—продолжал Н. А. Момбелли,—я был освобожден из каторжных работ, с переименованием меня в рядовые без выслуги, то мне пришлось странствовать, совершая передвижения по этапу из одной части войск в другую, так как, куда меня ни пересылали, везде я оказывался как бы лишним. Из укрепления Орского меня перевели в Оренбург, а в 1857 году, по ходатайству моих родных, мне удалось попасть на Кавказ рядовым в Апшеронский пехотный полк. Здесь, на Кавказе,—заметил Н. А. Момбелли,—я снова преобразился в человека, ибо командир полка и офицеры отнеслись ко мне крайне сердечно и настолько, что я даже просил офицеров своим вниманием ко мне не отдалять меня от нижних чинов; Кавказ был для меня новым миром, миром человечности и гуманизма. Наконец,—добавил Н. А. Момбелли,—в 1859 году мне разрешено было принять участие в экспедиции по завоеванию Нагорного Дагестана и, вызвавшись вступить в ряды охотников, т.-е. передовой команды, при штурме Гуниб-Дага, я думал только об одном—умереть смертью героя или настолько отличиться, чтобы получить полное прощение, при наличности которого я мог бы сделаться свободным гражданином».

Когда Н. А. Момбелли кончил свой рассказ, то присутствовавшие на время приутихли, призадумались, и только спустя несколько минут военный инженер, капитан Игнациус, обратился к Н. А. Момбелли с следующими словами: «Как ни отрадно видеть вас, Николай Александрович, в среде нашего общества, но ваше место скорее на севере, чем в нашем скромном улье; да,—повторил капитал Игнациус,—ваше место, Николай Александрович, на севере, в среде честных деятелей, вполне способных выдержать борьбу с консерватизмом и, таким образом, очистить путь для прогресса».—«Нет,—возразил Н. А. Момбелли,—мне на севере делать нечего, там требуются люди с энергиею, широкого размаха, а каторга подорвала мои силы; да я думаю,—пояснил Н. А. Момбелли,—что и талантливый Достоевский не согласился бы, после перенесенных им испытаний, реально, открыто вступить в борьбу с нашею консервативною бюрократиею, которая и консервативна, конечно, потому, что

всякое прогрессивное нововведение угрожает ей падением. Нет,—добавил Н. А. Момбелли,—лучше с пользою работать в своей ячейке скромного улья, чем чувствовать себя совершенно бессильным на севере»...

Ф. Г. ТОЛЬ. ИЗ ЗАПИСОК МОЕГО СОСЛАННОГО ПРИЯТЕЛЯ [1]) (1850 г.)

25 января, около полуночи, мы подъехали к последней станции перед Томском.

Холод градусов в 25 или больше продолжался, но он казался нам милостивым в сравнении с тем, что мы испытали, подъезжая к Тобольску. Впрочем, вообще пресловутые сибирские морозы несравненно сноснее наших петербургских холодов, потому что совершенно сухи, между тем как последние сопровождаются туманами.

Тобольское начальство распорядилось дать нам очень хороших жандармов. Сопровождавший Л. [2]) был ефрейтор, между тем как мне дан был простой рядовой. Наши стражи, общим советом, в котором выслушали и наше мнение, решили, что, на последней станции перед Томском, снабженной всем необходимым для ночлега, мы останемся до утра, потому что, мол, ночью или утром рано неудобно въезжать в город, в котором приходилось сдавать начальству одного из арестантов, а именно: меня.

На станции отвели нам особую комнату, чистую, просторную, после продолжительной, безустанной езды показавшуюся нам чуть не комфортабельною; подали нам самовар, яичницу и страшно соленую ветчину. Мы оба были молоды, не слишком помяты жизнью... Утоленный аппетит, теплота комнаты, в соединении с мыслью, что нам предстоит провести на этой станции несколько часов какой-то полусвободы,—все это почти заставило нас забыть, что мы—арестанты, что на нас тяжелые кандалы, что люди, сопровождающие нас, как ни благосклонно смотрят на нас, пока мы ведем себя по всем правилам арестантского благочиния, при первой попытке с нашей стороны бежать или выйти из повиновения, готовы по долгу службы убить нас. Мы разговорились и даже расшутились. Л. предложил, для расправления онемевших членов, протанцевать польку. Осуще-

---

[1]) Ф. Г. Толь. «Современник», 1863, т. 95, стр. 355—372.

[2]) Ф. Н. Львов, ехавший в Нерчинские заводы.

ствить его мысль в кандалах было не совсем удобно, однако мы пустились, подпевая в два голоса, между тем как бряцанье кандалов аккомпанировало нам довольно складно, а главное, оригинально. Позже, через месяц подобное удовольствие показалось бы мне неуместным в том серьезном настроении духа, в которое погрузили меня привычка к новому положению и заводская обстановка. Но тут порыв наш объясняется чувством, исполнявшим нас и имевшим много общего с чувством свободы.

— Свобода!.. Хороша свобода—в кандалах!—воскликнут те, которые никогда не испытывали перехода из тесного изолированного заключения в какое бы то ни было человеческое общество, хоть бы оно было обществом жандармов и каторжников, хоть бы заключение заменилось кандалами. Все в мире относительно, и чувство свободы относительнее многих других вещей. То, что сегодня является нам со всеми атрибутами свободы, детям, а тем более внукам нашим будет являться тяжелым рабством, нестерпимым игом. В этом сказывается бесконечная эластичность человеческой природы, и в этом же заключается вечное побуждение к прогрессу. Безусловная свобода возможна только в духе, в мысли; в действительности человеку доступно одно приближение к ней.

Так как я один подъезжал к месту своей ссылки, Л. же предстоял еще далекий путь от Томска до Иркутска и оттуда до завода, то мне и хотелось приготовиться к тому, что меня ближайшим образом ожидало: заставят же меня еще раз подвергнуться тем тяжелым формальностям обыска, которым подвергали в Тобольске. Когда на вопрос об этом жандарм окончательно разубедил меня, тогда только я решился увериться, сохранились ли ассигнации, так искусно зашитые в мой тулуп услужливою старостихою тобольских арестанток.

— Что, вы верно большой мастер обыскивать?..—сказал я,—обращаясь к старшему из жандармов.

— На том стоим-с!..—отвечал он с самодовольною усмешкою.

— Ну, вот,—продолжал я,—в этом тулупе у меня зашито 39 руб. бумажками... Отыщите, если можете.

— Отчего не отыскать-с?—сказал жандарм,—на том стоим-с! Только в самом ли деле деньги зашиты в тулупе?

— Что они зашиты, в этом ручаюсь... Но они могли потеряться дорогою.

— А кто зашивал-с, смею спросить?..

— Зашивала тобольская старостиха арестанток.

— Ну, коли она зашила, так деньги сохранны.

— Почему?

— Да уж эти бабищи всяко тако дело до тонкости знают... На то всю службу арестантскую происходят. Ведь в старостихи ее даром не выберут. Видно, ужь ухорь баба. Говоря эти слова, жандарм быстро обшарил мой тулуп, перебирая все швы и комкая каждую овчинку особо. Операция эта длилась всего около 5 минут; наконец, он воскликнул:

— Денег тутотка нету! Голову даю на отсечение, что нету. Как вам угодно!

Как теперь соображаю, добрый человек этот, может быть, и притворялся, поняв, что сделает мне таким признанием некоторое удовольствие, между тем как я, зная место, в которое старостиха зашила ассигнации, тотчас нашел их. Много подобных черт редкой деликатности чувства случалось мне позже подмечать в нашем простонародьи под грубою, невежественною, иногда даже жестокою и неприветливою внешностью. Но тогда я еще только начинал свою Vita nuova, с народом был знаком лишь на сословном расстоянии, и потому, не допуская малейшей тени сомнения, что жандарм серьезно не нашел денег, от души радовался этому ничтожному обстоятельству.

Смеясь, показывал я мелко сложенные бумажки своим стражам, которые притворно или откровенно дивились «бисовой бабе, перехитрившей царского жандарма».

Спутник мой Л., не одаренный моим железным сложением и имевший меньше поводов к беспокойству (как я уже заметил, место его ссылки было еще за 2.000 верст), давно уже крепко спал, тогда как я все еще ворочался на постели, нетерпеливо ожидая сна. Бессонница дала мне возможность убедиться, до какой степени стражи наши озабочены были нашею сохранностью. Они спали только попеременно и, когда я стал засыпать, оба бодрствовали, но ни слова не говорили между собою, вероятно, из опасения помешать нашему сну. Чужая душа—потемки, а для нас душа простолюдина—совершенный мрак. Мне не удалось поспать и получаса, как уже старший жандарм разбудил нас, говоря, что пора отправляться в путь.

— Седьмой час,—говорил он, с гордостью посматривая на золотую луковицу, которую держал в руке, — пока убе-

ремся, чаю напьемся, лошадей запрягут, да что... будет семь, восьмой. Значит, в Томск прибудем около половины десятого. Об эту пору губернатор уж встамши, и городничий, верно, у него, с лепортом... А там еще, пока бумаги мне выправят, да и вы-то, господа, проститесь промеж собой. Оно и будет около вечера. Тогда пора уж нам с ними будет дальше отправляться... Вот оно что! А то бы, по мне, спите себе хоть до вечера! Ну! Нельзя-с! Служба— не дружба, не бабья ласка!.. Не так живи, как хочется, а как начальство велит... Да!..

Мы оделись, напились чаю и помчались. Небо было чисто, утренний мороз довольно резок; лошади бежали весело, дружно. Ямщики по очереди пели. Знаете, что мне впоследствии часто приходило в голову? Будучи еще чиновником, я часто езжал по России, но редко ямщики, без особых поощрений, пускались петь для сокращения пути. Тут же, когда мы ехали в ссылку, всю дорогу, только пускаемся со станции, ямщики, как-будто сговорились, запевают, то один, то другой. Не знаю, может быть, это и самообольщение, но почему же не приписать этого усердия ямщиков желанию их заставить нас, хоть на минуту, забыться в слушании бесконечной, бесконечно-грустной ямщичьей песни. Но всему есть конец, и конец томской станции наступил для нас прежде, нежели мы успели порядком прозябнуть. Быстро промчались мы по улицам чистого, с первого взгляда даже хорошенького городка и остановились у старого двухъэтажного деревянного дома, у подъезда которого была будка и стоял линейного батальона часовой. Почти в одно время с нами у подъезда остановилась пара рысаков, и из щегольских санок выскочил мужчина лет тридцати в шинели с бобровым воротником и в гражданской каске. Старший жандарм подошел к подъезду в одно время с ним: они обменялись несколькими словами, и жандарм возвратился к моей повозке.

— Пожалуйте к губернатору!—сказал он и стал помогать мне вылезать из саней, что по причине кандалов и двух шуб было не совсем легко сделать. Не зная, что дальше ожидает меня, и увижусь ли еще с Л., я подошел к повозке, в которой он сидел, и обнял его.

— Здесь, верно, губернатор живет,—сказал Л., — попросите у него позволения отобедать нам с вами вместе. Ведь это ему ничего не стоит... а мы все-таки еще наговорились бы на прощанье...

— Пожалуйте!—произнес за моей спиной голос старшего жандарма,—губернатор дожидается; да еще, пожалуй, как бы не выглянул в окно... А вам-то говорить промеж собою заказано начальством... Да и тут, вишь, нехорошо: ротозеи собираются...—Еще раз пожав руку Л., я пошел побрякивая кандалами, за жандармом, между тем, как товарищ его остался при Л.

Губернаторский камердинер уже ждал нас и, только что мы вошли в переднюю, отправился доложить. В дверях показался маленький пожилой мужчинка, рыжий, невзрачный, в золотых очках, в горном сюртуке без эполет. Он как-то боком, будто нехотя, взглянул на меня и сказал довольно мягким голосом, пробегая поданную ему жандармом бумагу: «Вы последуете за г-ном полицеймейстером, куда он вас повезет!»...

— Не позволите ли мне, генерал,—сказал я нерешительно,—пробыть сегодняшний день с моим товарищем Л., который отправится дальше под вечер.

— С этим также извольте обратиться к г. полицеймейстеру,—отвечал старичек,—я тут ничего не значу... Захочет г. полицеймейстер, позволит... Это его дело...

Он кивнул головою и скрылся, а на его месте в дверях появился тот же 30-летний здоровяк, который встретил нас у губернаторского подъезда. Камердинер подал ему шинель, он надел каску и вышел, мы с жандармом последовали за ним.

— За мной,—сказал полицеймейстер жандармам, усаживаясь в сани. Меня опять подсадили в повозку, и мы отправились, едва поспевая следом за полицеймейстерскими рысаками. Проехав длинный каменный одноэтажный дом, в котором, как я после узнал, помещалась аптека и городская полиция, мы поворотили в ворота его, в которых уже скрылись сани полицеймейстера. Нас ввели в грязные сени, в которых толпилось несколько крестьян и крестьянок, вероятно, просителей или арестантов, ожидающих наказания. Вслед за тем дверь отворилась, и на нас пахнуло запахом гнили и невыразимого зловония. Это была канцелярия.

— Подождите здесь!—сказал довольно вежливо, но вместе и повелительно полицеймейстер.

Я вспомнил слова губернатора и обратился к нему с просьбою—не разлучать нас с Л. до тех пор, пока его повезут дальше.

— Постараюсь, постараюсь!—скороговоркою отвечал он,

как-будто не желая, чтобы писцы слышали наш разговор. Затем он исчез; возвратившись, он шепнул что-то жандармам, и старший из них сказал нам:

— Пожалуйте!

И опять вступили мы в сени и оттуда каким-то длинным темным ходом пробрались в довольно уютную, мило убранную комнату, по всему видимому, принадлежавшую холостому человеку. Комната оказалась квартирою аптекаря, в которой, за отсутствием его, жил управляющий аптекою провизор Федор Иваныч Г., согласившийся, по просьбе полицеймейстера, предоставить нам на день свою квартиру.

Федор Иваныч принял нас с сконфуженным видом петербургского немца, в первый раз в жизни отступающего на одну линию от своих ежедневных привычек и удивляющегося собственному подвигу. Впрочем, он был любезен, насколько дозволяло ему замешательство, предложил нам курить, что не мешало ему все посматривать на жандармов, которые ни на минуту не уходили из комнаты и не спускали с нас глаз. Повидимому, присутствие этих людей беспокоило и самого полицеймейстера, который, наконец, решился сказать им, что они могут уйти, потому что он, полицеймейстер, берет ответственность за арестантов на себя, но получил от старшего жандарма следующий ответ:

— Не могим-с, ваше высокоблагородие! За вашего-то вы отвечать вольны, ну а за нашего, окромя нас, до самого Иркута никто не могит ответствовать... Такая дана инструкция... Вот что!..—Непривычный к таким вольным речам, лихой полицеймейстер хотел было подействовать на жандарма орлиным взглядом, но получил в ответ такой же твердый, вопреки всякой субординации, взгляд. Впрочем, настойчивость жандармов оставаться при нас длилась не более часа: вероятно, они устали стоять у дверей, а потому отпросились сходить на рынок и исчезли часа на полтора. Между тем, я выразил полицеймейстеру желание наше, если можно, отобедать вместе на деньги, которые у меня были.

— Тс! Что вы это говорите про деньги?—отвечал полицеймейстер,—обед вам будет... Об этом не беспокойтесь... Конечно, не такой, к какому вы, может быть, в Петербурге привыкли, а все-таки и не совсем дурной...

— А вина можно?—спросил я.—Ведь нам отрадно было бы распить еще бутылочку перед разлукой...

— Какого вина хотите?—спросил полицеймейстер. Я обратился к Л.

— Мне все равно!—сказал он.—Я ни в каком толку не знаю.

— А я предпочитаю другим винам хорошее бургондское.

Полицеймейстер вышел в другую комнату. В эту минуту Л. подошел ко мне и, сжимая мою руку, сказал:

— Знаете? Только теперь, когда и с вами надо расстаться, я чувствую, что сделал непростительную глупость, не бежав за границу, пока по ошибке сидел за меня Л. [1]). Ведь я знал, что его взяли вместо меня, и что скоро ошибка обнаружится.

— Что ж, разве у вас не было средств для побега?..

— И средства кое-какие были... Да не знаю, какой-то туман налег на мою мысль. Я жил эти две недели (целые две недели!) какою-то смутною надеждою на что-то. Кругом всех забирали... на всех напал страх... Не знаю, уж не этот ли общий страх парализовал мою решимость.

Я стал его расспрашивать о том времени, в которое я уже сидел в крепости. Мы ходили по комнате, побрякивая кандалами, которых вес делал нашу походку неуклюжею и тяжелою. Болтовня наша переходила от предмета к предмету: мы вспомнили родных, знакомых, врагов и друзей. Мало знакомые до нашего заключения, мы в дороге очень сблизились с этою вполне симпатичною, нежною, даже несколько женственною личностью. С тех пор судьба опять развела нас, и кто знает, встретимся ли мы еще раз в жизни.

Принесли обед. Приглашая нас к нему, полицеймейстер сказал:

— Извините, г-да!.. Чем богаты, тем и рады! В Томске нет хорошей гостиницы... но жена моя просила вас принять обед, изготовленный под ее руководством. А за неимением во всем городе ни одной бутылки бургонского, я предлагаю вам от себя бутылочку сносного хересу!

— Которую, вероятно, не откажетесь помочь нам выпить?..—перебил Л.

— С удовольствием!—отвечал любезный градоначальник.

Вскоре после обеда, едва начало смеркаться, жандармы стали торопить нас отъездом. Делать было нечего. Крепко обнялись мы с Л., крепко пожали друг другу руки и взаимно обещали, если можно, переписываться.

Когда я вышел на крыльцо, к подъезду подъехали ще-

---

[1]) Штабс-капитан Московск. полка Петр Сергеевич Львов. См. воспоминания И. И. Венедиктова. Ред.

гольские городские санки, в которые полицеймейстер пригласил меня сесть. Я с удивлением взглянул ему в лицо.

— Да разве я не в дорогу?—в недоумении спросил я.

— Нет еще!—отвечал полицеймейстер.—Вы пробудете здесь до утра.

— Где же?

— В остроге... Садитесь!

Я кое-как влез в сани, в которые рядом со мною сел полицеймейстер. Конный казак сопровождал нас на расстоянии двух шагов.

Мы помчались.

Дорога в острог лежала через весь город: нам попадалось много народа, кланявшегося полицеймейстеру и с удивлением смотревшего на сидевшую рядом с ним фигуру в нагольном тулупе, выглядывающем из-под накинутой енотовой шубы, и в мерлушечьей шапке. О, Сибирь! Вероятно, ни в каком другом городе обширной России градоначальник не решился бы пропарадировать таким образом с человеком, назначенным в каторжную работу. Но в Сибири каторжник тот же человек.

В остроге мне отвели особую комнату опять рядом с аптекою, потому что настоящая секретная была занята кем-то или чем-то. Я был измучен событиями дня, расставанием с Л., неизвестностью, а тут еще караульный офицер копался в моем чемодане, отыскивая металлических вещей, которых в нем не было, между тем как полицеймейстер крупными шагами мерял из угла в угол комнату, а осторожный смотритель, повидимому, из бурбонов, расставя ноги и выпуча глаза, следил за розысками караульного офицера. Впрочем, повидимому, весь синклит моих стражей, по разным побуждениям, спешил окончить эту тяжелую сцену: по крайней мере, караульный офицер смотрел вещи весьма поверхностно, смотритель все покашливал и переминался с ноги на ногу, а полицеймейстер даже довольно ясно выражал свою досаду на служебный формализм молодого офицера. Поэтому, когда последний кончил, все трое вздохнули, как-будто освободились от чего-то неприятного, и полицеймейстер сказал, обращаясь ко мне:

— Вы останетесь здесь до утра: так угодно губернатору... Да я думаю, и вы не прочь от того, чтобы отдохнуть на перепутьи к месту назначения... До свидания же!..—Я благодарил его за позволение побыть с Л.

— Вам, может быть, будет скучно?—сказал он, как-

будто не расслышал моих слов, и потом прибавил, обращаясь к смотрителю.—Ведь до ночи еще много времени... Нет ли у вас какой-нибудь книжки для г. Т.?..

— Есть-с!—отвечал смотритель, вытягиваясь и осклабляясь, впрочем, в пределах должного чинопочитания.—«Новоселье» есть-с, Василий Михайлыч! Я сейчас принесу-с!..

Непрошенные гости ушли, и через несколько минут смотритель принес мне том «Новоселья» Смирдина, замасленный и зачитанный до-нельзя. Когда замок двери щелкнул вслед за ним, я как-будто обрадовался своему одиночеству, которое, еще тому месяц назад находил столь тягостным.

Но, видно, не суждено мне было успокоиться в этот вечер, ибо не прошло и получаса, как снова загремел замок моей двери. Вошел тот же караульный офицер, который обыскивал меня. Это меня взорвало.

— Неужели вы еще не окончили своего обыска?—спросил я довольно резким тоном.

— Напротив, кончил-с!—отвечал молодой человек, покраснев и в замешательстве медленно подходя к столу, на котором горела сальная свечка и возле которого я сидел.

Я вопросительно посмотрел ему в лицо: он был еще очень молод и скорее похож на хорошенькую женщину, переряженную в потертый мундир линейного офицера, чем на действительного офицера.

— Я пришел к вам,—сказал он тоном школьника, оправдывающегося в ветренном поступке,—я пришел сюда для того, чтобы напомнить вам о себе... Я вас видал в корпусе... Ведь вы служили по военно-учебным заведениям?

Я подтвердил его слова и, с своей стороны, спросил:

— В каком же корпусе вы воспитывались?

— В дворянском полку...

— Я не служил в дворянском полку, но бывал там в 1846 году довольно часто...

— Да, я вас помню... Кроме меня, тут еще есть нашего корпуса—Соколов... Он вас тоже помнит... Когда мы прочли о вас в газетах, мы так и ахнули... Вот судьба-то... Ужасно!..

Его голос и тон очень напоминали женщину. Звали его Буниным. Впоследствии я раза два бывал у него: образ его жизни также имел много общего с женским. Он был очень аккуратен, любил порядок и имел большое пристрастие к духам и помаде. Зеркало было главною мебелью в его квартире, маленькое зеркальце всюду сопровождало

его в кармане. Впрочем, он впоследствии умер смертью храбрых под Севастополем.

Когда Бунин ушел, я начал перелистывать «Новоселье»: оно не могло занять меня, потому что было знакомо мне в малейших подробностях, и вскоре я погрузился в размышления. О чем думал или, лучше сказать, о чем не думал я в эти несколько часов, довольно трудно определить. Прошедшее и будущее представали передо мною, первое с отчетливостью панорамы, второе с неопределенностью тяжелого сна. Я поверял первое и отдавал себе отчет в своих силах для перенесения второй с достоинством. На поверку оказывалось, что в моем прошедшем было много лжи, много гримасы, внесенных в него воспитанием и окружающею средою. В будущем виделось больше суровой, прямой действительности, но она не пугала меня: целая доля моего внутреннего человека оставалась нетронутою ложью, и эта доля должна была сдружить меня с новым положением, на которое я смотрел довольно доверчиво.

Будущность доказала, что не напрасно я понадеялся на эту долю своих сил: она-то и вывезла меня там, где гибли, стирались или погрязали менее прямые личности.

Часу в одиннадцатом я собрался спать: вдруг опять шорох у дверей, звон ключей и щелканье замка. Вошел полицеймейстер, потом смотритель, караульный офицер и с ним несколько солдат остановились у отворенных дверей. Я полуодетый стоял у стола, заслоняя собою свечу.

— К крайнему моему прискорбию,—начал полицеймейстер полуначальническим, полусветским тоном,—я должен вам объявить, г-н Т., что губернатор непременно требует, чтобы вы были сегодня же отправлены в завод... Сколько я ни старался о том, чтобы доставить вам возможность провести спокойную ночь, его превосходительство боится взять на себя эту ответственность...

— Чтож, тем лучше!—отвечал я,—скорее к цели, меньше лишних дум... А сколько до завода верст, г-н полицеймейстер?

— Да считают 67 верст... А впрочем, никто не мерил их... Может быть, и больше.

Я начал одеваться и через десять минут уже был готов.

— Жандармы!..—крикнул полицеймейстер в двери.

Вошли два жандарма, которым я и был с надлежащими формальностями сдан. Мы вышли и сели в повозку: один из жандармов уселся возле меня, другой на облучке, возле

ямщика. На половине дороги, на станции, нам дали двое саней, потому что дорога к заводу была узка и приходилось ехать цугом.

Ночь была великолепная: звезды сияли на хрустальном небе; при свете их снег переливался как миллионы брильянтов. Мороз был градусов около 30, но дышать было легко, и я не очень озяб. Я всю дорогу думал о том, как меня встретят, и дадут ли хоть отдохнуть, или так тотчас и зачислят в работу. Также сильно занимало меня, будет ли у меня особая комната и возможность, хоть ночью, читать, писать и размышлять. Мысль, что меня могут поместить в общей арестантской, прямо пугала меня. Я никогда не был способен к казарменной жизни, а теперь тем менее.

В голове моей накопилось столько мыслей, которые хотелось бы сформулировать самому себе; в жизни моей было столько новых фактов, которых смысл еще не вполне был разгадан мною. Притом мне хотелось еще учиться, учиться и учиться. А тут... Я до того времени жил слишком мало с народом, а в заводе пришлось бы жить с подонками его... Это приводило меня в буквальном смысле в содрогание. Притом и нравственное чувство мое возмущалось при мысли о том, что меня поставят на одну доску с убийцами, ворами и мошенниками, меня, который никогда не убивал, без некоторого раскаяния, мухи, даже в шутку не украл синей порошинки и инстинктивно избегал всякой тени подлости.

Конечно, теперь я не был бы столь целомудренно-самолюбив, потому что убедился, что за этим целомудрием кроется большая доза слабости и несостоятельности. Но тогда я не знал жизни так, как знаю ее теперь.

Я въехал в Керевский винокуренный завод, в который был назначен в каторжную работу на два года, около шестого часа утра 27 января: при въезде меня поразил в нем смешанный характер некоторого казенного однообразия зданий с очевидною случайностью в их размещении и с совершенным отсутствием в природе почти всякого признака растительности. Жандарм, ехавший в санях со мною и, вероятно, уже побывавший в заводе, весьма подробно отвечал на мои вопросы. Оказывалось, что здания, построенные при въезде в завод, были действительно казенные.

Внешняя деятельность завода еще спала, но в землянках, избах, на гауптвахте и в казармах, по всему видимому, уже проснулись: дым валил из труб и стлался по чистому голубому небу, на котором еще кой-где не погасли звезды.

Мы подъехали к конторе и поднялись в нее по деревянному крыльцу с форменным навесом. Опрятная, даже отчасти красивая наружность конторы нисколько не соответствовала грязи и спертому воздуху, которые царствовали внутри. Старик сторож сидел перед топившейся печью, отогревая окоченевшие руки. Он едва оглянулся на звук шпор, сабель и кандалов, которыми сопровождалось наше появление: по-видимому, слух его привык к этим звукам, как привыкает слух младенца к колыбельной песне или слух боевой лошади к свисту пуль и грохоту огнестрельных орудий. Приход наш также не удивил его: на то контора в заводе, чтобы в нее приходили люди в кандалах и люди со шпорами и саблями. Он так же мало нашел это странным, как светская женщина не находит необыкновенными обычные визиты своих знакомых. Лениво вполовину повернул он голову и, взглянув на нас в полглаза, опять погрузился в прежнее занятие.

— Эй, старина! — сказал старший из сопровождавших меня жандармов.

— Чаво вам? — отозвался старик, не переменяя положения.

— Смотритель где? — продолжал жандарм.

— Вестимо, где: спить.

— А писаря?

— Ну, тоже спять.

— Поди-ко позови кого-нибудь.

— Придуть и самы...

— Как придут сами? Да нам ждать нельзя...

— А нельзя, так мне чтож?

— Говорят, поди позови старшего писаря...

— Не пойду... не приказано отлучаться отселева... Придуть самы.

Делать было нечего: пришлось дожидаться. Впрочем, ждали мы недолго; старший писарь пришел и отпер собственную контору, в которой были стулья, между тем как в комнате, в которой мы находились, мы принуждены были стоять.

Старший писарь был высокий мужчина, недурной собой, стройный и с несколько воинственною осанкою. Ему могло быть лет под тридцать; он носил усы и брил бороду. Узнав, кто я, он рекомендовался мне разжалованным из юнкеров рабочим Соболевым.

— Вам долго придется ждать,—сказал он,—смотритель приезжает в контору не раньше девятого часа.

— Скажите, много еще в заводе ссыльных из дворян?—спросил я.

— Есть! Вот тоже капитан гвардии Агражанский.

— За что он сослан?

— А не знаю-с... Мы с ним незнакомы.

— Как же так?.. Разве вы не вместе живете?

— Как можно-с!.. Они живут на своей квартире, а я на своей...

Мы замолчали: жизнь заводская стала для меня загадочнее прежнего.

Соболев смотрел на меня как-то недоверчиво; я совершенно прекратил разговор, в котором многое должно было оставаться для меня загадочным, многое другое—совсем неясным. Я не мог надеяться на то, чтобы рабочий высказал мне истину насчет смотрителя завода и прочего начальства, и потому решился лучше не спрашивать об этом Соболева.

— Чему быть, того не миновать, а что будет, посмотрим!..

Между тем, один за другим, в контору стали собираться прочие писаря. Это большею частью были люди, чисто одетые по-немецки, не старые; некоторые даже обнаруживали в приемах некоторое внешнее образование среднего круга. Впоследствии оказалось, что писаря большею частью были из разжалованных дворян, чиновников, офицеров и грамотных мещан, сосланных за разные уголовные преступления. Все они раскланивались с Соболевым, шептались с ним, вероятно, расспрашивая обо мне, потом, искоса осмотрев меня с ног до головы, усаживались за столы, раскладывали бумаги и принимались болтать. Повидимому, между всеми ними не было ничего общего, так же, как между чиновниками одного департамента или отделения. Они даже как-будто не любили друг друга, завидовали один другому. Испорченные натуры их, как оказывалось из разговоров, и в ссылке не могли сбросить пороков того слоя общества, к которому они принадлежали: то же хвастовство, искательство в начальстве, зависть в отношении товарищей, то же желание казаться не тем, что есть, хоть бы пришлось казаться хуже настоящего. Дети ложной действительности, в которой простор одним мелким страстям и порокам, бедняки привыкли не удовлетворяться ею и искать исхода своему чувству в расширении в воображении размеров этих страстей и пороков. Многие из вас, читатели, не помнят того времени,

в которое подобные явления были в порядке вещей. Всякий департамент, всякое общество было поприщем, на котором ежедневно Хлестаковы самых разнообразных размеров и оттенков разыгрывали свои роли. Смешно сказать, даже в заводской конторе, в которой я сидел, были Хлестаковы... Точь-в-точь гостиная такого-то: разница была в одном том, что все здесь кружилось около количества выпитых штофов, сыгранных туров в носки и того, с кем находится в интимных отношениях Аннушка рыжая или Палашка-зяблик, а там... там тоже одно шампанское, играли в английском клубе по большой и рассуждали о comptesse такой-то, бежавшей с французским актером таким-то...

Наконец, часу в половине девятого, началось необыкновенное движение в сенях конторских; сторож всунул в дверь седую голову и прошамкал:

— Г. смотритель!

Писаря смолкли и пристально занялись работою. Старший жандарм вышел за дверь, оправляя амуницию, гремя саблей и шпорами; младший жандарм вытянулся в струнку возле меня.

Я сидел у стола, когда вошел смотритель, человек лет 30-ти с небольшим, с заплывшим красным лицом и огромным брюхом. Из-за спины его выглядывало еще несколько лиц, столь же неблагообразных и мало обещавших.

Из того, что вся эта компания во все глаза смотрела на меня, я заключил, что приход ее в контору касается меня, и потому встал и подошел к дверям. Смотритель не удостоил меня ответом на мой вежливый поклон.

— Бывший учитель русской словесности Т.?—произнес он тоном вопроса, моргая заплывшими серыми глазками и тыча в меня пальцем.

— Да,—отвечал я.

— Есть у тебя вещи?—продолжал он спрашивать.

— Есть!

Я указал на чемодан, сак и другие вещи, сложенные в конторе.

— Хорошо!—прорек смотритель и повернулся ко мне спиной. В дверях появился такой же толстяк, потом третий и четвертый, очень похожие на купцов мелкой руки.

Все эти лица, не произнося ни слова, смотрели на меня во все глаза и исчезали так же, как и появлялись, без видимой причины и повода.

Убедясь, что более спрашивать меня не намерены на первый случай, я отошел от дверей и сел на прежнее место.

— Как зовут смотрителя?—спросил я у сидевшего возле меня Соболева.

— Николаем Осиповичем Скапиновичем,—отвечал он.

— А прочие кто такие?

— Члены конторы...—был ответ.

Начало заводской жизни поражало меня: бесцеремонное обхождение смотрителя, глупые рожи членов, их насмешливо-печальные и вместе нахальные взгляды—все это обещало мало хорошего.

Я всегда был самолюбив, но в моем тогдашнем самолюбии было еще много чиновнической, сословной гордости. Какой-нибудь Скапинович еще мог обидеть меня несоблюдением каких-нибудь условных форм. Я надулся. Через четверть часа пришел старший жандарм, уходивший вслед за смотрителем и членами.

— Меня справили, ваше благородие!—сказал он мне, в первый раз употребляя в разговоре со мною этот термин вежливости, вероятно, с тем, чтобы оставить во мне не столь тягостное по себе воспоминание.—Прощенья просим!—продолжал он, кланяясь мне с расшаркиванием.—Теперь уж не мы за вас, сударь, отвечаем... Прощенья просим-с!..

— Прощенья просим!—отозвался другой жандарм наподобие эха.

В эту минуту какой-то небритый человек в казакине подошел ко мне и сказал пришепетывая:

— Пожалуйте-с к господину смотрителю в присутствие-с!

Я простился с жандармами и вышел вслед за небритым господином, который через сени ввел меня в такую же грязную, плохо освещенную и вонючую комнату, как и контора. Здесь за столом, покрытым зеленым сукном, сидели смотритель и члены конторы, встретившие меня по-прежнему любопытными взглядами.

— Не знаешь ли ты, за что ты сослан?—спросил первый.

— Хорошенько не знаю,—отвечал я.

Господа члены переглянулись и засмеялись.

— Эй! Конвой!—крикнул смотритель.

Вошли четыре человека солдат.

— Ступай, куда тебя поведут!

Солдаты взяли меня в середину. Мы вышли из кон-

торы. Я задыхался от злости, от негодования, от чувства оскорбленного человеческого достоинства. В моем нравственном мире оборвалась какая-то струна: в первый раз в жизни я стоял на собственных ногах, без сословных помочей, без чиновничьих гарантий, которые до сих пор все-таки более или менее принимались за существующие приходившими со мною в соприкосновение начальственными лицами. Отныне я был не чем более, как человеком: здесь, перед этими господами, мое прошедшее не существовало... Я был тем, чем сделал меня приговор, т.-е. преступником, отданным во власть их...

Эта мысль гнела меня, потому что я еще далеко не привык стоять на собственных ногах. Помочи, гарантии избаловали меня, нравственно атрофировали одну часть моего существа... Положение мое было для меня новинкою, которая озадачивала меня... Впрочем, не могу сказать, чтобы я был совершенно обескуражен ею. Во мне было слишком много свежих сил, чтобы поддаться первому гнету; внутри меня шевелилось сознание, что все это мелочи, перед которыми не стоит останавливаться в смущении. Так шел я, тяжело ступая ногами, конвоируемый 4-мя инвалидами с ружьями. Когда мы приблизились к гауптвахте, которая находилась невдалеке от конторы, навстречу нам попался человек, лет 40 без малого, с огромными усами, в светло-серой офицерской шинели и теплом картузе. Он вежливо поклонился мне, из чего я заключил, что есть и в заводе люди, умеющие вежливо кланяться. Я, конечно, ответил ему на поклон так же вежливо, но спросить у солдат о том, кто этот господин, не решился, потому что из опыта знал, что не получу никакого ответа.

На гауптвахте меня провели через кордегардию, где находились солдаты и где стояла невыразимая вонь, в арестантскую, маленькую комнатку, которой три четверти были заняты грязными нарами и которая скудно освещалась только одним, замерзшим сверху донизу, окном. На нарах уже лежали мои вещи. Я снял енотовую шубу, которая оттянула мне плечи, и, постлав ее на полатях, полез было на них, чтобы немного отдохнуть, в надежде, что в этот день меня оставят в покое, тем более, что я слышал, как вслед за мною запирали замком дверь. Но надежде моей, повидимому, не суждено было сбыться: едва я протянул на шубе усталые члены, как в дверном окошечке, заделанном решеткой и с которого я инстинктивно не спускал глаз,

показалось чье-то лицо. Вслед за тем загремел замок моей двери, и вошел господин, попавшийся мне на пути из конторы на гауптвахту. Я приподнялся и собрался слезть с нар, полагая, что это также какое-нибудь начальственное лицо. Но незнакомец очень любезно просил меня остаться в моем прежнем положении и рекомендовался мне товарищем по ссылке Василием Платоновичем Агражанским.

— Вы говорите по-французски?—спросил он.

Я отвечал утвердительно и уже с совершенно иным чувством полез с нар. У нас завязался один из тех разговоров, которые, я думаю, ведутся европейцами, случайно встретившимися где-нибудь среди кабилов или ирокезов. Это был разговор не то чтобы дружеский, но и не беседа людей, вовсе чуждых друг другу. В нем была струя искренности, даже родственного чувства, но это было не личное, а племенное или расовое родство. Мы были люди одного слоя общества, а потому поневоле были своими, по пословице: свой своему поневоле брат. Впрочем, не одно это чувство увлекало меня к откровенности: личность Агражанского с первого взгляда понравилась мне. В нем было что-то приветливое, располагающее, доброе. Неопытность моя выказалась тут с блестящей стороны: я болтал, как с человеком давно знакомым.

— Который вам год?—спросил, между прочим, мой собеседник.

— Двадцать семь лет,—отвечал я.

— Неужели?—воскликнул Агражанский,—а когда я вас встретил на улице, вы показались мне чуть не пятидесятилетним мужчиной...

— Не мудрено. Ведь я человек с весом... Девятифунтовые украшения и юноше придадут некоторую степенность...— Мы засмеялись.

Дверь опять растворилась: на этот раз вошел офицер средних лет...

— Командир заводской инвалидной команды...—сказал Агражанский, предупреждая меня о новом госте.

Я опять полез с нар, на которых было расположился с позволения Агражанского. Но командир не дал мне исполнить мое намерение. Поклонившись мне со всеми приемами ловкого военного писаря, он ухватил меня за колени и самым нежным голосом произнес:

— Ради бога, оставайтесь, как есть... Не то я уйду, клянусь, уйду!..

И он оглянулся на дверь. Я перестал двигаться.

— Я пришел к вам,—продолжал командир,—вовсе не с тем, чтобы вас беспокоить!.. Если бы я мог думать, что потревожу вас, ей-ей не пришел бы... Да вот видите... жена прогнала... Говорит: поди, спроси: не угодно ли им горяченького бульонцу?.. С морозу-то, знаете, оно здорово... Вы, пожалуйста, не сердитесь за это на нас... Люди мы простые, неученые... Не взыщите!.. А? право, позвольте прислать вам бульонцу!..

Я поблагодарил и, конечно, принял это предложение, высказанное с такою патриархальною сердечностью.

Командир, которого звали Иваном Степанычем Петровым, на минуту вышел в кордегардию, и вслед за тем возвратившись, сел на нары и повел с нами беседу. Оказалось, что он был из воспитанников воспитательного дома, служил в нижних чинах в гвардейском саперном батальоне и чувствовал некоторое благоговейное чинопочитание к Агражанскому, который был разжалован из капитанов гвардейского полка. Изо всех личностей, попадавшихся мне в заводе, Петров вполне поражал меня тою деликатностью и тонкостью чувства, которая даже в образованных мужчинах встречается далеко не всякий день. Я едва успел съесть принесенный мне от жены Петрова суп, как в арестантской появился господин средних лет, маленького роста, сухопарый, в партикулярном платье.

— Я заводский лекарь,—сказал он.

Я слез с нар.

— Как ваше здоровье?—продолжал сын Эскулапа.

— Благодарю вас,—сказал я,—я не болен...

— Но и не здоровы?

— У меня болит правая нога: мне кажется, она даже опухла... Кольца кандалов слишком тесны... Двух чулок нельзя было надеть... Дорогой железо застыло и, вероятно, простудило ногу...

— Надо будет осмотреть вас... Я скажу об этом смотрителю!.. До свидания!..—Лекарь ушел, и вслед за тем пришел смотритель, при появлении которого и Петров и Агражанский встали с нар. Смотритель приказал перевести меня из этой арестантской в другую, попросторнее, только еще холоднее.

Я двое суток не спал, да и, вообще, с месяц уже не высыпался, как следует. Между тем от Агражанского принесли холщевый мешок, набитый сеном, и я стал огляды-

ваться на него весьма выразительно. Мои собеседники вскоре поняли мои взгляды и ушли, а я повалился на мешок и заснул сном молодости, здоровья и чистой совести.

Таков был мой въезд в завод и первые знакомства в нем. Два года и три месяца суждено мне было прожить в нем, много пришлось перенести тяжкого и много испытать приятных минут; но первые впечатления всегда самые сильные, и по ним-то сложилось во мне о нем воспоминание чрезвычайно смешное, разнообразное, точно это был целый новый мир, открытый мною.

Вследствие этого первого впечатления, я принялся за изучение завода, как турист изучает незнакомую страну, и, независимо от других обстоятельств, более или менее разнообразивших заводский быт мой, уже по этому самому не мог скучать в нем. Я узнал в заводе жизнь, как она есть, и хотя это знакомство не улыбнулось мне, однако не давало мне скучать. И то—неожиданный подарок судьбы.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Ф. Н. ЛЬВОВА [1])

ПЕРВЫЙ ДЕНЬ В ТОБОЛЬСКЕ

Я очутился в Тобольске, на горе, у подъезда большого каменного здания, еще не совершенно отстроенного. По форме недоконченных построек легко было догадаться, что это острог; но присутственное место, куда меня привезли, было для меня еще загадкою. Но вот раздался голос сторожа: «Ведите преступника в приказ!». И я догадался, что меня ведут в тобольский приказ о ссыльных. День был праздничный; в канцелярии служащих никого не было. Меня встретил, однако, член приказа и спросил: нет ли у меня денег? На ответ, что мои 100 рублей находятся у сопровождавшего меня казака, он взял их от него, пересчитал и отдал мне, предупредив, что у меня снова их отберут в остроге, при чем посоветовал не сопротивляться при обыске. Лицо члена приказа обнаружило человека гуманного и произвело приятное впечатление у порога тюрьмы.

Через несколько минут меня привезли в старый острог, огромное одноэтажное деревянное здание, окруженное вы-

---

[1]) Ф. Н. Львов. «Современник», 1861 г. 89 т., стр. 108—109, 119—124.

сокою каменной оградой. Передо мною как из земли вырос седенький старичок, аршин двух ростом, с черствою, как высушенный гриб, физиономиею, и велел мне итти за собою. Мы вошли в какую-то грязную комнату, где начался осмотр моей особы и моего экипажа (т.-е. моих вещей). Заметив на груди моей образок, седенький старичок хотел его снять, в том предположении, что он золотой; мне очень трудно было уверить его, что образок только вызолочен и не имеет большой ценности ни для кого, кроме меня, как благословение матери. «Покажи ногу»,—сказал старичок. Я поднял ее на обрубок дерева, служивший, между прочим, вместо стула в острожной канцелярии. Он потрогал с видом знатока мои тяжелые оковы и закричал: «Кузнеца». У меня блеснул луч надежды, что меня раскуют и я в состоянии буду переменить нижнее белье, которое было без перемены уже три недели; но шипящий, хриплый голос: «Заковать его покрепче»—разрушил мои мечты.

По окончании операции закования моих ног, и без того стертых кандалами до крови, седой старичок, оказавшийся смотрителем, и караульный унтер-офицер повели меня через большой и маленький двор и посадили в каморку, один вид которой не обещал уже ничего хорошего. Это была комната четырех аршин шириною и семи длиною. Всю длину ее занимали нары, шириною в два с половиною аршина, так что до другой стены оставалось не более полутора аршина; но бо́льшая часть этого узкого пространства занята была огромною печкою, высунувшеюся из соседней комнаты. Небольшое окошко, близ потолка, в четверть шириною и поларшина длиною, едва пропускало тощий свет декабрьского дня; три стекла, вставленные в это оконце, были разбиты и держались только огромною массою снега и льда, к ним примерзшего. Угол, противоположный с дверью, не только ничем не обитою, но даже плохо сколоченною, был на аршин занесен снегом. Мне принесли чашку щей, кусок хлеба и буквально один кубический вершок говядины и, наконец, заперли.

Окончив скудный обед, я попробовал устроить себе логовище, чтобы заснуть; но это было не так легко, хотя боевая жизнь приучила меня ко всему: вдоль нар лечь было неловко, потому что они покаты, а поперек—мне грозила опасность если не быть раздавленным снежною лавиною, то, по крайней мере, начать особый курс гидропатического лечения, оттаивая своею животною теплотою снег,

лежавший на стенах. Несколько бессонных ночей, однако, помогли моему стремлению к комфорту, и я заснул в промежутке между снежною горою и окраиною окошка.

. . . .

. . . .

ЕЩЕ ТОБОЛЬСКИЕ ВОСПОМИНАНИЯ

Часу в восьмом на другой день старостиха принесла мне целый ворох прекрасного пшеничного хлеба, по белизне мало уступающего крупичатому. Я был совершенно изумлен количеством: вчера, ассигнуя рубль меди на белый хлеб, я полагал, что мне принесут четыре небольшие булки, которые я в два дня съем. В Европейской России многие имели тогда еще самое смутное понятие о Сибири, как о стране «мятелей и снегов», и я был почти уверен, что в Тобольске пшеничный хлеб редкость, а потому и дорог. Впоследствии, видя баснословную для меня дешевизну большей части съестных припасов в Тобольске, я тоже поторопился составить себе ложное благоприятное заключение и о всей Сибири, в особенности же о Забайкалье, будущем месте моего жительства. Съесть двадцать пять принесенных булок я, конечно, не мог, а потому отдал двадцать моим соседкам.

Вскоре ко мне зашла старостиха. «Тебя, голубчик мой, куда-нибудь переведут,—сказала она мне,—надзиратель призывал меня и велел нарядить баб вымыть здесь,—гостей ждут». Действительно, через несколько минут пришел надзиратель и перевел меня в общую тюрьму. С этой минуты особенность моего положения кончилась.

Появление новичка, как и должно было ожидать, не обратило общего внимания арестантов в огромной комнате, где их было человек шестьдесят. Через несколько минут, однако, подошел ко мне человек с бритою до половины головой, у которого кандалы, как у большей части арестантов, были подвязаны не к поясу, как у меня, но висели на целой системе ремней, которые разделяли их тяжесть по плечам, спине и груди; особые кожаные полосы защищали ноги. Он носил свои оковы с непривычным для меня удобством, лицо его показывало, что он все произошел; сколько лет ему было—определить трудно. «Вы дворянчик, ваше благородие, были?»—начал он.—«Да, но как вы узнали это?»—«У вас голова не брита; но почему вы в кандалах? Указом

1827 года, мы, дворяне,—сказал он с усмешкой,—освобождены от закования в кандалы, и оно значится в законе теперь первым в списке телесных наказаний».—«Да вы сами почему же в оковах?»—«Я—другое дело; я—оборотень, т.-е. я бегал из Сибири, и не раз»,—прибавил он с некоторою гордостью. Я ему рассказал вкратце свою историю.—«Ну, гусь свинье не товарищ,—процедил он сквозь зубы и как бы задумался.—Особого высочайшего повеления заковать вас в кандалы не было?».—«Полагаю, что не было».—«Объявите претензию вашу, когда приедет прокурор, с вас сымут оковы»—И с этим словом он хотел отойти.—«Да берегитесь, чтобы вас не обокрали»,—прибавил он.—«Разве у вас друг друга обкрадывают?»—«Нет, редко, но пересыльного можно».——«Позвольте вас спросить еще об одном: вы переменяете иногда нижнее белье?»—Он посмотрел на меня с удивлением.—«Переменяем». — «Да как же это сделать, не распарывая белья?»—Он усмехнулся.—«Науки еще не произошли»,—и тут началось на практике преподавание искусства переодеваться.—«Вы—добрый человек,—сказал я ему,—я вам очень благодарен».—Он опять скривил лицо в улыбку: «Да, я пробовал быть честным, но это ни к чему не повело».

Этот замечательный субъект принадлежал к известной фамилии; младший брат его в то время с большим успехом подвизался на литературном поприще, и даже до сих пор имя его попадается в числе деятельных членов разных ученых обществ. Тринадцати лет N. N. бежал из отцовского дома по страсти к бродяжничеству, воровству и мошенничеству и из опасения подвергнуться наказанию за какую-то шалость, которую он мне не объяснил. Пойманный в воровстве со взломом, он был сослан на поселение, бежал в другой округ с фальшивым паспортом, продался там в солдаты и попал в один из полков шестого корпуса. Его расторопность, исправность и грамотность вскоре обратили на него внимание начальства, и он был произведен в унтер-офицеры. Раз, стоя в карауле за старшего в московском ордонансгаузе, он не дозволил находившемуся под судом офицеру послать за вином. Офицер этот уже пять лет состоял под судом и узнал в унтер-офицере своего бывшего товарища. Чтобы отомстить, он сделал донос, и N. N., действительно, за строгое исполнение своих обязанностей—попался в беду. Уличенный в побеге, в сделании фальшивого паспорта и пр., он пошел на каторгу. После того он несколько раз бегал, бродяжничал и грабил, хотя об этой части своей

истории он говорил очень неопределенно, вероятно, из осторожности, а может быть, и из остатка некоторого рода стыда передо мной.

Движение в тюрьме прервало наш разговор. «Встать!»—закричал вошедший унтер-офицер, и затем в тюрьму вошло начальство... «Прокурор»—шепнул мне N. N. Обойдя очень тихо арестантов, он говорил со многими из них и записывал их просьбы; наконец, приблизился ко мне; я объявил ему свою претензию.—«Не знаю, как это случилось,—сказал он, пожав плечами,—я справлюсь... Переведите его куда-нибудь в другое место»—сказал он, отходя, смотрителю. Смотритель заговорил что-то тихо. Значительное «а-а!» было ответом прокурора.

Тобольская тюрьма, где сосредоточивались все ссыльно-каторжные и ссыльно-поселенцы, представляла в то время любопытное зрелище. Я описал бы ее в подробности, если бы не знал, что другое перо, более искусное, взялось за этот предмет; притом же впечатления мои от частого повторения их не так глубоки, как могут быть они у человека свежего. Путешественника поражают гораздо сильнее местность и обычаи страны, чем местного жителя, который ко всему этому привык. Но я не могу пройти молчанием некоторых особенностей этой тюрьмы, этой академии, где получают свое окончательное образование ссыльные.

Всякое собрание людей стремится неизбежно к известной организации своего общества—к ассоциации, которая имеет целью достигнуть общего, по возможности, благосостояния. В тюрьме люди не имеют заботы о главном: о жилище и о насущном хлебе; всякая деятельность для них закрыта, а потому очень естественно—они стремятся только отыскать для себя какое-нибудь утешение и развлечение и гарантировать пользование им во всякое время. Они думают также и о мрачном будущем и стараются приготовить средства, чтобы от него избавиться или уменьшить его удручительность.

Вино и карты или другие орудия игры: юлы, кости и т. п.—вот предметы первой необходимости заключенных, и гарантировать себе пользование ими есть задача тюремного общества.

Немногосложность предположенной к достижению цели делает то, что успех у этого общества почти всегда несомненен.

Вот главные оглавления тюремной конституции:

Общество каждый месяц назначает торги на оптовой и и чарочный откупа. Конкуренты представляют залоги и начинаются торги, как это делается везде: кто больше заплатит акцизу, за тем откуп и останется. Обязанность оптового откупщика иметь непременно вино всегда, под опасением лишиться залогов, и продавать чарочному откупщику или другим не менее штофа, по определенной цене, втрое дороже того, что оно стоит за воротами тюрьмы. Чарочный откупщик, кроме вина, которое он продает чашками и получашками, почти по десятерной цене, обязан иметь еще закуску (это, впрочем, делается явно) и карты.

Акцизная сумма, которая доходит у каждого откупщика до 200 рублей ассигнациями, а иногда и более, сейчас же разделяется между всеми общественниками и таким образом все заинтересованы в этом учреждении: те, которые не пьют, без сомнения в выигрыше. Пьющие же хотя и платят дорого, но уверены, что желание их или, пожалуй, потребность будет всегда удовлетворена. Употребление водки по необходимости умеренно.

Склады вина, карт и прочих запрещаемых вещей считаются государственной тайною. За измену смерть неизбежная поражает изменника невидимо, незаметно, по большей части, это—отрава дурманом или чилибухой. Изменник не может заметить ни презрения к себе, ни оскорбительной недоверчивости; напротив, если он может заметить только перемену в обращении с ним к лучшему, то должен считать это самым опасным для себя признаком.

Если случится, что необходимо будет, чтобы при обыске нашли вино или что-нибудь подобное, то для скрытия настоящего места выбивают кирпич в печке или под нарами устраивают какое-нибудь временное помещение, бросающееся в глаза, даже незаметным образом сами наводят на него, и виноватый или навлекший обыск должен в таком случае жертвовать собою, или, вернее, своею спиною.

Относительно карт существуют также особые постановления. За новую колоду платится 50 коп. сер., за колоду один раз игранную—25 к., два раза игранную—10 к., а в четвертый раз она дается даром проигравшемуся. Карты подновляются вытиранием их сальною тряпкою. Чарочный откупщик, кроме того, если не пьют при игре вина, пользуется 10% с выигрыша. Играют обыкновенно в едну (то-есть, считают с 31 очка) и до тех пор, пока не обыграют друг друга до-чиста. Проигравшемуся выигравший должен

дать тогда четвертую долю от выигрыша для того, чтобы отыграться. Это повторяется еще раз, но затем реванш для проигравшегося невозможен до приобретения новых денег.

Можно в тюрьме истребить карты, кости, юлу и т. п., но игры истребить невозможно: заключенные будут играть в беге насекомых, которые обильно водятся у них на теле и в голове; у них даже воспитываются рысаки в своем роде.

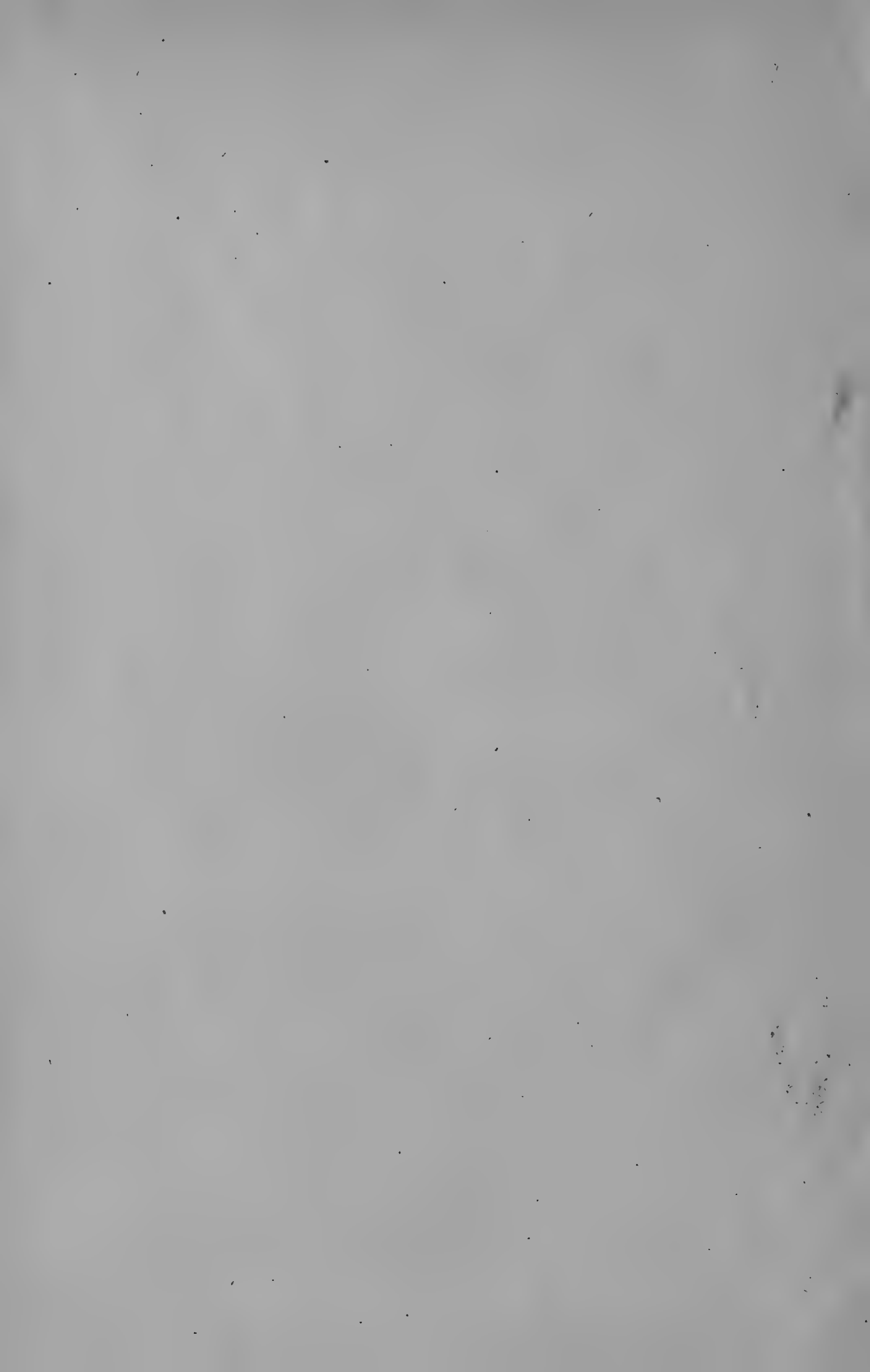
«Но кто же,—спросит удивленный читатель,—доставляет вино в острог?».—Да те же, которые стерегут его. Эта контрабанда принимает тысячу неуловимых форм. Вот, напр., одна из самых неудачных, открытая томским полицеймейстером: солдат залепляет затравку ружья воском и вливает в дуло целый полуштоф.

Зная прежний состав нашей армии, в особенности же линейных батальонов, в которых было немало людей, отданных в солдаты или переведенных из других команд за дурное поведение, нельзя удивляться, что чувство долга в них было неразвито. Но, кроме этой причины, кроме выгоды, которая заставляет людей, гораздо более развитых и высоко поставленных, забывать не только свои гражданские обязанности, но торговать своею честью и совестью и злоупотреблять своею властью,—существует еще очень важная причина: это—превосходство ума, ловкости и характера вообще у ссыльных пред прочими простолюдинами, к которым принадлежат, без сомнения, наши солдаты и тюремные надзиратели. Заключенные так ловко умеют опутать своих стражей, что они невольно делаются их помощниками в известных случаях; кроме того, они узнают вскоре по опыту, что чем строже присмотр, тем более рискуют они попасть под ужасную ответственность, которая для солдата оканчивается не только простым телесным наказанием, но иногда и шпицрутеном. Арестанты не только не берегут строгих надсмотрщиков, но губят их совершенно; напротив, чем более снисхождения оказывают они заключенным, тем могут быть спокойнее, что арестанты их не введут в ответственность.

Но обратимся к нашему рассказу.

На другой день с меня сняли оковы, и я убедился, что обязан был ими особой попечительности обо мне коменданта О—ской крепости, большого приятеля подстреленного мною полковника, и—своему незнанию законов.

Освободившись от оков, я начал бродить по большому двору и наблюдать за физиономиею арестантов: до половины бритая голова придавала им какое-то странное выражение; оно было бы смешно, если бы лица их не были так мрачны. В первую минуту страшно казалось мне быть товарищем этих звероподобных людей, но, вглядываясь попристальнее, можно было уловить в их чертах немало добрых движений души, которые напоминали человека и производили какой-то разлад с печатью порока и злодейства на их лице. Немой упрек, немой протест читал я на нем.



Именной указатель

Г

Д

Е

Ж

З

И

К

Л

М

Н

О

П

Р

С

Т

У

Ф

Х

Ц

Ч

Ш

Щ

Э

Я

